



Постановлением Совета Министров РСФСР
писательнице Ольге Константиновне Кожуховой
за книгу «Донник»
присуждена Государственная премия РСФСР
имени М. Горького за 1979 год.



Ольга Кожухова

ДОННИК

ПОВЕСТИ

Москва
«Советская Россия»
1982

P2
K58

Художник *Л. Ф. Шканов*

Кожухова О. К.

K58 Донник: Повести.— М.: Сов. Россия, 1982.—
320 с., 1 л портр. (Гос. премия РСФСР им М. Горь-
кого).

В сборник вошли повести «Донник», «Двум смертям не бывать»
и «Фонарики, плывущие по реке».

K $\frac{4702010200-138}{M-105(03)82}$ 100—82

P2

ДОННИК

Нет, наверное, еще не пришла пора ворошить пережитое. Да к тому же есть много и других важных тем, неотложных и трудных. Но уже начинают уходить из жизни мои близкие, дорогие мне люди, и каждый такой уход, как черта, как итог, заставляет задуматься: а может быть, еще можно что-то сделать по-новому, осветить тобой пройденный путь каким-то другим, живым, ясным огнем, чтобы «вдруг стало видимо далеко во все концы света»? И тогда поднимется смятый цветок, растоптанный невзначай тобой на дороге, тогда вдруг захочется приласкать побитую тобой в детстве собаку и сказать человеку, суровому, молчаливому, что ты наконец-то его поняла, все простила ему и, больше того, удивилась его чистоте, красоте, его внутренней нравственной силе.

Иногда, как во сне, видишь только степную дорогу и сгорбленного человека, уходящего одиноко по ней. Хочешь крикнуть, догнать, но нет силы, нет голоса, а когда закричишь — человек уже мертв. Как расскажешь ему, что ты его любишь?

И тогда ты уходишь, в огромный, просторный, любимый им мир и смотришь на все удивленно, как будто живыми — его — глазами и снова, как он, улыбаешься жизни, городской, деревенской, лесной и степной, всякой травке и всякому птичьему перышку, ибо это — наследство. Это все он вручил тебе в твой день рождения: оцени, полюби, не развей по холодному ветру, не пусти на распыл. Собери все, как он собирал, стебелек к стебельку, пусть привяли они, пожелтели на степном жарком солнце, эти травы и эти цветы, вдохни их сухой аромат: он прибавит тебе здоровья и силы.

Почему-то из детства мне всегда вспоминается только хорошее.

Хуторок наш в три дома стоял, окруженный оврагами, на бугре, на сухом, возвышенном месте, среди длинных, как ленты, протянувшихся по степи разросшихся лесопосадок.

Овраги — у нас пазывают их «балки» — местами глубокие, с высокими берегами, с бездонными омутами в куге и кувшинках, местами пологие, пересохшие, извиристо тянутся через степь с бесчисленными разветвлениями и мелкими впадинами едва обозначившихся и уже угрожающе расползающихся все новых и новых логов и промоин.

Наш хутор — кордон. Здесь когда-то жил лесник, охраняющий лесополосы. Сейчас здесь научная станция, и мы приехали сюда всей семьей из Гремячего, с Дона. Мой отец — агроном, его дело — бороться с оврагами, с суховеями, изучать жизнь не тронутой человеком, нераспаханной степи и глубинные ее связи с лесом, с ветром, с водой по оврагам, с длинной цепью прудов, сеять хлеб под защитой лесополос.

Мы живем здесь, как в некой особой стране. Вокруг нас на многие километры сплошь безлесные деревеньки да степи, иссыхающие на горячем ветру уже к концу мая, все здесь серого, желтого цвета, а мы — в зелени и в цветах, в гущине трав по пояс, в птичьем гаме, в черемухе и соловьях.

Отца помню высоким, плечистым, красивым и всегда чем-нибудь недовольным. А мать — доброй, веселой с какой-нибудь песенкой на устах, но с заплаканными глазами. Сидит вышивает отцу рубашку из сурового полотна цветным шелком — колосья ржи и васильки по рукавам и воротнику — и поет любимую песню о черной смородине:

Черная смородина,
Беленький цветок,
Я душой осыпался,
Сердцем изнемог...

Что за песня такая, откуда она? Я больше потом никогда ее ни от кого не слыхала.

Зимой в сумерках санки с закутанным в тулупе отцом исчезали за поворотом дороги, взметнув дымное облачко поземки, и мы с матерью оставались одни. Мать клала на бок некрапленный, грубой столярной работы табурет, стелила на него подушку и ковер и усаживала меня перед печкой смотреть, как будет сейчас затоплять. Она приносила из кухни сухие смолистые щепочки, хворост, обрывки газет, пучки мерзлой соломы, поджигала их снизу, а сверху, когда разгорался огонь, решеткой выкладывала дрова — березовые поленья, насушенные заранее на приглубке. В трубе выл огонь, ветер бился о стекла заснеженных окон — у нас этот ветер со снегом назывался «пылюгой», — и мы долго сидели, молчали, смотря

на огонь затуманенными глазами. Иногда мать вставала и вглядывалась во тьму сквозь морозные стекла: ей казалось, что где-то поблизости бродят волки. Печь уже прогорала, угли делались сперва красными, потом серо-синими, потом истлевали в искрящийся пепел, и я засыпала, привалясь к боку матери, и больше не видела ничего, кроме снов, сладких снов о конфетах, о книжках с картинками, о красивых игрушках.

К сожалению, эти сны никогда не сбывались.

Сбывалось другое.

Весной, когда начинал таять снег, я одна уходила по глубоким оврагам. Солнце трогало алым пламенем наст, на мостике через вешний поток намерзали сосульки. Я обламывала их и строила из льда и из снега белый город с высокими башнями и колокольнями. Сосульки и были верхушками этих башен. В снежном городе жили белые, снежные люди. У них были красивые белые лошади, и собаки, и вся мебель, и утварь — все было белое, из снега. Город жил, красовался, потом оседал и медленно таял под лучами весеннего яркого солнца, и на склонах оврага, где когда-то стояли высокие ледяные небоскребы и башни, расцветали цветы, зеленела трава.

Та весна далеко,
Те завяли цветы...

Но ведь что-то осталось во мне, неужели же ничегошеньки не осталось от тех синих углей, от волчьего завывания за окном, от горячей густой темноты на печи, где я засыпала, набегавшись за день, на подушке, пропахшей перегретым пером и сушеной калиной, засыпала тем каменным сном, в котором нет прошлого, нет сожалений, но в котором растут.

Я думаю, что-то осталось.

В те годы, как я теперь понимаю, отец меня многому научил, если, в сущности, не всему. Только делал он это неназойливо, осторожно, почему-то всегда оставаясь в тени, будто занятый чем-то другим.

Мне, наверное, не было и шести лет, когда он посадил меня верхом на коня и заставил проехаться по двору. Конь был умный, послушный, влюбленный в людей, славный Мальчик.

Я проехала, еле держась за поводья и сползая на холку коню, но не вскрикнув, не завизжав: выражать чувство страха в нашем доме не принято. Да и страх этот был, пожалуй что, ограниченным: я боялась не лошади, а еще не знакомой

мне, неустойчивой движущейся высоты, потому что устойчивой высоты я уже не боялась: мы ведь с сестрами лазили по деревьям и сидели на ветках, поднимались по водобойному зубу плотины и бетонным откосам пересохшего водослива, залезали на тоненькие перила моста и шли по ним, узеньким, в четверть доски, над глубокой бетонною ямой. Конечно, мы делали это только тогда, когда нас не видели взрослые.

Сейчас ощущение этой высоты на костлявой хребтине животного было странным — тревожным, но радостным, — я ударила Мальчика пятками по бокам, и он поскакал. Не сумев удержаться, я скатилась в траву через голову Мальчика. В ту же самую секунду он остановился и, лоснящийся, эластичный, с удивлением и упреком повернулся ко мне и тихонько заржал.

— Ну, ну! Ничего, ничего... — сказал мне отец. И спокойно пошел по делам, по хозяйству, хорошо понимая, что самое важное уже сделано, навсегда. Что теперь я всю жизнь буду помнить счастливую эту минуту, что я стану бродить за Мальчиком неотступно, помогать нашему конюху чистить его, кормить, и поить, и водить на купание на пруд и в ночное. Он, отец, и еще и еще ненавязчиво поощрит эту страсть: то даст поддержать под уздцы, когда сам будет садиться в седло, то и буду править вожжами, когда мы с отцом поедем на станцию в нашем стареньком тарантасе, то он разрешит всем нам троим, мне и старшим двум сестрам, поехать без взрослых, одним, на первый участок, в библиотеку или в поле за сеном, и это всегда для меня будет праздник.

Зимним утром конюшня еще в темноте. Двойные широкие двери — на светлом их силуэте оттуда уже вылетает парок, запах теплых животных, навоза, гниющей соломы. Там, внутри, убитый ногами земляной пол, на стене, на крюке, фонарь «летучая мышь», он чуть теплится в этом мраке, в клубящемся зимнем воздухе. За невидимой стенкой дощатого стойла — наш конюх Роман Васильевич; невысокого роста, с круглой стриженной головой, с низким лбом, перерезанным глубокими бороздами морщин, он посвистывает, выгребая лопатой навоз, подстилая солому.

— А, здорово, здорово! — откликается он на мое приветствие. — Как дела?

— Ничего... А твои?

— И мои ничего.

— Ну вот и прекрасно!

Утро полностью наше. Нам никто не мешает. Я стою у бре-

венчатой, крашенной известью стены и с волнением наблюдаю каждый день одно и то же прекрасное зрелище — прекрасное, по крайней мере, для меня,— как Роман Васильевич берет в руки щетку и начинает чистить лошадей: сперва Мальчика, затем Чалого, затем Пегушу, затем Орлика, затем Серого, затем Галку и хорошенького ее жеребенка, стригунка, вызывающего у меня да и у всех живущих на хуторе какое-то совершенно особое чувство нежности, ласки.

— Но, но... Не кусайся! Ишь чего захотел!— ворчливо отталкивает Роман от себя жеребенка, играющего и хватающего его за чуб и за шапку зубами.

Этот двор мне знаком до последней соломинки, до последнего бревнышка. Говорят, что когда-то здесь жил Докучаев. Низкий, маленький домик, крытый соломой, в одну комнату, с русской печью, с холодными сенями и чуланом, поставленный на окраине леса, давно обветшал. Но его не ломают. Рядом с домом колодец с журавлем и вот эта конюшня, куда я хожу по утрам к лошадям. Летом здесь очень тихо, безветренно и уютно. Вокруг лес — стоит, не шелохнется; в тихих, слепеньких окнах отраженно, как в омуте, зреют синие сумерки.

Сейчас лес и сырая солома на крыше, на срезе, каждый листик и каждая веточка на морозном стекле — все бело, все искрится от снега, розовеет в свете первых лучей декабрьского солнца. Мои ноги замерзли, я уже застоялась, как конь, и Роман поспешает: он выводит на улицу Мальчика и гонит его к стеклянной от намерзшего льда водопойной колоде; тот бежит, индевея, в белом ворсе вокруг тонких ноздрей и на челке; повод брошен, мотается у него под ногами, тонкой змейкой прочерчивает по свежему порошистому снегу извилистый след. Вода ледяная, но парит в настывшем за ночь мерзлом воздухе.

Мальчик весело, бойко, с разбегу утыкается мордой в колоду, жадно пьет, морща нос и лиловые, словно сделанные из резины, мясистые губы, звонко хлюпает, даже всхрапывает потихоньку. И вдруг зорко косится огромным, в прямых нежных ресницах застенчивым глазом на Романа, на мою неуловжую в шубе и шапке фигурку.

— Но-о, пугайся! Уж больно пугливый...— охлаждает его грубовато Роман и при этом любовно похлопывает Мальчика рукавицей по крупу.— Ну-ка, ну-ка, подвинься!— И он поворачивает коня поудобней, чтобы рядом с ними стала Пегуша, а за ней следом Галка с жеребчиком.— Ишь какой эгоист... Растопырился!

И подсвистывает: пей, мол, пей, напивайся на весь день работы.

Я не знаю, что думает Мальчик, глядя вдаль, на дымы, поднимающиеся столбами из труб занесенных снегом домов, на леса, индевеющие на горизонте, на степь, чуть курящуюся серебряными хвостами поземки, но мне радостно видеть его стройную шею, красивую голову и крепкий, темнеющий по позвоночнику круп, словно в этом животном сама радость жизни, словно я нашла себе друга, хорошего друга, которого мне не заменит никто, даже самые лучшие, умные люди. Да и так рассудить: всему есть на земле свое время и место, и я теперь дружбу с людьми, может быть, понимаю значительно глубже и шире, чем если бы понимала ее, не оставив в степи ни Пегуши, ни Галки, ни Мальчика.

Вместо игрушек отец дарил мне щенят.

Белая мохнатая кавказская овчарка Пальма так и выросла вместе со мной. В тот год, когда я уехала в школу, в Воронеж, она так тосковала, что ее посадили на цепь: боялись, взбесится.

Домой возвращалась я поздней весной. Вся дамба, ведущая к дому от пруда, обсаженная столетними вязами, казалось, меня торопила, шепча яркой, зеленой листвой: «Скорее, скорее...» Каждый листик сиял, торопился со мною. И сама я спешила, я сидела в телеге, уже свесив ноги, чтобы сразу же прыгнуть и бежать, обгоняя телегу, к крыльцу дома, но старый приятель Роман все расспрашивал о Воронеже, об отметках, о школе, и я терпеливо ему отвечала.

И вдруг что-то дикое, в лохмах желтого, грязного цвета, в репейниках, с обрывком цепи на ошейнике, с разбегу мне бросилось с силой на грудь. Я прыгнула на обочину. Пальма тихо визжала, облизывая мои слезы со щек, и, скуля, кидала когтистые лапы на грудь и на плечи, и подпрыгивала, и виляла хвостом, и по-детски повизгивала, как будто бы упрекая меня: «Ну, зачем же ты так, как могла ты оставить меня здесь одну?»

— Пальма, Пальмочка, милая!.. Ну хорошая, ну не надо, не надо...

Потом я все лето пробегала с Пальмой по полям, по оврагам и возле пруда, заросшего по берегам ежевикой и кровохлебкой. Мы с ней пробирались на прорванную плотину, где жил старый пасечник, и он кормил нас: Пальму косточкой от

обеда, меня хлебом с медом. И я была такой маленькой, такой глупой частичкой великой гармонии бытия, что даже не знала, какой грустно-непостижимой оказывается потом великая эта гармония, когда мы вырастем, и становимся умными и жестокими, и навек отрекаемся от беспечного, неосмысленного, но счастливого этого родства с лошадьми, собаками, птицами, с деревьями и травой.

Как-то в мае мы бродим с отцом по оврагу за машинным сараем. Трава мне до пояса. Здесь цветет земляника, уже выпускает коричневатые хвостики конский щавель, много зонтичных, пряно пахнущих, даже дурманиющих, названий которых я не знаю.

Я спрашиваю:

— Папа, а это какое растение?

— Болиголов. Оно ядовитое. Приляжись, разотри его листики. Слышишь, пахнет мышами?

— А вот это?

— Борщевик. Он съедобный.

— А это?

— Горичник болотный.

— А это? А это?

— Гирча тминолистная... Дягиль. Очень полезный. Лекарственный. Медонос. Это вех... Говорят, соком веха был отравлен Сократ.

Я внимательно слушаю, запоминаю, хотя имя Сократа мне еще незнакомо. Мир вокруг меня дышит, звенит и играет всеми красками лета, всем его многоцветьем. Почему-то мне радостно от обилия этих странных названий: гирча, дягиль, вех. И приятно, что рядом со мной человек, понимающий листья и травы, каждый малый цветок. Я гляжу на него с уважением, с робостью, снизу вверх, как на некое божество, но, как всякое божество, недоступное, строгое.

— А вот это?

Мне хочется продолжать бесконечно затеянную игру. Но отец, заложив руки за спину, смотрит в небо на промчавшихся мимо нас и как будто ныряющих в воздухе птичек. Они со щебетом носятся над гнездом, словно плачут, кричат, машут крыльями.

Он долго молчит, наблюдая, уйдя вдруг в себя. И когда его взгляд возвращается снова на землю, ко мне, почему-то я больше уже не расспрашиваю. Я смущаюсь его незнакомого

взгляда, этой замкнутости, охватившей его опять, как всегда.

После, в городе, взрослая, сидя в театре или читая нашу-мевшую пьесу, я думаю: отчего мы не пишем простых диалогов, вот таких, какие могут быть лишь у ребенка с отцом, в раннем детстве, — открывающих мир, называющих все предметы их великими именами?

Кто осмелится, чей великий талант в состоянии передать все значение этой беседы — и вселенскую немоту окружающих нас птиц, зверей и растений, если маленьким нам никто не сказал, для чего они служат, чем полезны или, может, наоборот, вредны человеку. В удивительной простоте такой тихой беседы есть какая-то тайна.

Все, что было сказано тогда, все, что я увидела в детстве, в память врезано, словно как в камень. Помню сладкие купыри на Дону, их огромные, как опахала, резные, зеленые листья и такой сочный стебель, слегка красноватый, я их больше не видела никогда, но запомнила на всю жизнь. А ведь мне тогда было всего года три, ну, от силы четыре...

За оврагами, в лесополосе, сладко стонет кукушка.

Кто-то громко считает монотонные эти «ку-ку».

А мне вспоминается гадкая сцena, которую как-то весной показал в лесу отец. Кукушонок в гнезде малиновки, отвратительно голый, в пеньках будущих перьев, торчащих, словно занозы, в синюшной, в пупырышках, коже, стоя, как клоун, на голове, выбрасывал из гнезда раскоряченными ногами только-только проклюнувшихся и выползших на свет малюсеньких своих меньших братьев. Вернее, не братьев, а законных владельцев гнезда.

Отправив на землю последнего птенчика, кукушонок уверенно, с той же ловкостью клоуна, очень быстро перевернулся и уселся на зад, как хозяин, раскрыл желтый складчатый клюв с ярко-красной подкладкой, похожий на граммофон, что-то хрипло, надменно и коротко каркнул. Птичка-мать положила на дно граммофона букашку. Да что там букашка! Малиновка вся сама могла бы влететь в нее, так была велика эта складчатая, алчная, ярко-красная пасть, — и так крохотна, так мала перед нею была разнесчастная певчая птица.

Но природа, наверное, надоумила малиновку быть осторожной. Уже следующую букашку птичка отдала прожорливому кукушонку не присаживаясь, а на лету, трепыхая при этом короткими крыльями.

И вот вещая птица считает кому-то года. Томным голосом, с придыханием,— как будто хорошо понимая, что сейчас зацветают сирень и боярышник, так волнующе пахнут лесной, родниковой свежестью розоватые и белесые, словно мелкие мотыльки, цветки татарский жимолости, ярко-алые венчики шиповника. Птица, видно, хороший психолог. Она чувствует: человек ей все простит за эту щемящую томность, за грустное, монотонное, золотое «ку-ку», так причудливо соединенное с этим полем в серебряных волнах озимых хлебов, с молодыми березками, с запахом ландышей, с неизменной обманчивой верой в грядущее.

Я жалею птенцов хлопотливой малиновки. Я почти ненавижу нахального кукушонка. Но отец говорит:

— Ничего... Кукушка — полезная птица.

— А малиновка вредная? — с обидой спрашиваю я.

— Нет, тоже полезная, — отвечает отец. — Но кукушка уничтожает вредителей, волосатых гусениц, которых ни малиновка, ни соловьи не едят.

Я задумываюсь.

Это явная несправедливость.

Злая, гадкая птица полезна. А нельзя ли в природе все так перестроить, чтобы певчая птаха, хоть та же малиновка, приносящая удовольствие человеку, украшающая эту землю и лес, была и полезной? Полезней кукушки. Ведь она-то уж, во всяком случае, не убивает чужих птенцов для того, чтобы жить на свете самой.

— Подрастешь — все узнаешь. Что полезно, что вредно, — говорит мне отец. Он задумывается на минуту. Потом говорит: — В природе всему есть свое объяснение. Вон из мака и белены добывают и яд и лекарство...

Мы идем с ним тропинкой по краю большого оврага, обсаженного деревьями. Здесь дубы, клены, ясени. Есть и дикие яблони, груши. Зацветает ирга, много желтой акации. Но я не люблю красивую тропинку во мхах, цветением дрока на взгорках. Я думаю: для чего птичка кормит нахального кукушонка? Почему так безропотно уступает гнездо? Может, эта уступчивость в ней заложена тоже двойко, как яд в белене? И еще: почему мать-кукушка лишена наслаждения материнством? Кто ее наказал и за что? За проглоченных гусениц? За полезность? Или, может, за сладкий обман выкликания неких таинственных чисел: кому сколько жить?

Отец говорит:

— Вообще-то кукует не кукушка, а кукух. Самец, а не самка. Это он так кричит.

И мы долго стоим с ним, внимательно слушаем деревянные странные возгласы птицы-вещуньи.

Я не верю в приметы: в разбитое зеркало, в чох, в вороний грай. Но с тех пор и, наверное, до конца моих дней буду слушать с надеждой, с волнением механический, монотонный, тоскующий голос кукушки, буду грустно вздыхать ожидая, сколько раз мне обронят «ку-ку»: доживу ли до новой весны?

Здесь, в степи, все мне в радость, в игру: узнавание трав и цветов, птиц, зверей и деревьев, и особенных, прежде не слышанных слов. Безуханный. Куриная слепота. Непашь. Зябь. Толкуны. Я прислушиваюсь к существующим в здешнем народе речениям, обозначающим явления природы,— сколько в них образности, поэзии! Разве скажешь как-то иначе, а не так, как сказали в деревне: «Поворотило к ненастью». Или: «Пал туман». А сколько чудесного в словах: «первопуюток», «пороша», «поземка»!

Летом, в светлые, очень короткие ночи мужики говорят: «Заря с зарей встречается». И я долго пыталась поймать этот таинственный час, и поймала, и поняла, что это не только слияние вечера с утром на исходе июня, наша вялая, робкая белая ночь, верно дальняя родственница той, красивейшей ленинградской, но это еще и совсем необычное, редкое положение зорь на небе, когда северо-запад и северо-восток действительно как бы сближаются, сливаются в одно целое. Солнце связывает их воедино своим огненно-алым узлом.

Вот его красноватый, малиновый диск, как неловкий пловец, вдруг утонет на миг в малиновых, и лиловых, и розовых, и оранжевых шелковистых пеленах, закатится, спрячется — и тут же, немедленно, и вынырнет в том же месте, взойдет, но уже как бы чем-то омытое, молодое. А небо, прозрачное, с желтизной, с розоватиной, с зеленой по краям, оно так и не меркнет, оно золотится всю ночь излучающим теплоту мягким, ласковым светом, как медом, оставляя все видимым, и различимым, и таким же объемным, как днем, без смещения плоских, перетянутых теней.

Жить бы этой одной июньской зарей... Но ведь есть и другие, холодные, в белом инее зори, и густая, пропахшая палыми листьями банная тьма октября, с мелко сеющим, неощутимым дождем. Есть еще и январские звездные, как бы скри-

пучие от морозов, жестяные, безмолвные ночи. И февральские, выюжные, змейные... И предмартовские, пуховые от белого-белого легковейного снега, как бы чем-то подсвеченного изнутри — ожиданием счастья, любви и доверия, что ли?

Я жадна. Жадно хочется жить, чтобы видеть все это и слышать, наблюдать, размышлять. Но когда размышляешь — и жадность моя пропадает, уходит куда-то, сведенная одинокою, ни с кем не делимою думой на нет, превращенная из реки в ручеек, из ручья в тонкий звон предвесенней капли под белой сосулькой. От сосульки к снежинке, летающей у виска. И опять — к облакам, беспокойно бегущим над милой, лесной и степной моей глушью, над Родиной...

Я задумываюсь сейчас: отчего это в обществе пустосердного болтуна, краснбая нам бывает и весело и легко, а вот в обществе умного, но молчаливого человека всем становится как-то не по себе? Может быть, оттого, что он что-то про всех нас такое особое знает, этот странный молчун? И нам стыдно и боязно перед ним? Или это исходят флюиды его неуклюжести, источается на окружающих заразительная застенчивость?

Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Но мы, дети, под взглядом отца все как будто немели. И сразу же начинали болтать и смеяться, как только он уходил на работу. Он молчал месяцами, ничем не выказывая своего отношения к происходящему в доме. Иногда улыбался чему-то, но не нашему, а своему, в чуть седеющие усы. Иногда хмурил брови. Когда мама спрашивала у него о чем-либо по хозяйству, он как будто бы возвращался из глубокой задумчивости, переспрашивая, иногда очень грубо:

— Что-о-о?

Но о чем он раздумывал в одиночестве и чему улыбался, кто знает?

Сильный, смелый и ловкий, он играл во все игры, любил рыбную ловлю, особо — охоту. Помню, мама частенько возилась на кухне: потрошила и чистила окуней или щук, ощипывала чирков, по-особому жарила зайца. На лужайке, что перед домом, рядом с волейбольной площадкой, вечерами варили в котле раков на всех — и кто ловил, и кто только подавал лишь советы с сухого бережка. И я почему-то иначе себя и не вижу, а только босую, сидящую в темноте у костра, и большие, растянутые далеко по траве тени взрослых: отца, моих старших сестер и рабочих. Тут же рядом сидят и собаки, запыхавшиеся от азарта, вывалив наружу языки.

А потом мы играли в горелки, и отец тоже бегал, ловил, догонял...

Летом обычно всю ночь до рассвета за дощатым бараком, на сваленных бревнах, «гуляют» сезонные наши рабочие, парни и девки, там бренчит гитара, звенит женский голос. И всю ночь до рассвета горит на столе отца лампа: он работает, пишет, иногда очень быстро, иногда вдруг задумывается и тогда, подняв голову и прикусив конец школьной ручки, долго-долго глядит за окно, на белеющие в темноте очертания хутора.

Что писал он? О чем думал? Не знаю. И потом, спустя много лет, уже взрослая, я так и не осмелилась его расспросить, над чем он работал в те годы. Свои многолетние труды — фенологические наблюдения, результаты кропотливейших опытов по травосеянию, по рисоводству — он отдал перед смертью товарищам по работе: авось кому-нибудь да пригодится. Но были ли в этих тетрадах какие-либо мысли о жизни, о людях, не знаю.

Мне он нравился больше всего не тогда, когда хмуро писал или что-то подсчитывал на арифмометре в конторе, а тогда, когда делал обыденную работу по дому: колол у сарая дрова, возился на огороде и в цветнике или, что еще лучше, когда просто сидел на крыльце и курил самокрутку. В это время — при той же своей молчаливости — он казался мне ближе, понятней, родней. И всегда удивляла его любовь — не к нам, его детям, а к щенятам, к котяткам, к птенцу, выпавшему из гнезда, к жеребенку, а впоследствии — к внукам. Нас он так не ласкал, с нами так не возился!

Помню, в доме вставляли всегда с петухами, и отец уходил на работу еще задолго до того, как рабочие собирались возле конторы.

Придя вечером с поля, отец снимал с себя пропыленную, прокаленную солнцем рубашку и кликал меня слить воды ему на руки. Сам вынесет ведро со свежей водой, мыло, кружку и стоит у крыльца, на траве, дожидается. Резкой гранью загара его тело разделено на неравные части: на руках до манжет и на шее до ворота, — так, что кажется, будто слеплен он одновременно из двух разных материалов, из белого и черного, потому что белого на все не хватило.

Отец долго, со вкусом полощется, хлещет воду на шею, на грудь, трет лицо. Я беру опустевшее наполовину ведро и лью сверху уже прямо из ведра, ополаскиваю его, потом подаю

расшитое суровое полотенце. Он насухо, докрасна вытирается, надевает чисто выстиранную, наглаженную мамой рубашку.

Есть что-то магическое для меня в этом древнем обряде. Словно вместе с таким умыванием и день делится на две части: на большую, тяжелую, жаркую часть, именуемую работой, и короткую, сладкую, темную — отдых: за столом и в постели. Но они, эти части, существуют всегда только рядом, всегда связаны воедино каким-то невидимым нам, ребятишкам, непонятным блаженством: исполнение долга — и отдых, как награда за труд. Да, мне кажется, нет другой за работу награды, столь желанной и сладкой, как заслуженный отдых. Все другое — уже приложение, может быть, иногда и ненужное, лишнее людям.

Мы садимся за стол, за простую еду: картошка в мундире, вареная чечевица или пшенная каша, но всегда с молоком, или только что из печи свежий хлеб с простоквашей — молчаливая трапеза, полная смысла. Потому что еда — это тоже награда. Отцу с матерью — за заботу о нас. Нам — за то, что растем.

Молчаливо, исполнено смысла и короткое, властное, ежедневное обучение нас, детей, как расти, для чего. Для того, чтоб трудиться. А прежде всего для того, чтоб любить свою полную света и радости Родину.

В то время и хутор и степи вокруг мне казались огромными, и все двери — высокими, и все окна — большими. А паши — особенно. В них всплывал летний воздух и пахнул ржаной соломой, конским потом и дегтем. А когда на поля опускалась поздним вечером прохлада, мы садились все на крыльце, на чисто промытых ступеньках, и отец, молчаливо сутулясь, закуривал козью ножку и думал о чем-то своем, о большом, отчего мы не смели запеть, засмеяться, сказать глупую шутку. В такие минуты мы тоже сидели притихшие, молчаливые и от нечего делать начинали приглядываться к подступающей к дому степной темноте, к очертаниям журавля у колодца, к первой мелкой звезде, к белым астрам на клумбе, сидящим, как белые птицы.

На коленях отца мурлыкала кошка. Пес ложился у ног, молчаливый и теплый, чуть пахнущий псиной и пылью. На кухне стучала посудой и пела негромкую песню мать, убираясь после короткого ужина. Желтый свет керосиновой лампы длинно, косо ложился на кустики высохших трав у крыльца, на тропинку и терялся вдаль.

Тишина, и покой, и прохлада после жаркого дня обнимали все тело так мягко и ласково, что я чувствовала себя сытым сонным зверьком, засыпающим в сумерках. И вся жизнь в окружающем мире казалась мне доброй, незыблемой, неизменной, и все было понятно, легко и доступно, как не было больше уже никогда.

Почти полвека мой отец сеял хлеб, месил чернозем порывавшимися от дождей сапогами. А мы, дети его, разбрелись кто куда. Только старшая сестра пошла по стопам отца, агрономша, и ни разу не отклонялась от избранного пути. А мы, остальные члены семьи, давно уже пленники города, с годами все более убежденные урбанисты. Мы уже далеки от природы. Теперь только в книгах — и то лишь изредка — я встречаю своих старых добрых знакомых из детства. Может, помните, как у Толстого начинается «Хаджи-Мурат»?

«Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы...»

Стоп! Это там, в той далекой степи, так прекрасно устроенной человеком, защищенной посадками, увлажненной каналами и цепью прудов, что ее уже вроде бы и бессмысленно называть теперь Каменной, я увидела и узнала этот скромный цветок. Скабиоза! Ее мало кто знает. Почему-то любителей этого цветка, кроме Льва Николаевича, я вообще не встречала. А он очень красив в высокой траве на суставчатом растопыренном стебле, весь пушистый и круглый, цветущий с весны до глубокой осени, такой робкий, с ласкающим тонким запахом. Как я счастлива, что опять с ним встречаюсь, пусть не в поле, не летом, в траве, а в городе, вьюжной зимой, раскрыв старую книгу, но все же как с другом, товарищем детства!

Мне нынче вообще уже кажется, что я больше не встречу чего-либо нового, незнакомого, неизвестного с детства. Потому, что те давние годы были так полноценны, так ярки, так щедро наполнены всем возможным живым, шумным, радостным, красочным многообразием жизни, что теперь я могу

только сравнивать это старое, дорогое, знакомое с вновь увиденным и оценивать по особой шкале: лучше это или хуже того, что я уже видела раньше.

Да, были гудящие от бесчисленных птиц и от пчел цветущие лесополосы. И ковыль... И большие, вполнеба, цветные закаты над степью. И разливы рек, ледоходы, когда балки «играют» и вниз по оврагам бежит мутная, ледяная вода, тоже были. И волки, и лисы, и дикие утки водились. И зайцы.

Помню, даже была «воробьиная ночь».

Почему — воробьиная? Я не знаю. Может быть, потому, что всю ночь воробьи да и прочие птицы в страхе мечутся, посятся в воздухе с криками, машут крыльями над деревьями, будто пытаются прикрыть, защитить свои гнезда.

Я запомнила эту ночь на всю жизнь.

Сперва цвел над степью июльский закат, похожий на крылья тропической птицы: сизо-алые, темно-синие и зеленые перья, в центре — ярко-оранжевый, жгучий глазок.

Не успевши растратить свой огненный блеск, свои алые краски, он померк, утонул в надвигавшихся совершенно беззвучных, темных полчищах облаков.

Тучи шли плотным строем, объемные и весомые; чернота их и тяжесть пугали. Вот дошли до зенита померкшего, в редких всполохах неба — и ветер забился в деревьях, помчался, как будто сорвавшись с цепи, примял темные их вершины почти до земли, рванул листья, кинул их сперва вверх, потом вниз — и понес по равнине. В доме окна и двери захлопали, где-то звякнуло и посыпалось на пол стекло.

Я в те годы была еще маленькая, не видала войны и тогда не смогла бы сыскать соответствующих образов. Но теперь я сравнила бы эту ночь с тяжким боем на окружение. На полное истребление. Гром рычал и ревел с четырех сторон вокруг нашего дома и лесопосадов, словно артподготовка. Тут и там, как огни батарей, передергивались, зажигались и гасли зарницы, что-то гулко рвалось и раскатывалось по крыше, как разрывы снарядов. Жутко, радостно, в самом деле как в смертном бою. Крик испуганных птиц, их тревожно галдящие стаи, пух и перья из гнезд, измятые ветром зеленые листья, ключья сена, песок и истертая в порошок пыль с дороги — все носится перед домом колючим столбом и вдруг падает, рассыпается. А время от времени на горизонте что-то взблескивает, перемигивается, блистает, кто-то молча обменивается огневыми сигналами перед новой атакой, умолкает в таинственной тишине, совсем как у Тютчева:

Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Бедут беседу меж собой.

И вдруг снова грохочет, прокатываясь над нашими головами, подобно огромной пустой бочке, сухой гром. Тучи низко волочатся над землей, нависая, как глыбы. Они быстро движутся — и ни капли дождя. Жаркий, душный, клубящийся воздух, насыщенный электричеством, не разродился ничем, не принес ни дождинки, ни струйки воды, ни рассеянных мелких капель испаряющейся на лету такой нужной, такой долгожданной теплой влаги.

Гром ревет, устрашая своим клокотанием, и медленно удаляется, как бы вскрикивая гортанно, затихает вдали.

На востоке желтеющей тонкой полоской забрезжил рассвет. «Воробьиная ночь» иссякала, откатывалась, сходила на нет. Почему «воробьиная»? Даже Даль не ответил. У него этим словом называется осеннее равноденствие. А наша-то «воробьиная ночь» — гром и молния без дождя — прокатилась в июле, сухим жарким летом. Лишь однажды, спустя много лет, я нашла у Тургенева это название — «воробьиная ночь» — в том же смысле, что наша, но он только назвал, не дав объяснения, почему «воробьиная», как если бы все вокруг это знали и сами. И мне вдруг подумалось, что наши далекие предки, отходя от нас дальше и дальше в века, тоже демоны глухонемые. Мы, стоящие где-то внизу, на земле, видим блеск, слышим гром их речей, а самого смысла огневых их забот, их великих и всеобъемлющих дум уже вроде бы не улавливаем — и превратно толкуем.

Воробьиная. Почему?.. Непонятно. По силе, по чувству уж скорее орлиная.

В это время в семье нашей что-то случилось. Мы, младшие дети, я и маленький брат, ничего в происшедшем, конечно, не понимаем.

Помню серый забор, голый сад, лай трехногой собачки. «Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка». Мы в Воронеже, без отца. Год тягучий, голодный. Я учусь уже в школе, но главная моя школа — дорога по улице, через весь город, сад с персидской сиренью и книги. И вечные жалобы: «Ваша младшая дочь кидалась камнями». Я кидаюсь камнями в мальчишек! Вот ужас-то! И мальчишки ревут!

Отец в Азии. Для меня он почти что не существует. Только где-то подспудно живет странное воспоминание о расшитой цветными шелками рубашке, о мягких усах, крепко пахнущих табаком, о каком-то пожаре, — мы, дети, лежим на огромных узлах в кабинете отца, клубы дыма влетают в раскрытые двери, и мать поит нас с ложечки сладким, пряным портвейном, разворачивает в золотой папиросной бумаге ароматные апельсины: это значит, что мы чем-то сильно бо-
леем.

Но теперь, без отца, и болеем мы несколько иначе. Да и все у нас в доме идет по-другому. Без портвейна, без апельсинов и частенько без хлеба. И когда появляется длинный, белый костистый старик с бородой — почтальон — и приносит нам деньги или письма из далекого азиатского города, там, в душе, что-то медленно тает, теплеет. Мне в такие минуты всегда вспоминается степь и наш дом — отчий дом, — по-спартански обставленный: стол обеденный, пять табуретов, комод, шкаф, кровать и письменный стол для отца. В углу, возле шкафа, — сундук под ковром, рядом удочки и двустволка. В кухне — русская печь. В сенях — теплый овчинный тулуп на гвозде, для разъездов зимою по степи, болотные сапоги, связка заячьих шкурок, распаленных для просушки. В пять ступенек крыльцо; под крыльцом — старый пес.

Тот, кто думает, что простой сельский быт обязательно соответствует и простым, даже, может быть, упрощенным, грубым чувствам, тот жизни не знает. Здесь, по-моему, все в обратной зависимости. Взгляд на мелочи, на бесчисленных, мельтешащих людей отвлекает, рассеивает внимание. А простая суровая жизнь на безлюдье, с закатом в окне, с черным хлебом и молоком и с широким привольем до самого горизонта, с этим выпуклым, выцветшим от жары и морозов, промытым дождями прозрачайшим небом как бы все в твоём сердце собирает в единое целое, словно в фокусе, и высвечивает, приближая и увеличивая. Оттого все выходит совсем не грубей, а просто отчетливей, ярче, глубже, мощнее:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку.

В этой жизни особые радости и особое мужество: понимать свою роль в окружающем мире и не требовать для себя ничего свыше самых простых удовольствий рабочего человека, и ценить хлеб и воду, огонь и дрова как единственно важное, необходимое. Нынче это не всякий умеет.

Говорят, есть белковая несовместимость.

А наверное, существует и психическая несовместимость, или, как говорят математики, «неконгруэнтность» характеров, отношения к жизни. А иначе откуда тогда неприязнь к одному, совершенно незнакомому тебе человеку и чувство симпатии, тяга к другому? И откуда тогда те семейные драмы, невидные миру, участники которых рассудком все вроде бы принимают и даже готовы пойти на уступки, но только от этих уступок никому не легче и не лучше, а все хуже да хуже, пока не дойдет до предела.

Мы, дети, участвуем в этих процессах как немая огромная сила, давящая и правого и виноватого с одинаковым гнетом. Мы научимся все понимать, когда взрослые отживут, откипят, успокоятся, то есть, в сущности, слишком поздно. До обидного поздно.

Между мной и отцом пролегли необъятные версты и тяжелые, долгие годы разлук, почти целые десятилетия: учение в школе, война и снова учение, но уже в институте, а после работа с разъездами в командировки. Разделяло нас с ним и мое непоколебимое убеждение, что ушедший из дома всегда виноват. Но на мир я гляжу почему-то глазами ушедшего, виноватого, и мир этот прекрасен, огромен. Как странно... И так хочется иногда пробежать по дорожке след в след за отцом и спросить: «А что это такое? А это? А это?..» И услышать ответ, как когда-то, спокойный, исчерпывающий. Но отец где-то в знойной далекой стране, недоступной воображению, в низком мазаном доме с плоской крышей, за глиняным желтым дувалом. Как живет он там, что он делает, и что думает, и что чувствует, к сожалению, я не знаю.

Детство было полно необъяснимого и прекрасного.

Потом объяснимого стало больше, а прекрасного меньше. Исчезли из нашего старого дома старинные сказки с русалками, лешими и домовыми. Их вытеснили таблица умножения, затем алгебра, геометрия; человек на картинках предстал в разрезе; все тайное стало явным; на смену поэзии пришла проза.

Осталось чудесной загадкой одно — само мое детство. Я нынче раздумываю: где оно затерялось, когда? Отчего я тогда не ценила его и слишком спешила стать взрослой? Мне оно почему-то рисуется очень милым, смешным существом, дорогим мне, родным, но, однако, не понятым мною. Словно я,

оробев, постеснялась приблизиться, заглянуть ему прямо в глаза, не сумела сдружиться как следует.

Потом, спустя годы, точно так же я пожалею о себе, уже взрослой: почему не пыталась понять до конца, для чего мои силы, мое ликование, смех, веселье, здоровье? Лишь о старости не пожалею. Но, наверно, и в старости мы так, в сущности, и не постигнем себя до конца, никогда не узнаем, какие возможности в нас таились, на что мы были способны.

Мне кажется, на войне человек иногда постигал эту тайну. Он вдруг видел, как в блеске слепящей, вполнеба, вставящейся молнии, себя самого, свою душу — до дна. И себе удивлялся: а, вот я каков! Вот какие во мне гигантские силы! Как я рад, что я лучше, красивей, отважней, чем мне это когда-то казалось...

Да, поэтому мы и вспоминаем о тех горьких, тягчайших, мучительных днях с таким наслаждением, так любовно лелеем, храним в своей памяти то суровое время. Наше лучшее «я» не для будничных дел, оно как-то меркнет при свете обычных электрических ламп, оно проявляется лишь при свете коптилок и взблесках орудий.

Дом, семья, а ты их почему-то не ценишь. И не знаешь их смысла...

Только на войне я впервые почувствовала, что это такое, когда у тебя есть мать, отец, калитка во двор, давненько не крашенное крыльцо со щеколдой, дверь в комнату, комната с венецианским окном. Все мило, привычно. В ледяной ли траншее, в жаркий день на пыльной армейской дороге мне они вспоминались все чаще и чаще: я узнала им цену. Вспоминалась зеленая, травянистая улица с блескучими рельсами посередине. По этим рельсам раз или два в неделю с визгом, с грохотом, с лязгом проезжал, пыхтя и кряхтя, закоптелый, в мазуте, воняющий керосином и каменным углем маневровый паровоз. Он тащил на маслозавод одну-две пустые цистерны. Потом, спустя время, возвращался обратно, но уже с полными: запыленные, аспидно-серые их бока маслянисто темнели.

Вспоминались слоноподобные, в серой толстой морщинистой шкуре угрюмые вязы у нас под окном. Солнце в дом из-за них не заглядывало никогда, оно влажно, летучими пятнами золота и изумруда дробилось у нас в комнате на столе

и полу, отражаясь короткими брызгами в зеркале, на стене, на раскрытой тетради.

Я всегда представляла себе, как открою скрипучую калитку и пройду по песчаной дорожке во двор. Мать выглянет из окна и всплеснет руками: «О господи! Кто приехал! Солдатик мой с фронта вернулся...»

Но война... она знала, что делать!

В своей убивающей черной злобе она не хотела оставить воюющим ни здоровья, ни жизни, ни этой вот радости возвращения, желанной, как хлеб или воздух. И, как хлеб или воздух, естественной, необходимой.

Победа пришла, а мне некуда возвращаться.

Мой город сожжен и разрушен. И дом мой сожжен. Нет ни вязов, ни окон, ни скрипучей калитки, только груда кирпичиков от фундамента. И в таких же подобных развалинах — полстраны. Куда ни поедешь, везде начинать жизнь с нуля. И везде ты покамест — солдат. Потому что, кроме как воевать, ничего не умеешь. А сейчас это вроде бы больше не нужно. Сейчас нужно другое: восстанавливать, строить, работать. Значит, нужно учиться, а верней, переучиваться, отвыкать от солдатских привычек, вживаться в еще незнакомый тебе мирный быт на других основаниях: без погон, дающих право командовать и обязанность подчиняться, без старшин, худо-бедно, но кормивших и одевавших тебя, без умения слышать летящий снаряд или бомбу.

Вся семья наша где-то в далекой, неведомой Кзыл-Орде, у отца, в его новом для нас, незнакомом и каком-то чужом еще доме. Надо ехать туда...

В Москве на вокзале, у кассы, гудящие толпы демобилизованных. Тут могучие плечи, командирские голоса и погромче моего лейтенантского голоса. Рывкнет басом какой-нибудь: «Как стоишь?» И невольно замрешь. Нет, конечно, билета на поезд в такой толчее не достать. На скамьях, среди сумок и вещмешков, разговоры: «Вот пробраться бы на перрон, там, гутарят, сейчас подадут пульмана. Двери будто бы запломбированы, ну дак можно на крыше...»

Что ж, на крыше так на крыше.

После того, как я ездила все четыре года войны, изо дня в день, в любую погоду по неведомым мне до этого самым гадким, избитым и опасным дорогам в дребезжащих грузовиках, на фурманках, в телегах, на танках, на бензозаправщиках, на ящиках со снарядами или минами, под бомбежкой, иногда на подножке попутной машины, держась только рукой

за дверцу кабины, мне и крыша вагона не кажется чем-то особенным. А тем более рядом — товарищи. В этом воинском братстве всегда защитят, накормят, напоят, в беде не оставят, а когда загрустишь, рассмешат грубоватым, беззлобным и метким словом.

И потом, разве можно не ехать?!

С войны-то? К родным?..

Проплутав по путям в темноте, перелезши через высокий забор — мои спутники по-рыцарски подсадили меня, — мы выходим к каким-то закрытым вагонам. Сеет дождь, ветер рвет, развеивает набрякшие полы шинели. Кто-то лезет на буфер, потом, словно кошка, на крышу, тянет руку: «Давай вещмешок!» Мы гремим сапогами по скользкому от дождя железу, прижимаемся к ледяным ржавым листам, командирскими поясами привязываемся к трубе: хоть и холодно на ветру, но, однако же, клонит в сон, как бы не сверзиться.

— Ты куда?

— В Кызыл-Орду. А ты?

— Я в Ташкент.

— Ну, добро. Можно трогать. Поехали...

В самом деле, почти и не ждали, не мучились, паровоз мягко тронул, пронес сквозь тоннели, быстро вынес на ветер, в глухую, тревожную темноту и так ладно, так споро вдруг начал поддакивать: «Так-так-так! Так-так-так!» Словно в чем-то со мной соглашается, не перечит.

...О том, что земля наша велика, мы узнали не в школе, сидя за партой. Был другой куда более совершенный и точный масштаб — на картах-трехверстках, под огнем пулеметов.

Запыленные, закопченные долетающим от паровоза вонючим дымком, мы с рассвета не спим, все смотрим вперед, представляя лицо холодному ветру, и с любовью, с тоской и с волнением впиваем, вбираем в себя осенний простор опустевших полей, уже убранных, сжатых, всю его широту, всю его необъятность, вдруг увиденную впервые не ценой своей жизни, не на линии бруствера, не в скрещении стереотрубы и не в прорези прицепа, а так вольно, свободно, как рядом летящие птицы.

Мы еще не умеем постигнуть всей сложности новой жизни и всей красоты мирных дней, в наших душах еще грохочет война, а в глазах еще прыгает, не истлевая, тот отблеск пожаров, и те отсветы батарей, и те взблески разрывов снарядов, какими наполнены были до отказа бессонные,

злые, суровые годы. И что удивляться, что, как будто с разбегу наткнувшись на мирную жизнь, мы все словно немножечко ошалели.

— Эт-то что же, т-товарищи!—заякаясь, говорит мне мой спутник майор, весь в сверкающих орденах.— Все сначала? Опять? Был комбатом, начальником, а теперь снова... школьник?!

Он был как бы унижен своим путешествием «на трубе», на крыше вагона. А мне оно нравилось, это живое, веселое обтекание ветра вокруг скромной моей персоны, я как будто летела на крыльях и все улыбалась.

— Чего ты?

— Так просто. Смешно...

Стук колес... Он навеивал воспоминания о каких-то дру-гих, непохожих дорогах. Например, длинный, пыльный состав из зеленых, изъезженных старых вагонов. В таком поезде я ездила с матерью из Каменной степи к началу учебного года в Воронеж. Тогда не было электричества, и кондуктор, казавшийся великаном, в гремучем, каляном от непогоды плаще, вносил в переполненное купе железный фонарь со свечою внутри и вешал его на крюке. Тогда все качалось в вагоне: свет и тени, фигуры людей, немые поля и леса за окном, освещенные желтой цыганской серьгой ущербного месяца. Кто-то жадно закуривает в темноте, еще не усевшись, и поглядывает в окно, и гремит по скамейкам брезентовым пыльником. Густо пахнет портянками, самосадом, овчиной, теплым хлебом, дымком — все какие-то мирные, добрые запахи не придуманной, городской, а живой, полновластной, такой удивительной жизни. И невольная мысль, что живая, родная деревенская жизнь все еще неуклюжа в своей прямоте и жестокости, угловата. И так хочется наконец задремать, непременно на мягкой, пышно взбитой подушке, под пушистым, ласкающим легоньким одеялом...

За Аралом нас с крыши вагона согнали: начались мосты через Сыр-Дарью и, наверно, немало отчаянных, смелых голов, уцелевших в самом пекле войны, послетело на этих мостах, задевая за низко нависшие фермы, если нас чуть не стаскивали с крыш, обугленных, загорелых, с вещмешками, с шинелями, сердитые милиционеры.

Дальше едем в теплушках, на тормозных площадках, прибываем к воинским эшелонам, идущим куда-то на юг. Но —

куда? Только в августе после узнали: в Маньчжурию. Против японцев...

А дорога все тянется, тянется ниткой в желтой степи. Пахнет пылью, кумысом, верблюдами. Ярко светит, палит незнакомое, южное солнце...

Наконец — Кзыл-Орда!

Как меня поразили скромный, низенький дом в Кзыл-Орде! И такая же, как и в Каменной степи, бедноватая обстановка — стол, кровать, табуреты, этажерка для книг, бельевая корзина, накрытая вязаной скатертью.

— Ну? Приехала? — строго спросил меня отец, обнимая, целуя, прижимаясь сухим, загорелым лицом к моей гимнастерке. Он как будто не удивился, что я уцелела в том великом огне, не сгорела, не сгинула.

— Да, приехала...

— Молодец!

Он был так же высок и красив, только волосы чуть поредели и меньше кудрявились да усы опустились; в синей выцветшей куртке, не ученый — рабочий. И руки рабочие.

— Ставь-ка нам поскорее на стол, — мягко бросил он матери, хотя та и сама уже весело суежилась. Сколько лет я не видела их? Мать — четыре года, отца — все пятнадцать. Ведь бывает же! Миллионы людей война разлучила навек, а моих родителей снова накрепко соединила. Когда наш Воронеж фашисты начали бомбить, а я уходила на фронт, отец вызвал мать к себе. И она с моим младшим братишкой поехала...

«Не было бы счастья, да несчастье помогло», — объяснил отец однажды кому-то в порыве откровенности, и я теперь верю, что он мог так сказать, хотя прежде не верила: слишком скуп он на такие оценки.

Говорят, недолго яблоня цветет, да долго помнится ее кипенно-белый духовитый наряд, бледный шелк лепестков. Сейчас я смотрю в те прошедшие годы, как в быструю реку, — дна не видно, лишь отблески солнца да рябь на воде. Как потом жизнь ни швыряла меня и ни мяла, а что-то осталось в душе от тех солнечных дней.

И не только осталось, а, наверное, до старости будет отзываться в душе то болью, то радостью какой-нибудь кустик

пахучей полыни, или тропка во ржи, или теплый закат над озером или лесом. Или та же пропахшая дынями Кзыл-Орда.

Я потом потеряла им счет, километрам. И опять, как на фронте, на чем только не летала, не ездила. В горячке тех лет не часто бывало, что вырвешься из суеты, но уж если вырвешься... Но уж если тебя занесло в тишину, какой благодатью она вдруг омоет и сердце и душу...

Берендеево царство. Или, может, Кошcea Бессмертного, где все в целости, все сохранилось, как в старинном, окованном сундуке под замком,— и вот вынута перед тобой и расстелено драгоценными, пахнущими увяданием и солнечным тленом шелками: лазоревым, серо-зеленым и синим — река и такое же точно небо над ней; лес по берегу — серый, серебряный, желтый и темно-зеленый; белый, чисто промытый песок; рядом дом крашен охрой, с нарядными, как игрушка, наличниками; грязно-серый причал — и заветные, в самом деле как будто бы извлеченные из какого-то заповедного небытия, непривычные для современного человека безлюдье, безделье, осеннее сладкое одиночество...

Лодка режет зеркальную, тихую воду, чуть-чуть приминая ее, как утюг. В омутах глубина почти черного цвета; на песчаной косе, в теплой, сморщенной ветром ласкающей ряби играют пескарики. А там, дальше, повисшие над водою тяжелые ветви деревьев, похожие на обрoсших листвою удавов, ряска, водоросли, куга, остролистая, с тонкой вдавленной риской осока и зеленые, словно покрытые лаком, сердцевидные листья кувшинок. Вот, как счастье, одна, небольшая, качается на плаву, тоже нежится в позднем, чуть греющем солнце. Мы медленно огибаем ее, боясь тронуть веслом или днищем, но все-таки задеваем, она быстро уходит под воду на гибком, как провод, коричнево-зеленоватом стебле и тотчас же выплывает как ни в чем не бывало и снова ложится на вееры листьев, как изящная драгоценность, сияя, маля, вся светясь изнутри, как свеча, желтоватым, чуть призрачным светом.

Ни единого человеческого голоса на округу, ни звука моторов, ничего, кроме шороха водорослей под веслом — этот шорох почти металлический,— да голоса птички в прибрежных кустах, с такой незатейливой песенкой, какую услышишь

лишь разве что осенью, после отлетов. Теплота, размагниченность, растворенность полнейшая.

На пойманных пескарей мы ставим кружки. Они тоже как лилии, только красного цвета, закачались по плесу и медленно повлеклись кто куда: один в заросли камыша, другой к отмели, где пескарик был пойман, третий к берегу, под зеленые арки нависших деревьев.

Уплывавшего к отмели пескаря мы вернули, но он тут же упрямо свернул на знакомую или просто влекущую темным рыбьим инстинктом дорогу не менее чем в полтора километра. И мы снова вернули его, и так раза три. Поздно вечером, когда щуки, тяжелые, скользкие, как толстенные из резины обрубки, уже улеглись на дно лодки, мы отправились снова, в который уж раз, догонять пескаря. Он был весел, крючком не попорчен, не съеден и резво ходил на тонком тугом поводке.

— Что ж, отпустим его на свободу? За такое стремление...

— Отпусти!

Пескарь снят с крючка, брошен в воду. И он тотчас же, ловко и радостно оттолкнувшись два-три раза хвостом от невидимой нам, а ему ощутимой теплой толщи воды, вдруг рванул напрямик в направлении к отмели. Словно беглый солдат из турецкого плена. Вот рассказов-то будет в пескарином семействе!..

Солнце село давно, воздух влажный, холодный. Над рекою, над лесом — почти неподвижный, пахучий от запаха водорослей и пойманной рыбы и дыма; и зеленый, густеющий, теплый — по краям горизонта. Мы смотрим на запад, на небо, где край все еще розовеет, с затаенной надеждой, что все повторится когда-нибудь снова. Как молодость. Ведь она повторяется. Ведь не может не повториться! Ну хотя бы на миг. На мгновение. На секунду...

Жизнь меняется на глазах. Но меняется не постепенно, не плавно, а рывками, с какими-то завихрениями.

На моей памяти — да, я помню это отлично, хотя и была тогда еще ребенком, — крестьяне в воронежских деревнях пахали сохой, зерно рассевали рукой из лукошка, одеты они были в домотканые портки из сурового полотна, в ярко крашенные паневы, в зипуны и поддевки; на ногах — онучи и лапти. В избах не было радио, электричества, зажигали светец. И при мне же воронежский паренек Анатолий Филипп-

ченко «съездил» в космос при помощи умной, все умеющей и все ведающей электронной машины...

Но меняется жизнь и в других направлениях.

Вот шоссе рассекает поля, и овраги, и какие-то совершенно безлесные деревеньки. Пейзаж самый серый. Но он сер не потому, что невзрачен и беден с точки зрения эстетики, хотя это тоже в нем есть. Он сер от бесчисленных стад домашних гусей, пасущихся на лужках, на жнивье, у прудов, у заглохших речушек. Впечатление такое, будто вся земля покрыта серым гусиным пухом. Невольно припоминается есенинское: «Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг?» Здесь, однако, не лебеди. Гуси! И не вместо зимы, вместо осени... Возле беленьких, подновленных или выстроенных недавно домов — стада в тридцать, сорок и пятьдесят гусей. Вид поэтому у лужков, у травы перед домом неряшливый, воздух полон шипения и скрипучего гогота. Сады по холмам вяло никнут под тяжестью яблок, но и листья деревьев в летучем пуху.

Это радостно, это приятно, и невольно желаешь: пусть будет на свете единственная эта серость, с ней-то можно и примириться!

Но уже не миришься, что нет диких гусей на лугах, что нет лебедей, что исчезли, наверное, все до единой степные красавицы дрофы. Я их помню, больших, неуклюжих, почти не взлетающих, а убегающих от человека. В тот год, когда степь распахали, дрофы сразу исчезли. Помню шук, играющих на быстрине по оврагам, тяжело, как-то грузно выплескивающих из воды на целых полметра. Помню стаи — тогда говорили «станицы» — пролетающих журавлей. А какое великое множество уток оседало у нас на болотах, по балкам и на старом пруду в камышах и осоке! Все лесные посадки, все кустики по степи, вся трава на многие километры вокруг хутора, как какой-то огромный котел, klokотали, кипели от бесчисленных птиц — галдящих, щебечущих, кричающих и чиликающих. Вечерами то сова захохочет, застонет во тьме, то щелкнет, рассыплет хрустальные трели степной соловей.

Да, если бы счастье размножалось простым делением клеток, как просто, как радостно было бы жить! Тогда можно было бы и надеяться, что если сегодня счастья немного, то завтра его обязательно станет побольше, а уже через месяц, а тем более через год и всем будет вдоволь.

Но вот лебеди... Дикие гуси...

С детства не слышала отлетающих журавлей.

И вот оголенные, в побуревшем от непогоды жнивье равнины, так похожие на родные. Я сижу у самой воды, у холодного, в мелкой волне, заросшего деревьями озера. Плакучие ивы еще ярко-зеленые, а ракиты седые, как будто в дыму, словно тронуты инеем. И в листве лип, и кленов, и белых, серебристых тополей уже кое-где да мелькнет желтизна ранней осени.

Тишина, солнцепек, растворение в этом пахнущем вялой травой, рыбьей слизью и палыми листьями удивительном воздухе, в затишке, где безветрие возвращает тебя снова в жаркое лето. И вдруг что-то тревожное, непонятное, трубным голосом с неба, чей-то зов, чуть скрипучий, картавый, тоскливый.

— Журавли! Посмотрите скорей, журавли!

Они вышли, как самолеты, из-за купы деревьев классическим треугольником, держа курс строго на юг, и скрылись за дамбой, обросшей ракитником. Спустился полчаса зов раздался опять и опять. Теперь журавли шли цепочкой на запад; лишь вожак, вырываясь, летел чуть-чуть впереди, как бы с силой вытягивая непослушных ведомых опять в треугольник, всю черную эту питочку, но так и не вытянув ее.

— Вон еще журавли! — кричат мне товарищи.

Нет, мне кажется, это все те же, уже пролетавшие раз над нами. Просто птицы прощаются с озером, с рощами, с заросшими пыреем и полынью долинками и оврагами, с полями в обломках стеблей кукурузы, с бездомно покинутыми на пашнях стогами соломы. Видно, взрослые журавли учат младших, подростков, находить, возвращаясь весной, это озеро, островки на нем в соснах и елях, этот дом на холме, эти купы деревьев и все видимые с высоты, с любого захода приметные ориентиры — грустный птичий урок навигации.

Может быть, что при этом старшие говорят подлеткам:

— Запомните, это ваша родина! Обязательно возвращайтесь в родные края, даже если не будет нас, взрослых! Пожалуйста, не забудьте дорогу сюда. Здесь мы любим друг друга, здесь рождаются наши дети, здесь мы умираем. Жаркий юг — это только лишь отдых, а жизнь наша здесь...

Я завидую им, улетающим, потому что весной они обязательно снова вернутся сюда. А я?.. Сумею ли я опять побы-

вать здесь, на темной, зеленой реке, на этих прудах и озерах, взглянуть на березовые аллеи, уходящие в степь, на свекольные и ржаные поля? Я летаю теперь выше птиц, а оттуда, с немыслимой для журавля высоты, разве можно заметить мелькующую где-то внизу голубую подкову заливчика, где мы ловим плотвичек и раков, где стоят эти серые, словно седые, ракиты, эти рыжие, опаленные солнцем дубы?

Я люблю бывать каждый раз в каком-нибудь новом краю, в незнакомом мне месте, видеть горы, моря и красивые города и красивых людей, люблю слушать красивые, полные скрытого смысла, лукавые речи... А здесь что услышишь? Лишь «цоб» да «цобе»! Что увидишь? Вот этих летящих с севера на юг, а затем еще раз, как бы ровным крестом, поперек, с востока на запад, расстающихся и со мной, улетающих журавлей?

Так мало, так мало!

Так мало, что хочется непременно вернуться — и постигнуть: а чего же здесь много? Отчего вот за эту неяркую, небогатую землю бились люди — до крови, до смерти — и с полвцами, и с татарами, и с поляками, и со шведами, и с немецкими фашистами? Значит, что-то их привлекало на этой земле, моих предков, поселившихся издревле здесь, возле серой реки.

Я люблю эту землю.

Научите меня, журавли, обязательно возвращаться! Может быть, я пойму непонятное, как и вы, угадаю.

Мы, живущие в городе, не выходим перед рассветом на улицу, на работу к скотине или в поле на пашню, а ежели и выходим когда, то за яркими фонарями сиренево-розовых и мертвенных сине-зеленых ртутных ламп не видим ни неба, ни звезд, ни той чуть заметной, всегда шевелящейся звездной пыли, которая светится там, в глубине, «во втором эшелоне» огромного августовского или сентябрьского неба.

А в лесной деревеньке ночь тиха, словно омут. Ярким сильным кристаллом торжественно светится небо, а на дне его опрокинутой над безмолвной землей полусферы, на покатых краях ее, на вздымающихся к голубому зениту стеклянистых откосах, как живые создания, полные искристой влаги, как творения из текучего, ледяного огня, тут и там в бесконечности неисчислимые звезды.

Я не знаю названий этих странных, неведомых конфигу-

раций, шевелящихся в небе, они так огромны, так чудовищно далеки и так ярки, что трудно представить себе весь тот путь, по которому свет их доходит до глаз и до сердца, — я-то знаю, от глаза до сердца мгновенно, — а вот мысленно не повторить, не пройти этот путь, не постигнуть его.

Пар стоит над рекой. Лес рисуется весь, как пятно, черной тушью, только ближние ветви деревьев на фоне какой-нибудь крупной звезды прорезаются, словно лиловое с серебром или черное кружево. Сладко пахнет лесною дорогой, чуть глинистой, пыльной. Еще ночь, а уже розовеет, и невидимое отчего-то угадывается, тонким контуром намечает себя. Ну а звезды...

Воздух резкий, морозистый пробирает насквозь. Хорошо войти в дом, в теплоту темных комнат и плотно прикрыть за собой дверь. Но в глазах еще долго мохнатые искры, как огнистые сверла, и мельчайшие брызги от них, отпечатанные в зрачке на все долгие предстоящие годы, может быть, навсегда.

Иногда вдруг до сердца пронзает «знакомость» пейзажа, память чувств, отзывавшихся на истоптанные скотиной бугры, на гусиную травку у берега чахлой речушки.

Отдаленнейшая деревенька в самом центре России. Дом и сад — все уже старовато, с «историей», с глубиной в позабытые нами года. Все могло бы порассказать нам немало легенд, будь порог, или печь, или банька на огороде говорящими.

День холодный, промозглый, с переменною облачностью: то припустит вдруг дождик, то выглянет солнце, и тогда даже жарко, то мрак, ветер, холод, а так тянет на волю, в заливные луга, в синеющий вдалеке темный лес.

Наш хозяин покладист и тороват, он ведет нас к обрыву над речкой, над лугом, мимо сельского кладбища на бугорке, по траве, сплошь усыпанной ягодой и ромашкой да степными гвоздичками. Густая трава, как зеленые русалочки волосы, влажно путается в ногах, вот по щиколотку, вот по пояс, а цветов, а цветов... Мы бежим уже лугом, широким, покатым, почти как на крыльях: воздух свеж и слегка холодит, пахнет мятой, полынью, золотящейся дикой рябинкой.

А хозяин наш все приговаривает:

— Это что... Это что... Вот до леса дойдем, там увидите...

Слева серым крылом нас опять накрывает дождь: шумный, быстрый и частый, так что сразу же все промокли насквозь, а весело, хочется петь и смеяться. Все нам дарит хозяин: и луг, и цветы, и летящую с неба прохладную влагу.

И вдруг — предзакатное — на какое-то краткое время опять глянуло солнце. И над нами, над лугом, над самыми нашими головами, как в кино — да, такое, наверно, возможно, лишь только в кино, — одна над другой две огромные, яркие радуги, как цветные ворота. Мы кричим все:

— На счастье, на счастье!

И хозяин, нам кланяясь, говорит:

— Ну, пожалуйста, теперь в дом...

И мы входим в село по цветущему лугу сквозь цветные, двойные, дрожащие в небе ворота, где-то прямо под аркой, изогнувшейся круто. И я втайне хотя и счастливая, суеверно загадываю в самом деле «на счастье». Ведь не каждый же день тебе дарят две радуги!

В те же дни нам был сделан и еще один царский подарок. Шли мы полем, извечно простым и извечно красивым ржаным русским полем, с васильками во ржи, по тропинке, проложенной поперек борозды: есть такая привычка у русского человека — ходить напрямки, хоть бы и по колдобинам, по разъезженной глине. После вчерашней непогоды тропинка была кое-где влажноватой, кое-где даже мокрой, осклизлой, солнце жарило сверху каким-то особенным жаром, выполняло задание за два дня, и мы сразу же с непривычки запарились, притомились.

Может быть, поэтому, а возможно, и оттого, что действительно лес на холмах впереди был прекрасен, но только, увидя высокие красные сосны и ели, и мелкий осинничек, и березки, мы как-то невольно ускорили шаг. Вот она, голубая, зеленая и золотая прохлада! Вот он, терпкий, мучительный запах хвои, почему-то всегда напоминающий мне войну и землянки под Витебском, ледяные, с сочащейся под ногами подпочвенной ржавой водой, с гулом выстрелов и разрывами жестко хлопавших мин.

Нет, тот запах был траурный, безнадежный, а этот — смолистый, бодрящий, живой! Здесь, на взгорках, все сухо, ветер ласково треплет одежду и волосы, освежает, неся в себе ароматы цветов, седых мхов, прошлогодней листвы и чего-то медвяного, но не меда.

Мы избегаем по вырубке на бугор с одинокими соснами и все разом на миг замираем. Весь бугор, все полянки под соснами красные. От земляники. Здесь нельзя сделать шагу, чтобы не наступить на десятки, на сотни висящих, как алые капельки, ягод. И мы падаем в эти алые росы, в траву, чтобы прямо губами снимать эти ягодки с веточек, пить душистый, земной, сладкий сок. Так вот отчего так сладко дышал жаркий ветер, неся запахи меда!

Мы уже утолили свою первую жажду, мы уже собираем землянику в платочки, в огромные, свернутые, как зеленые раковины, лопушиные листья, а поляна по-прежнему красная, алая, необоримая. Вот и солнце печет все сильнее и сильнее, но нет силы уйти от никогда еще не виданного мной изобилия ягод.

— Ну вот... Я же вам говорил,—улыбается наш хозяин. Он, видимо, тоже доволен, хотя земляничная эта поляна и для него самого неожиданность, он не думал найти здесь таких ранних ягод, а главное, столь изобильных.

Возвращаемся мы домой тем же полем и той же тропинкой во ржи, утомленные, разморенные солнцем и как будто бы даже подавленные щедротами русской природы: двойной радугой, этим полем с колосьями и васильками, лесными полянами с земляникой. И я думаю о большом человеческом счастье дарить.

Как я рада была бы подарить тебе нежный запах персидской сирени, разросшейся по оврагу в Воронеже, возле дома моей бабушки Аносовой, да нет ни сирени, ни дома в Воронеже, и бабушка умерла. Как я рада была бы тебе подарить блеск степных ковылей, да нет ковыля на распаханых землях, как нет ни тюльпанов в степи, ни пунцовых, ни алых диких маков, ни ирисов по оврагам... Ты не знаешь, как пахнут воронежские фиалки. Я хотела бы подарить тебе это доброе знание, да ведь и дороги забыты на родину, в зеленые сны моей юности, где я когда-то ходила по душистым коврам из синих подснежников и лиловых фиалок.

Ты, наверное, не знаешь, как кричит водолюб, как недвижно стоят над прудом одноногие цапли, как красива аллея из старых вязов поздней осенью, когда она — на ветру — вся сквозная и сердитое золото палых листьев металлически шелестит под ногами. Только как подарить тебе это все, чего я и сама не имею?! .

В той же долгой поездке довелось мне заполнить одну шуточную анкету в сорок с лишним вопросов. И там было все: ваш любимый цветок, ваш любимый писатель, ваше любимое домашнее животное и так далее. В общем, целая энциклопедия привязанностей и симпатий моей души, вся ее подноготная от рождения и до нынешних дней.

И, конечно, любимый цветок была ромашка. И, конечно, любимым животным была лошадь. Хотя их, любимых, у меня все же трое: лошадь, собака и кошка. Но лошадь всегда впереди, ей особое, главное место в моей биографии, в моих нежных чувствах.

Еще было спрошено о любимом мной дереве. И я, к удивлению хозяина, выбрала лох. Не березу, не яблоню и не дуб, а вот это не всем, вероятно, известное деревце, серебристое, все дрожащее от малейшего дуновения ветра, в длинных острых колючках. В конце мая — в начале июня желтоватые, блеклые, очень мелкие цветки этого дерева, похожие на золотые, душистые звезды, пахнут медом, каким-то таинственным ароматом, тягучим и горьким, и вся крона, гудящая пчелами, серебрится, как светлое, легкое облако. Там, в зеленом раю моей юности, в Каменной степи, все посадки были обсажены по краям лохом (в Средней Азии это дерево называют джида), и я помню его и цветущим, и голым, и в маленьких серебристых плодах, очень терпких, морщинистых, чуть мучнистых и совсем не мясистых, а кожистых, но достаточно сладких, чтобы мы повисали на дереве, цепляясь одеждой, обдирая все руки об острые, слегка выставленные под листовую шипы.

Лох всегда был со мною. Он рос и в Воронеже, в сквере, на площади Павших борцов. Он рос у отца, на Кубани, в болотистых, ржавых посадках по дороге к реке, и мы всякий раз, возвращаясь с купания, любовались его пышной, серебряной кроной, вдыхали волшебный его аромат. Я встретила лох даже в Марьине осенью. Он стоял, старый друг, на окраине леса перед ярко-зеленой, цветистой лужайкой и, казалось, меня не узнал, без единого плодика, весь сухой и колючий...

Может быть, за колючесть я его и люблю?

Светлый облик его ни с чем не сравнится. Весь корявый и замкнутый, недоступный, он, наверное, рожден только лишь для степей, с этим узким листом, с этим маленьким, крестиком, желтым цветком, со своим ароматом, чем-то схожий по первому впечатлению с круглым, жестким, корявым, колючим

шаром осеннего перекати-поля — почти родственник, брат, только лишь не несется по ветру.

Серебристый ковыль, серебристые листья лоха, серебристые, чуть розоватые веточки гонимых по ветру пушистых шаров под безрадостным, хмурым, насупленным небом...

Пункт пятнадцатый: ваше любимое дерево?

Лох.

После странствий по свету приятно опять возвратиться в родительский дом! Он, конечно, мне еще незнаком, и дорога к нему пока неизвестна, но в письме все рассказано точно: где нужно сойти с поезда, а где пересестись на автобус, как попасть до заката вечернего солнца к реке, к перевозчику, не опоздать бы, потому что горячее южное солнце не горит до полуночи на небе стоячим пожаром, как у нас под Москвой, освещая и землю, и воду, и каждую тропку, а тотчас как будто бы прячется в черную яму, и весь свет, вся земля выключаются сразу; за каких-нибудь десять-пятнадцать минут на поля, на станицы, на реку, на ветлы здесь валится ночь, и всякая жизнь прекращается до утра, закрываются форточки, окна и двери, на тропинках, под окнами, занимают посты кобели — и уже никуда не пройдешь, не проедешь...

Я тряслась не в автобусе, а, как всегда, как привычнее, на попутных, и все эти подробности меня как-то нервно тревожили: ждать-то будут автобус, а он прибывает значительно позже той самой минуты, когда солнце прячется в свою черную яму, значит, ахи и охи, и где я найду перевозчика, если тоже приеду позднее заката, и как отыскать в темноте паром, он за пять километров от дома, значит, пять километров туда, пять обратно, пешком, вдоль реки по тропинке, в чащобах кустарников да в высокой траве, а там, может быть, жабы да змеи...

Пыль пушистым хвостом отлетает от нашей машины и ко-со ложится на придорожные травы. Справа, слева равнина, как стол, ни единого холмика, ни оврага, ни кустика. Но вот в вечереющем воздухе блеск воды за грядой тополей, протянувшихся в небо, подобно каким-то зеленым снарядам, узким, хищным и длинным — это карты засеянных рисом полей, паутина каналов, главный ствол с деревянным мостом; мы промчались по ссохшимся доскам моста, словно гром, с перекатом и грохотом, и встали как вкопанные — шофер с мятым, ржавым ведром поплелся к арыку. А солнце все ниже...

Вот шофер наконец зачерпнул желтой грязной воды и залил ее в радиатор. Вот он закурил, постоял, потоптался, а солнце все ниже... Вот он сел наконец, хлопнул дверцей, мотор зачихал, весь затрясся и, фыркнув, умолк — норовистая, из железа и проводов, пропахшая вонью бензина ученая лошадь не хотела работать.

Поздно ночью, когда люди в поселке уже все крепко спали, я ввалилась в родительский дом, озираясь, — мне здесь кажется все неуютным и странным: и веранда, обвитая виноградом, и крыльцо, и высокая, круглая клумба в розовато-сиреневом облаке маттиолы. Незнакомые звезды, такие огромные, яркие, освещавшие мне дорогу от реки и паромы, влажно, ласково зеленеют на небе...

Зажигается электричество, мягкий, розовый абажур наполняет всю комнату искажающим очертания хилым, призрачным светом. Но и он, этот призрачный свет, не скрывает, что отец постарел, что мать, прежде такая веселая, быстрая, легкая, нынче движется медленней, в тихой, ровной усталости, уже ставшей привычной. Он и здесь, как и прежде, тот же быт, те же вещи, простые и грубые: стол и шкаф, неуютная койка, тот же письменный стол, тот же самый барометр, часы и настольная лампа.

При взгляде на эти родные мне лица, на стол с клеенкой, на узкую койку я вдруг понимаю, с какой темной силой, еще молодой и красивый, сказал как-то Блок:

Когда я стал дряхлеть и стынуть,
Поэт, привыкший к сединам,
Мне захотелось отодвинуть
Конец, сужденный старикам...

И что-то сжимает мне горло, какая-то боль. А они, мои самые близкие люди, уже суетятся, готовят на стол, подают, словно нет этой грозной великой проблемы, словно их не коснется движение времени, словно я застрахована от грядущих раскаяний, поздних слез.

Мне их жалко, моих одиноких, седых стариков.

Но ведь вслух-то не скажешь! Отец только хмыкнет, промолчит иронически, мать, та в помощи, в сострадании почему-то усматривает всегда посягательство на ее суверенное право хозяйки, на почти безраздельное полновластие в огороде и дома. Разве что разрешит сходить на реку за водой, да и то с оговорками. Нет, ни словом, ни взглядом нельзя рассказать то,

что чувствуешь: мои самые близкие люди ничего не приемлют!

Вот и бродишь аллеями, между темными туями и разросшимся, пышным жасмином, отделяющим полевою дорогу от дома, или в старом розарии, окаймленном широкими древоидными сиренями. Если есть земной рай, не небесный, то, наверно, он здесь, в старых плавнях, на всегда увлажненных, удобренных илом полях, в этом дивном оазисе с виноградниками и бахчами, в яркой зелени абрикосовых и ореховых рощ, омываемых полноводной рекой, бурной, глинистой, часто холмистой. Но и в этом раю есть изгнанники — по годам, по болезням...

Много долгих сияющих лет я ездила в этот тихий, пленительный уголок.

Мне нравится молчаливая дружба наших мужчин: как доверчиво по вечерам они курят на теплом, нагретом на солнце крылечке. Как готовят на утро наживку и снасти. Как поглядывают друг на друга, когда говорят.

Что-то теплое, прежде мне незнакомое возникает в душе у меня, когда вижу фигуру отца в такие часы.

Но так коротко лето, так недолог наш отпуск!

И все хочется обежать, осмотреть, повидать все, что мне так понравилось за лето: и песчаную отмель на бурной, коричнево-рыжей от глины реке, и аллею тутовников с упавшими на траву желтоватыми и чернильно-лиловыми сладкими ягодами, еще раз взглянуть на зеленый закат за Солодким, среди низеньких лесополос.

Почему-то мне помнится жаркий, душный и дымный от испарений, как будто тропический вечер.

Над возделанными полями, над сизыми в полутьме виноградниками поднялась, как видение, серебристо-зеленая колдовская луна. Все в ее расточившемся, трепетном свете стало зыбким, неуловимым: и линия горизонта, и контуры старых деревьев в поселке, и далекие лесополосы в той стороне, где недавно померк лиловатый, малиновый и зеленый закат. Лунный свет, словно дым, за клубился над листьями, над цветами, над пылью дороги, потянулся тончайшими нитями, как паутина, в глубину, в темноту созревающих, пахнущих медом садов, заскользил над землей, зашаманил, обещая, томя, наполняя весь мир ожиданием, ощущением предстоящего счастья...

Да, в такой лунный вечер, конечно же, не усидишь на крыльце, перед клумбами, со стариками. Мы с товарищем убегаем, почти улетаем по лунной дороге в поля, словно ангелы, за спиною, наверно, прозрачные белые лунные крылья...

А луна все томительней, зеленей, а влажная тишина все настойчивей, гуще — и вот первая робость замедляет наш шаг и наше движение в темных аллеях. Чу! Что это такое? Мы вздрагиваем. Деревянно, подобно трещотке, кто-то рядом заскрежетал на стволе пожелтевшей гледичии, словно леший, пугнул нас, мы замерли на дороге.

— Да это лягушка древесная!

— А это? — В кустах убегающий шорох. — Змея?!

— Нет, не знаю, сейчас посмотрю...

Мой товарищ рванулся в кусты и вынес какой-то комочек.

— Потрогай!

— Ой, колетя! Ежи-ик!

— Ежик. Славный какой! Побежал, не догонишь...

Я кладу существо, растопырившее иголки, в свою шелковую косынку и несу его в узелке, притаившегося, в подарок отцу: он ведь любит живое.

Мы идем между лоз винограда, золотящихся и зеленых, сквозь ажурные тени.

И вдруг откуда-то из темноты сторож. В эту пору налива и созревания гроздей он ночует здесь, на полях.

Наверно, давненько заметил «воришек» и злорадно подумал: «Задам, гадам, жару!» Сторож быстро, молчком подошел к нам, не спрашивая ничего: кто, откуда, зачем, и ладонями хлоп о мой узелок! И молча же отскочил, затряс руки от боли. Отвернулся, пошел.

Как мы хохотали! Мы падали на дорогу от смеха, нас смех сотрясал, словно судороги, так нелепа была эта безмолвная сцена, так жестоко наказан был злой, недоверчивый человек! Обессилев от смеха, мы шли уже возле тутовников, все еще задыхаясь, вытирая глаза от непрошенных слез. Но, однако же, лунный свет почему-то померк, лунный диск стал почти жестяным, прозаичным. Все настойчивей и нахальней стало грызть комарье. Где-то в поле на наш разговор откликнулся перепел: «Спать пора!» И опять повторил яснее, спокойней: «Спать пора!»

Что ж, пора так пора.

Мы свернули леском и вышли на дамбу, к широкой реке, катившей в молчании свои мутные, торопливые волны, освещен-

ценные металлическим лунным светом. Серебристые ветлы дремали, роняя на землю узор, состоящий из света и теней. Где-то ровно постукивал, вероятно за островами, мотор: шел, наверное, катер из Ачуева. Где-то громко залаяла собачонка. За рекою спросонок пропел петушок, молодой еще, хриплого-лосый. Но в душе что-то глухо застыло, как будто бы мы наткнулись на невидимую черту, на преграду, и как будто не люди, не человек — вот действительно царь природы! — а эта луна была виновата, что возле все померкло, стало плоским, обыденным, словно вырезанным из железа. И мне вдруг захотелось очертить вокруг нас двоих некий невидимый круг, хоть вот этим валяющимся на земле красноталовым прутиком, чтобы нас никогда не касалась жестокость слепых прозаизмов, ненавистных мне будней, чтобы лунные крылья, зеленая, лучились и реяли за спиной в лунном призрачном свете совсем как живые, реальные силы — в двести, в триста, в четыреста ангельских сил, уносящих тебя в неизвестность, куда-то вперед, в желанное людям. Но разве такое возможно?!

Мы уходим домой, в ночь, в суровую темноту.

Отец кормит всю живность в округе. Поэтому ночью огромный приبلудный пес громким лаем, размеренным, монотонным, отрабатывает весь съеденный за день хлеб. «Гав! Гав!» И сон обрывается, снова вяжется в узелок и вытягивается в тончайшую нитку только лишь для того, чтобы тут же, немедленно оборваться тем же самым басом, могучим, перихонским: «Гав! Гав!»

Ах, будь ты неладен!

И всего-то давали похлебку и черные корки, а сколько усердия, чувства долга в собаке! Можно думать, что кто-то потребует от нее обстоятельнейший и подробнейший в письменном виде отчет о проделанной за ночь собачьей работе: «И хотел бы не лаять, да не могу-с. Такова наша служба-с!»

Почему-то мне здесь, в этом тихом поселке, живется легко. Я хожу, к полнейшему неудовольствию мамы, в своем стареньком, «самшитовом» — сама шила — сарафанчике и — о ужас! — всегда босиком.

С особенным удовольствием отправляюсь за свежей водой, хотя это довольно-таки далеко. Иногда я подолгу стою над колодцем и смотрю, как гремит, убегая, цепь с привязанным

к ней оцинкованным ведром. Вот ведро уже шлепнулось о тяжучую черную воду и сразу же стало тяжелым, почти неподъемным, а я, навалившись на сруб, все гляжу вниз, в глубину, размышляя: а что там таится в сырой темноте, в этой бездне? Есть там что-нибудь различимое глазом или только один вечный мрак, вечный холод?

Отчего там и мох на сыром, желтом срубе, и щепочки, и песчинки, а мы пьем всегда чистую, свежую воду? Где глубокие эти истоки, несущие на поверхность прозрачную, как бесцветный редчайший кристалл, драгоценную влагу? Я с ним связана, с этим глубинным истоком, какой-то невидимой нитью, каким-то родством, я обязана ему жизнью, но не видела никогда и не знаю, каков он собой.

Возвращаясь с водой, я в волнении размышляю по какой-то случайной и косвенной ассоциации и о тех незнакомых мне людях, которые положили начало всей нашей семье, — о житейских истоках. Кто они, эти старые женщины и мужчины? (Почему-то в моем представлении они не были молодыми.) Чем они занимались? Почему я не знаю, откуда они?

Мать мне вечером долго рассказывала, припоминая со всеми подробностями, с расстановкой, — я, конечно, всего не запомнила — о дедах и прадедах. Их суровые образы поднимались над полем, над лесом так зримо, что я бросилась сразу к бумаге скорей записать. Это были, конечно, стихи, может, даже начало поэмы:

Мой прадед, воронежский прасол,
Могучий корявый старик,
Не тратил он слов понапрасну
И книжек читать не привык.
Умел находить он по звездам
Дорогу в ночной тишине
И вечером, очень поздним,
Домой возвращался к жене...

Мне в тот вечер особенно нравилось слово «прасол»: что-то виделось в нем романтическое. Но мама меня охладила, сказав, что прасолы — это торговцы скотом. Таким прасолом, например, был земляк мой, поэт Алексей Кольцов. Не уверена, но, возможно, поэтому и возникло в моей голове это ложное представление о труде моих предков как о чем-то волнующем, праздничном, необычном.

Да, какие-то мои очень дальние родственники по отцу были прасолы и скупали по селам и хуторам скот, затем гнали гур-

ты на ярмарки в города — в Воронеж, в Елец или в Липецк, в Валуйки. Труд был очень тяжел, жизнь — груба и безрадостна. Прасол — тот же кочевник, он вечно в дороге. Только и разнообразят эту жизнь случайная встреча в степи с чумаками, да ночлег где-нибудь у реки, в чистом поле, под звездами, да далекая песня.

Сгустились тучи, ветер всет,
Трава пустынная шумит;
Как черный полог, ночь висит,
И даль пространная чернеет;
Лишь там, в дали степи обширной,
Как тайный луч звезды призывной,
Зажжен случайною рукой,
Горит огонь во тьме ночной.
Унылый путник, запоздалый,
Один среди глухих стеней,
Плетусь к ночлегу; на своей
Клячонке тощей и усталой
Держу я путь к тому огню;
Ему я рад, как счастья дню.

И кто так пристально, средь ночи,
Вперял на деву страстные очи,
Кто, не смыкая зорких глаз,
Кто так стерег условный час,
Как я, с походною торбою,
Трясаясь на кляче чуть живой,
Встречал огонь во тьме ночной?
То наш очаг горит звездою,
То сплет каша степняка
Под песнь родную чумака!..

Так свидетельствует Кольцов о трудностях этой далекой, забытой сегодня профессии.

Помню, в доме у нас, в Воронеже, до войны стоял большой медный сияющий самовар затейливой, удивительной формы: в виде чайника. Полукруглая ручка, носик, все, как надо для чайника, а посередине труба и крышка с конфоркой, внизу — для поддувала — решетка. Так ясно и представляешь себе, как стоит этот самовар в темноте, у костра, на расстеленной белой кошме, искры сыплются из трубы, а вокруг сидят загорелые, бородатые грубые люди в армяках, подпоясанных кушаками, в смазных сапогах. Пахнет дымом, полынью, теплым духом скотины, дегтем, старой овчиной, а в котле каша с салом — сливная, какую варят косари на лугах да вот эти проезжие полудикие прасолы. Нет, не зря, видать, мама шутила когда-то, говоря, что меня «цыгане из кибитки потеряли». Что-то

есть и во мне от далекой, не узнанной мною той жизни, почти кочевой. Через годы и годы протянулись какие-то теплые нити оттуда, может быть, прядка дыма долетела от тех догоревших костров — и вот чем-то волнует, щекочет мне поздρι.

Мне кажется, эта линия моих предков — по отцу — гораздо сильнее, отчетливей сказывается в нашей семье, чем другая, пришедшая вместе с матерью. Те истоки, как я узнала, берут свое начало на Смоленщине; новость, прямо скажем, слегка запоздалая, — ведь в войну я Смоленщину всю исходила вдоль и поперек, и изъездила, и исползала, пригибаясь под разрывами мин и снарядов. Знать бы ранее, что в какой-то мере это тоже моя «прародина», может быть, не кляла бы ее заодно с товарищами по армии, не ругала бы за гнилые чащобы, за кочкарники да болота, да за глинистые дороги, в дождь похожие на трясину. Я ведь тоже шутила вместе со всеми, что «бог создал землю, а черт Смоленскую область». А выходит, родня! Да какая! Ближайшая!

Мои родичи, крепостные крестьяне помещика Корсакова (может быть, той же ветви, что связана с Римским-Корсаковым, кто знает?!), в свое время вышли на волю с фамилией, данной им по владельцу. Потом перебрались в Воронеж. Здесь они породнились с семьей Аносовых, пришедших с Дона, из Павловска, и пошли не крестьяне уже — горожане, мещане, ремесленники. Дед Аносов — тот был часовщик, великий умелец. Помню, все мы переносили по очереди дареные его часики с черным бантиком, которые надевались не на руку, а прикалывались на груди как великое украшение.

Все погибло во время войны: и бревенчатый дом одной нашей бабки, где мы прожили целых одиннадцать лет, вплоть до 41-го года, и мазанка бабки другой, на Гусиновке, у оврага, в разливах сирени. Теперь нет корней, и летим мы по ветру, словно пух тополиный. Книги в старых, извитых славянской вязью, золоченых переплетах, старинные сундуки с широкими юбками и цветастыми полушалками, образа в закопченных старинных окладах, горка с древней щербатой посудой — все давно стало пылью, золою и щебнем. А люди, которые нынче живут на нашей усадьбе, в старом нашем дворе, и дом-то поставили по-иному, боком, как будто чего-то боясь, укрываясь от взгляда. Уж не думают ли они, что я вдруг да приеду, отниму у них дом?

Нет, я, все это вспоминая, не хотела бы жить старой жизнью в том старом бревенчатом доме. Точно так же, как, вспоминая о детстве, не хочешь, не жаждешь ведь впасть в

детство: смешно! Дом тот был и тесен и мал, а окна подслеповаты. Но такой старый дом обязательно должен быть в жизни каждого человека: для возможности сравнивать, возвращаясь в него. И еще для того, чтобы знать, кто ты есть. Это самое главное. Без такого истока, без познания своей связи с окружающим миром, без родства с ним в веках нет здорового, доброго продолжения жизни.

Повидавши за жизнь и родную Смоленщину, и родную Донщину, и то плодородное и цветущее, словно рай, иногда же дотла выгорающее от суховея междуречье, чуть всхолмленный водораздел, что лежит между Доном и Хопром, и далекие азиатские земли, где мы прожили много лет и где вечерами резко пахнет сухим кизяком, кумысом и вяленой дыней, и те жаркие, пыльные, в белых акациях хутора и станицы Кубани, где отец жил впоследствии, я по-новому понимаю свою милую землю.

Чувство Родины необъятно, огромно, его нельзя сузить до размера тропинки, нельзя упростить до понятия вяза, дуба или клена. В этом чувстве есть все, и не все обязательно доброе: есть и гнев, и презрение, и любовь, и боязнь, и отвага, даже горькое горе. Но недаром же свидетельствует русский народ: «За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое». Так что, если не все в нашей Родине радость, мы и этого не отвергаем; выстраданное, пронесенное через муки и слезы, безусловно, дороже того, что дается легко.

Я невольно задумываюсь над одним очень сложным вопросом: неужели когда-нибудь люди не будут любить свою Родину? То есть русскому человеку будет вдруг безразлично, где жить, все равно: в Смоленске, на острове Пасхи или в шумном Нью-Йорке.

Когда-то была и у меня привычка: проезжая красивейший уголок где-нибудь мимо рослых лесов Беловежи или в мягких долинах Японии, у ручья, в блеске, в грохоте водопадов, с вершиной горы, поросшей бамбуком, или где-нибудь у таинственных голубоватых озер возле Пльзеня, в зеленых полях возле Вислы и Варты, во фракийских садах, я сама себе задавала вопрос: вот не будет границ, вся земля будет общим большим государством, осталась ли бы я жить навсегда хоть здесь? Или здесь? Или здесь? И при этом в сомнении застывала, оглядываясь из окна. Нет, наверное, не осталась бы. Наверное, затосковала бы по своим ржаным и картофельным, занесенным снегами полям.

Теперь мне и думать смешно о тех странных вопросах.

Никогда и нигде я не буду счастливой, как только на Родине.

Пусть глинисты, непроезжи дороги, пусть темны и унылы неприютные деревеньки с порыжевшими от дождей, непричесанными, неприглаженными лесами вдали, чуть темнеющими на горизонте, как зубцы древних стен. Только здесь, навсегда. Это вызрело не вчера, не сегодня, а за долгие годы — вместе с деревом под окном, вместе с серой травой и вон с тем обелиском, что стоит на скрещении дорог так задумчиво, с неизбывною грустью.

Видно, правильно говорят: где сосна выросла, там она и красна. А уж что человек — он не дерево!

Мама, мама! Ну вот мы и дожили до черного дня!

Для нас дальше жизнь, неурядицы и болезни, и весенние птицы, и распутица под окном, а он уже мертв. Он закончил свой путь по любимой, родной, непогожей земле.

Вот хотел чашку кофе, вот просил повернуть лицом к стенке, и вот нет ничего — ни надежд, ни желаний, ни даже забвения. Ибо все он оставил запомнить другим, мне, тебе, окружающим людям, которых в течение полувека кормил самолично посеянным, убранным и обмолоченным хлебом.

Неужели когда-нибудь все забудется нами: и тот хлеб, и тот солнечный, яркий июньский день, когда все зацветало вокруг, все дышало любовью и счастьем?

Умирают всегда одиноко, обособленно от других, а отец и при жизни, наверное, был одиноким. Ведь понятие одиночества не зависит от арифметики, когда $1+1=2$; это высшая математика, где один может быть и один, но плюс многие миллионы людей и, что самое страшное, может быть и один в полном смысле, в космическом, планетарном. И теперь ничего не исправишь, не скажешь: «Это я виновата». Виноватого не сыскать...

Может быть, оттого, что мы вместе с детством теряем и чувство гармонии с окружающим миром, мы потом, повзрослев, поумнев, потому так и ищем ее в слабой, жалкой надежде вернуть, иногда до глубоких седин, и все мечемся, ездим, летаем, все разыскиваем по чужим дальним странам, по полям и лесам, непохожим, пожалуй, на те дорогие, но не менее сладким, заманчивым. И когда не отыскиваем ее, ту слиян-

ность, ту связь с окружающей нас природой, то в конечном итоге не очень-то и печалимся. Потому что на смену ребяческой к нам приходит другая гармония — зрелой, жесткой, ответственной мысли. И умение познавать нечто солнечное, прекрасное и в прибитых дождями, сырых ржавых листьях, и в сырой, развороченной, прилипающей, черной, «грязной» земле, и в какой-нибудь скользкой гадкой лягушке, а не только лишь в романтических соловьях.

Тот, кто думает, что человеку обязательно нужен только теплый клозет и серое, городского типа пятиэтажное здание среди спеющих желтых полей — счастье мыслится этажами! — тот, по-моему, глубоко ошибается. Иногда человеку дороже удобств его личное право на степную ли, на лесную ли глухомань. Как какому-нибудь журавлю после жаркого южного солнца нужно полное право на заросшее камышами болото. Как отцу моему, старику, всю жизнь были нужны расчерченные на квадраты, затопленные низины и гряды тутовника за окном, на фоне вечернего неба. Другой, лучшей жизни он себе не искал, хотя и бывал в городах и ценил все удобства.

Мы должны обязательно сохранить и для внуков и правнуков это личное право на глухие края, где к тебе возвращается твое доброе детство: молоко по утрам, сладкий сон в тишине — без моторов, без радио. И сияние за окном синих ласковых звезд. Ритмы города и деревни — они перебивчивы, разностильны, и в этой священной их разностильности, в разноточности есть какое-то неоцененное, еще не постигнутое человечеством счастье. Я все думаю: не напрасно ли мы насаждаем наш фабричный закон для полей и лугов? Не спохватимся ли, когда будет уже слишком поздно? Есть явления необратимые, как сама смерть. А поэтому неподсудные экономике. Конечно, не нужно продлевать старость деревни, но как надо продлить ее чистую, снежную молодость!

∴ В ней основа здоровья и молодость нации.

Когда человек жив, здоров и находится рядом, он не кажется нам уж таким дорогим и родным, мы не знаем цены его взглядам, поступкам. Но вот нет человека, и только теперь — такова наша логика! — начинаешь задумываться над сказанным им когда-то. И по-новому смотришь на вещи, которые он любил, — теперь они вместо него говорят, — на животных, которые его окружали, ну хотя бы на кошку, которую он считал своим другом, дороже собаки.

В шесть утра трехшерстная — серо-белая, с рыжими пятнами — Мурка всегда провожала отца на работу и бежала за ним почти до конца цветника. Там она, потеревшись о его сапоги и мурлыча, завязав много раз хвост кольцом так и эдак, прощалась с ним и долго сидела одна на тропинке, глядела с вниманием вслед, пока тот не скроется с глаз: в контору ей был вход заказан.

Вечером, когда били в рельс, Мурка, радостно задрав хвост трубой, мчалась встретить отца на тропинке. Сядет, вытянув шею, насторожив треугольничком свои пестрые уши, и вдруг кинется под ноги, громко мурлыча с какой-то ликующей вопросительной интонацией, что-то вроде: «Мр-рр, мрр-рр? Ты жив? Ну, ты жив?..» И подпрыгивает при этом, чтобы ткнуться пушистой пятнистой головой в его мягкую, ласкающую ладонь, что, наверное, означает мольбу: «Ну погладь, ну погладь!» И он гладил, спокойно шагая усталой, довольной походкой. Иногда, в свою очередь, и он ее громко спрашивал:

— Ну что, Мурка, что? Что ты, Мурочка?..

В воскресенье, на раннем рассвете, они оба шли на рыбалку: отец шел впереди, неся удочки и ведро, а кошка бежала чуть сзади, подняв хвост трубой и волнуясь, уже предвкушая добычу.

Река у нас мутная, очень быстрая и холодная, потому что в жаркие летние дни в горах тает снег, и сюда, на равнину, выносит еще не согревшиеся, ледяные потоки. Берег крут и обрывист. Кое-где он слегка укреплен земляной дамбой, лесными посадками. У отца здесь, в кустарниках, много излюбленных мест, где можно пригреться на солнце и слушать, как на той стороне, за рекой, гонят стадо, как где-то фырчит недовольный мотор, как щебечут веселые птицы. Мурка рядом сидит, наострив свои желто-серые уши. Окуньки все достаются ей. Она их ждет терпеливо, совсем как собака, которой приказано быть «у ноги».

Соменок ли, щучка попалась, Мурка даже не глянет.

Домой они возвращаются уже несколько по-иному. Мурка мчится, бежит впереди, а отец идет сзади, чуть прячет усмешку в усы.

За обедом мать цыкнет на Мурку: «А ну, не вертись!» И та обернется с такой обидой, отойдет и с презрительным видом усядется где-нибудь в стороне, равнодушно закрыв свои желтые очи. Только чуть-чуть подсветит насмешливым огоньком вертикальные щелочки глаз: «Мол, поели уже или нет? И чего это тянут? Как долго!»

Мурка ела лишь то, что положит отец.

Нальет кто-нибудь другой молока, Мурка только попохает и отойдет, нервно дернув кончиком довольно-таки некрасивого, сбрубленного дверью хвоста: «Ишь чего захотели! Из ваших-то рук?!» Спать уляжется на отцовской кровати, на собственном, давно уже вылежанном месте — такая уютная пыльная вдавлялка на крахмальном сиреневом покрывале, как раз по середине. Так что отец очень долго умащивается на самом краю, все теснится, боится лишний раз повернуться с боку на бок: а вдруг да потревожит толстенную, развалившуюся во весь рост, посапывающую во сне Мурку.

Даже очень больной, умирая, он боялся подвинуться: Мурка вот-вот, со дня на день, ожидала котят.

Я не знаю, как Мурка смотрела на гроб, на чужие, ей незнакомые сапоги, на голый, как будто бы выкошенный цветник, где все было срезано дочиста на венок, на могилу, — я в то время там не была.

Я приехала через год, ранним летом, когда Мурка играла в траве, на лужайке, с котятами. Я окликнула ее:

— Мурка!

Она услышала мой голос, видно, очень похожий, что-то дрогнуло в ней, словно что-то пронзило ее, она кипулась молнией прямо в ноги мне, заплелась, но увидела, что не он, и мгновенно отпрянула, свернув гибкое свое тело, как стальную пружину, отпрыгнула, повернулась с дороги и пошла как-то горестно, одиноко, опустив свою серую, пеструю голову.

Сколько я ни звала ее, она больше не подошла.

Поздно вечером Мурка сидела на отцовском табурете за его письменным столом и смотрела в окно, в ту же самую точку на горизонте, за большим орошаемым полем, за виноградником, за грядю тутовника, куда пряталось солнце и куда отец вечерами в задумчивости смотрел, покуривая свернутую из газетной бумаги вонючую самокрутку. Что было в этот момент в звериной ее голове? О чем Мурка думала? Пятнистая ее мордочка в полутьме показалась мне горестной, очень мудрой, старушечьей, в то же время такой отрешенно-жесткой ко всем остальным в своей верности лишь одному человеку, в почти осязаемой непримиримости к его смерти.

— Мурка, Мурка... — окликнула я ее. — Что ты, Мурочка? Она даже не обернулась.

Я сегодня уже забываю отцовские цветники. А ведь именно в них и просвечивала на солнце его замкнутая душа. Вся лужайка под окнами так ликующе, так волшебнно пестрела цветами, и у каждого из цветов был свой час, и свое настроение, и свой собственный непреклонный характер.

Почему-то мне нравились алиссум, некрещеный цветок, у него до сих пор еще нет настоящего русского имени, одна лишь латынь. Но, невзрачный, белесый, посеянный вдоль дорожек и по краям пышных клумб, он один заливал весь цветник и всю округу своим ароматом, и пчелы блаженно урчат, когда роются в мягких, мохнатых его неприметных цветках, доживающих до морозов, уходящих под снег.

Бывает, что в октябре, в ноябре, после первого зазимка, снег обтаивает на клумбах — и вот снова откуда-то долетает, струится чуть грустный, пронзающий душу глухой аромат. А оглянешься — ничего, кроме втоптаных в землю, похожих на грязные клочья снега белесых цветков. Это алиссум, вечный труженик, настоящий рабочий, угнездившийся и прижившийся на черноземе и живущий под северным небом, равноправный с ночною красавицей и ноготками, с пряно пахнущим табаком, львиным зевом, с душистым горошком.

Последнее письмо отца, написанное сухим, мелким почерком, очень четким, красивым, посвящало меня подробнейшим образом в отцовские планы — в письмах был он куда более красноречивым, чем при встречах, — что посеет и что посадит весной на грядках, какие цветы. Среди прочего он просил меня прислать ему луковку удивившего его некогда черного гладиолуса. Гладиолус был послан. Но взошел и расцвел он, к сожалению, слишком поздно, когда некому было уже поливать его и сидеть на крыльце, любоваться таинственной глубиной его бархатной черноты.

Да, отец был любитель различного рода диковин. Сколько помню себя, столько помню его увлечения: и клумбы под окнами дома, и поля на лимане он сделал как бы некой лабораторией, где каждый росток был неслыханным, экзотичным и что-то хорошее обещал впереди.

Приедешь, бывало, домой, встанешь утром пораньше и бежишь к цветнику, на поля, за посадки, высматривая на грядках какую-нибудь не привычную для глаза новинку. Чего только за жизнь я не видела в воронежском нашем степняцком, не очень-то жарком краю — и цветущий хлопчатник, и кенаф, и канатник, и роскошные ароматные дыни весом в пуд,

и арахис, и бататы, и рис суходольный, неполивной, выражающий до снегов. Для кого-нибудь, может быть, совсем не экзотика, а обычное дело, а для наших метелей да вьюг — небывалая вещь, удивление людям.

Переехав на юг, на Кубань, постарев, мой отец не забросил своих увлечений. То на клумбе цветет оранжево-черная гайлардия, и я не уверена, что цветок привлекал отца только лишь красотой своего венчика, а не вычурным именем, а то луноцвет с его вялыми, неприметными сероватыми листьями. Только спрячется солнце за крыши домов, выходи и смотри, как стремительно набухает зеленый бутон, как он живо, напористо шевелится, расправляет прижатые плотно друг к другу лимонно-зеленые или желтые шелковистые лепестки. За каких-нибудь десять-пятнадцать минут на глазах расцветает прекрасный цветок, воистину лунный, как бы сотканный из сияния лунных лучей, золотистых, серебристых и зеленоватых.

Росла у него и мартиния, или «бизонья трава», — колючие толстые стебли, низко стелющиеся по земле наподобие тыквы, листья серые, копытообразные, плод черный, колючий, похожий на большого жука с двумя загнутыми внутрь колючими же рогами.

Посеял отец эту «бизонью траву», как цветок, на взлелеянных клумбах. Оказалось, что мартиния — злейший сорняк, который в Америке, в прериях, разносили бизоны. Рогатые и колючие, словно черти, плоды цеплялись за шерсть на брюхе, за хвосты диких сильных животных и так расползались по свету, глуша травы и полевые цветы, обеспложивая и высасывая плодородную почву.

Мартиния и у нас расползлась неумолимо по клумбам, давя лилии и георгины, завиваясь могучими стеблями вокруг канн.

Поздней осенью жгли ботву, вырубали крепчайшие, как телефонные жилы, глубокие корни. Напоминанием о «бизоньей траве» остались лежать на столе у отца лишь два черных рогатых плода величиною с ладонь — действительно чертово семя!

После смерти отца грустно было ходить среди клумб, в алом облаке из цветущих настурций и маков, среди белых звездчатых нарциссов: они жили опять, в другом поколении, и не ведали ни о чем — ни о горьких раздумьях, ни о горьких потерях. Они даже не знали, что будет зима, снег сугробами, прямо до окон, ледяные, суровые, злые ветры с Азовского моря.

Я прошла по тропинке и увидела донник.

Простой, скромный донник. Он обычно растет по степи, вдоль дорог, с желтоватыми, некрасивыми, мелко собранными цветками. На родине у меня, на Дону, мужики собирают эти цветки и сушат, потом добавляют в махорку «для сладимости», для аромата. После мощной, разлапистой, расползающейся на полсвета «бизоньей травы» этот донник на грядке был таким неуместным, что я усомнилась: он никак не вязался с левкоями и нарциссами.

— Мама, это сорвать? — показала я на разросшийся куст.

— Что ты! Что ты! — поспешно откликнулась та. — Бог с тобой! Сам отец посадил. Все боялся, что я его выполю, приказал мне не трогать... Видишь, как укрепился, разросся!

В старом доме, в Воронеже, такой донник всю зиму висел в пучках в сенях на стенке и пахнул июлем, степным сухове-ем, малиновым солнцем. Для меня сейчас, укрепившись на грядке, он был как бы братом и напомнил о родине, о цветущих посадках, о Каменной степи... Я вдохнула его аромат и подумала, что не знала отца даже в этом, в обыденной жизни. Что он больше любил? И о чем вспоминал, живя здесь, на Кубани? Отчего от гайлардии, от луноцветы, от «бизоньей травы» он пришел к незаметному, скромному доннику? Как случилось, что это простое растение стало чем-то особенным, дорогим здесь, на юге, особенно перед смертью?

Мой отец — удивительный человек, никогда ничего не расскажет. А я не расспрашивала его ни о чем: может быть, из стеснения, из боязни затронуть какую-то рану, из надежды, что жизнь еще долгая, где-то там, впереди, еще будет спокойное, тихое время, и мы побеседуем, хорошо понимая друг друга.

Но никто уже не ответит на безмолвный вопрос.

И донник, разросшийся под окном, тоже грустно молчит, растопылив на грядке зеленые ветки.

К сожалению, человек не бессмертен.

И один утешает себя тем, что уж он-то обязательно повторится в точных копиях — своих детях. Другой — что он после смерти будет жить вечно в раю. Третий хочет оставить по себе хорошую память работой или подвигом...

Но вот дети выросли наконец, и тут выясняется, что они вовсе не схожи с тобой ни внешностью, ни во взглядах на жизнь, ни в привычках. Что ни рай, ни ада давно уже нет, да-

же мучиться вечно не будешь, не то что блаженствовать. Иногда забываются и великие книги, и съеденный хлеб. Как ни странно и ни печально, забывается даже подвиг, геройство. Уже новые поколения говорят: «Ну, подумаешь, вы воевали! Не век же вам этим гордиться! И много ли надо ума, чтоб подняться и идти на огонь пулемета!»

Остаешься лежать удобрением в твердой, глинистой, мокрой земле. И вот это единственная награда тебе за все муки, за труд, за любовь, за великую радость и нежность, если ты был когда-то веселым и нежным.

Я иду по земле — и мне кажется, я ступаю по чьим-то надеждам, по слезам, по улыбкам миллионов здесь живших когда-то людей, по их радостям и печалям, по несбывшейся чьей-то далекой мечте: вот она, воплотилась в сияющую, как жемчужное облачко, неразвернутую ромашку. А вот этот лиловый, поднявшийся над травой колокольчик звонит по отвергнутой чьей-то любви. А этот цветок — мы его называем кукушкины слезки — это слезы какой-нибудь ветреной глупенькой женщины, не ласкавшей и не любившей своих кровных детей...

Далеко, под ветрами и бурями, деревенское кладбище, сплошь поросшее жесткой, ржавой травой и пустырником. Там могилу сейчас охраняют большие деревья с широкими листьями: тополь, вяз, абрикос, а внизу, на могиле, цветы. Оттого-то земля для меня есть великая драгоценность, которую нельзя ни продать никому, ни дружески, просто так, подарить, ни на спор проиграть, ни в бою сдать врагу. Велика и прекрасна она потому, что нам стоила в нашей истории слишком многих прекрасных, великих и радостных жизней...

У кочевников-степняков есть тягучие, длинные песни. Они как бы и рождены этим ровным, бескрайним простором, его широтой, его выцветшим небом, таким бесприютным. Вероятно, и я сейчас создаю вот такую же песню — о лохе, о доннике, об отцовской могиле. Степь ее родила — степь дослушает, не осудит.

Жаль одно — что меня не слышит отец.

Когда я впервые стояла над глинистым бугорком, еще не осевшим, в жаркий, солнечный день, мне вдруг почему-то подумалось, что отец меня видит. Что ему сейчас радостно: я пришла, я его не забыла.

Я при этом с опаскою оглянулась вокруг, словно кто-то жи-

вой, наблюдающий в самом деле глядел на меня из травы, из зеленой листвы, из желтеющих сердцевинки садовых ромашек.

Но глинистый бугорок был безмолвен, молчал. Я тоже молчала. И все-таки что-то сказалося меж нами, ибо я уходила отсюда другим человеком. Я не слышала никакого звучащего голоса, но кто скажет, зачем, отчего он во мне отозвался?

Вероятно, и в каждом из нас иногда отзывается такой родственный голос: то спокойней, то глуше, то громче и громче. Может быть, этот голос и есть собственно Родина, та незримая нить нашей мысленной, но, однако же, не подчинимой рассудку, кровной, чувственной и психической связи с тем ли, с этим комком рыжей, высохшей глины, или вязкого чернозема, или серых подзолов, из которых как бы невзначай прорастают и буйно цветут наши русские травы. А иначе зачем из всех бугорков на земле я пришла поклониться вот именно этому, лишь ему одному? Ведь умершему, как мы учим в учебниках, безразлично, ему все равно. Да и нам, живым, тоже, видимо, безразлично, если это один только прах, одна рыжая глина...

А быть может, не всякому все равно?

Может, миг этой встречи и есть возвышающий душу порыв — из комка рыжей глины к живому дыханию, к мысли?.. Может быть, без такой вот тревожно-мучительной встречи, как с живым, понимающим, наблюдающим каждый твой неосмысленный или жалкий поступок, нет преемственности во владении этим солнечным миром, нет ответственности за него, этот мир, перед тем, кто ушел, перед тем, кто придет?

Мне казалось, что я прикоснулась к чему-то еще не изученному неотзывчивой нашей наукой, но глубоко реальному. Ведь не могут же совершенно бесследно исчезнуть счастье, гордость, любовь, одиночество, горечь давней обиды и суровая тяжесть раздумий, а потом — беспримерное мужество встречи со смертью. Что-то людям да остается, какая-то мысль, отблеск мысли, ее дуновение, так похожее на ласкающее дуновение майского ветра; ведь не зря же мы боремся, спорим, ссоримся, размышляем, не зря возвращаемся из далеких поездок, что-то веет же нам в лицо столь знакомое, дорогое из родных нам полей, неужели одна только пыль, только взвешенная над дорогой, иссохшая глина?

Да, она. Но и что-то еще, пыль веков, промелькнувших над этой равниной, голоса поколений, прошедших по этой земле, их печали, их радости, их надежды, их живая конкретная сущность. Что мы знаем о жизни вообще, когда мы не знаем

значения этих жизней, уходящих, ушедших, для оставшихся жить? Может быть, в самом деле от них остается какое-то «я», как в известных стихах:

Но говорит мне тайный голос,
Что не вотще душа моя
Здесь и любила и боролась:
В ней есть свое живое я!
И жизнь — не сон, не сновиденье.
Нет! это пламенный святой,
Мне озаривший на мгновенье
Мир и небесный и земной,
И смерть — не миг уничтоженья
Во мне того живого я,
А новый шаг и восхождение
Все к высшим сферам бытия!

ДВУМ
СМЕРТЯМ
НЕ БЫВАТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Сергей Большаков лежал на полу, у самого входа, на соломе. Дверь набухла, промерзла и теперь не прикрывалась как следует, у порога ее обметало наростом грязноватого инея, и Сергей сильно мерз, но все как-то не мог догадаться, отчего ему холодно. А главное — что с ним и где он находится.

Если в собственном штабе, то лежал бы не на полу, а на нарах у печки. Если в роте, в окопе, в момент наступления, то там не было бы ничего, кроме глинистых стен да лапника сверху. А сквозь лапник светилось бы ледяное январское небо. А здесь были холод и тьма — Сергей в ней угадывал сонное или, может, болезненное дыхание многих людей. Кто-то двигался ощупью. Кто-то тихо постанывал. Тьма на время распахивалась, и тогда в ярко-белом, слепящем проеме дверей появлялись какие-то люди, таща по двое что-то тяжелое, провисающее на руках, клали это тяжелое с осторожностью на пол, поправляли солому. Выходили, всякий раз спотыкаясь о ноги Сергея. И один из них, сильный, плечистый, с угрюмостью говорил: «Ну, а этого-то куда? Каб не помер. Убрать бы с дороги». Но никто Сергея не убирал. Дверь захлопывалась. И опять наступала тяжелая душная тьма, еще более черная после яркого света. Сергей засыпал и опять просыпался с разрывающей, жгучей болью в груди. Словно там потихоньку провертывалось небольшое сверло, вонзавшееся своим острием в живую и теплую кровоточащую плоть; и Сергей не мог ни вдохнуть в себя воздух, ни выдохнуть его полностью, ни улечься ловчей, поудобней, подбить в изголовье измятую, воняющую карболкой солому.

Иногда Сергею казалось, что он уплывает из этого дома по темной реке, и тогда его начинало поташнивать, а все запахи в комнате — пота, крови, портянок — на какое-то время перекрывались удушающе-сладкой вонью эфира. И Сергей затихал успокоенно: «А-а, я ранен... всего-то. Это меня мутит от наркоза». И опять засыпал, но уже с облегчением, понимая, что рано или поздно, но силы вернутся к нему.

Однажды он проснулся среди ночи — такая глубокая тишина и такой мертвый сон у людей могли быть только ночью — и увидел на ящике возле дров свет убогого фитилька. Желтоватый, похожий на тонкий, засушенный лепесток фитилечек коптилки покачивался на коротенькой ножке и вдруг вздрагивал, спотыкался... И тогда Сергей явственно слышал звук отдаленного, приглушенного расстоянием разрыва снаряда. Большая изба тоже вздрагивала при этом.

При свете коптилки Сергей огляделся вокруг. Нет, это была не жилая изба. Скорее класс сельской школы. Вон на стенках следы недавно висевших портретов. Посредине потрескивает дровами железная печь. А вокруг нее, где группами, кучно, а где посвободней, вразброс, на охапках соломы лежат спящие люди. Все с небритыми грязными лицами, в кроваво-серых повязках, кто с примотанной к руке металлической шиной, отчего стал похож на уродливо-однокрылую стрекозу, кто в гипсе по пояс. А один, у стены, не лежит, а сидит и качается, словно маятник, видать в голову ранен, в белой шапке из марли, нельзя ни прислониться к чему, ни прилечь.

Сергею захотелось оглядеть и себя самого. Он уже приполнялся, но тут же откинулся на солому от пронзившей его острой боли. Да-а... Не очень-то повернешься! Не рассмотришь как следует. Наверно, такой же, как все эти лежащие рядом люди — с измученным, бледным, небритым лицом и в измазанной глиной, прожженной шинели. И в бинтах вперекрест на груди, словно кем второпях перечеркнутый навсегда.

Глядя в темный, потрескавшийся потолок, Сергей силился вспомнить, как он здесь очутился и откуда в нем боль, но так и не вспомнил. В его не терпящих ни мрака, ни яркого света зрачках еще пряталась злобная сила беспамятства, наступившего сразу же после окрика солдата, бежавшего рядом: «Ложись!» А что было потом, в мозгу отпечаталось как-то бессвязно: дым от разрыва снаряда, грохот гусениц, лязг броневых. После — узкая яма, прикрытая сверху еловыми ветками, и склонившийся военврач в забрызганном кровью халате. А потом — или сон, или что-то похожее на него, нечто вроде затмения. И визжание полозьев. И короткое доброе чье-то ворчанье: «Но, помахивай... Но, качай!» Что там дыбилось сбоку дороги: чьи-то белые спины или гребни сугробов? Почему он опять лежал на снегу, даже полз — но куда? И что случилось с деревней, которую брали в то морозное утро? С его батальоном?

Он представил себе занесенные снегом траншеи с переме-

тами снега на брустверах и в ходах сообщения и короткие хоймики там, где роты пошли во весь рост по скату высоты. Это были когда-то его бойцы, они дрались в тот день в рукопашной, а после остались лежать на снегу. Ночью трупы остекленели на лютom морозе, и в начавшейся новой атаке пули стучались о замерзших щелчками. Это был неприятный, сухой, механический звук; Сергей не хотел его помнить, но помнил.

Он опять задремал. И во мраке отсутствия, небытия оказался не здесь на соломе, а там, на изрытом снарядами сером снегу. Поэтому и не сразу расслышал вдруг возникший над головой тягучий, прерывистый звук. Словно где-то по небу, на большой высоте, кто-то медленно пробирался с железным губительным грузом, полз, сипя, завывая, с нехорошей неспешностью, обещая все самое худшее, что может сегодня случиться. Да что обещая! Это самое худшее вот сейчас и везя.

В ответ быстро, нервно забили зенитки.

Все проснулись и слушали этот грохот зениток и медленный, ноющий в высоте, нарастающий звук, ожидая: где именно и когда звук усилится, превратится в явственный рокот моторов и родит, отделит от себя сперва тонкий, неслышный, но сразу же утолщающийся на лету резкий свист, а потом грохот бомбы.

Сергей даже вдавился всем телом в неподатливо-жесткие доски пола и дыхание затаил. Словно это могло в самом деле спасти, уберечь. И тотчас же устыдился нелепого своего немужского движения. Однако заставить расслабиться сведенные судорогой ожидания мускулы все же не смог: тело, видимо, жило по каким-то своим непонятным законам, неподвластным рассудку. Может быть, потому, что оно уже кое-что на войне испытало и помнило, чем расплачиваются за беспечность. А быть может, само, без часов отсчитало, что поздно: самолет уже тут.

Свист приблизился и, усилившись, спрессовался грохочущим, гулким ударом о землю. Что-то лопнуло с треском. Разом пыхнули из печки дым и зола, а с пола истоптанная, перетертая в прах солома, все смешалось и кинулось под потолок удушающим облаком. Тень крыла самолета перерезала синее небо в распяленном взрывом окне. Там, на улице, под окном, кто-то вскрикнул растерянно, незащитно: «Ой, мамочки!» — и шлепнулся во весь рост на промерзшую землю.

Рев и грохот уже удалялись. Цепь слоистых — двойными толчками — разрывов, уходя, уменьшалась, словно там, вда-

леке, падали бомбы куда меньше калибром. Лишь земля отзывалась все теми же злобными, неуступчивыми толчками.

— Сестра-а! А сестра! — позвал из-за печки мужской плачущий голос. — Ой, скорей, умираю...

Но никто ему не ответил. Сестры в комнате не было.

2

Сестра, белолицая, сероглазая, вошла в комнату, словно услышала зов, но вошла как-то странно: сперва боком, шаря локтем по стенке, потом повернулась спиной. На плече у нее обвисал человек без шинели и шапки. Кровь лила у него из виска, он мотал головой, а сестра все пыталась зажать ему рану накрахмаленной белой косынкой.

— Ой, сестреночка, умираю, — проскрипел из-за печки тот же слабый плачущий голос.

— Я сейчас... — торопливо сказала сестра, выискивая глазами, куда бы приткнуть выскользающее из рук, обмякшее тело; боец густо, влажно пятнал алой кровью и ее и себя. Не найдя свободного места, сестра с напряжением, выгибаясь всем телом, опустила бойца на поленницу дров в самом ближнем от двери углу, где стояли какие-то ящики и ведро с водой. — Я сейчас, — повторила она.

— Ну, скорей же, скорей! — прозвучал тот же голос, слабее, в дыму, за поваленной печкой, которую подымали и ставили два легкораненых, гася свои тлеющие шинели.

— Потерпи, ну немножечко, ну чуть-чуть, — отозвалась сестра, но не сделала к нему ни шага: она вскрыла стерильный пакет с подушечками и бинтом и стала обматывать голову раненого, чуть придерживая его вялое тело ногой, чтобы оно не сползало с поленницы на пол.

Заколов булавками бинт, оглядела, не сочтется ли кровь, нашла новые пятна — повязка стремительно наливалась вишневым и алым — и снова сноровисто, быстро вскрыла пакет, достала второй бинт, уже без подушечек и пошире, стала туго наматывать его поверх первого, с усилием поворачивая на ходу упругими, плотными складками. Потом взяла ампулу, шприц и шагнула за печку. Но там, видно, уже нечего было делать. Человек, звавший ее, молча лежал распластавшись. Лишь на сером лице, заострившись, торчал костенеющий нос.

Машинально, склонившись, комком ваты со спиртом сестра вытерла лоб мертвеца в липкой смертной испарине. Потом разогнулась с усилием и долго стояла неподвижно, глядя в ок-

но. В ее позе, в глазах были вовсе не горе, не боль, а скорей оупение и усталость, доведенные до предельной черты. За такой чертой — Сергей это знал по себе — начинается равнодушие. Ко всему. Даже к собственной смерти.

При виде задумавшейся медсестры Сергею почему-то припомнилось: летом сорок первого года, когда отступали по Украине, в их штабе такая же вот девчонка, военфельдшер, только толстененькая, чернявая, бровки щипаные, нос пуговкой, плакала — горько, неутешно, взახлеб, — объясняя им всем, как везла она раненых из-под Владимира-Волынского на полуторке, под обстрелами, под бомбежкой, и как увидела на дороге, на обочине, еще человек двадцать пять русских бойцов, кто с ранением в череп, кто в живот, а кто в руки-ноги. И так ей стало жаль их, кем-то брошенных на проселке, что она объяснила своим, тоже очень тяжелым, лежачим: «Вы меня здесь под деревом подождите, я вот этих быстренько отвезу и сразу же за вами!» Отвезти-то она отвезла, а назад не вернулась: через час под тем деревом уже были немецкие танки.

«Да кто знает, — сказал ей тогда в утешение командир батареи лейтенант Трубчанинов, — как сделаешь правильный выбор? Жизнь — здесь и жизнь — там. Вся, единственная, до конца. И пойдн разберись, чья важнее, дороже...»

— Лид, а Лид! — окликнул стоявшую медсестру веснушчатый, рыжий боец, весь залепленный гипсом от шеи до бедер. — Ну ты что? — Он глядел на нее с добротой много думавшего, много повидавшего человека. — Ну не надвое ж было тебе разорваться! Подошла бы к нему, тот бы умер, с ранением в череп. Разве ты виновата? Такая война!

3

Да, война с ее прежде невиданным и как будто бы даже бессмысленным ожесточением все еще была рядом. Она все гудела, ходила кругами, расходуя боезапас, ревела моторами. А жить им, покалеченным, обескровленным, было нужно. И сестра, снова бодрая и спокойная, оглядев их усталые, бледные лица, ушла и сразу же возвратилась, приведя двух бойцов из хоззвода. Они вынесли мертвых, одного из-за печки, другого сняли с поленицы дров — этот тоже скончался, как-то тихо, без стопа. Потом быстро заделали окна: где фанерой, где досками, где забили мешками с соломой.

Сразу стало темно. Пришлось опять зажигать чадающую и подмигивающую при разрывах коптилку.

Санитар, мешковатый носатый мужчина с морщинистым загорелым лицом, в рваной шапке-ушанке и закапанном йодом халате, принес термос с гороховым супом-пюре, собрал среди раненых чашки, кружки и котелки и стал подавать их, наполненные, тем, кто мог приподняться. Большакову он налил в цветастое с трещиной блюдце и, ловко придерживая одной рукой его голову, а другой чуть наклонно держа это блюдце, стоял на коленях и ждал, пока Сергей с осторожностью отпивал небольшими глотками эту дивную солоноватую жижку.

Когда он все выпил, санитар налил снова.

— Ну, хлебни-ка еще. Ну-ка, ну-ка... — поощрил он его.

— Может, хватит? — Сергей улыбнулся чуть-чуть виновато. Он лежал обессиленный, мокрый от пота. — Устал...

— Ничаго-о, — певуче сказал санитар. — Это временная явления, поболит — перестанет... Ты вот ешь, наедайся, оно поскорей и пойдет на поправку... — И щербатая, добродушная, молодая улыбка осветила его некрасивое, в крупных темных морщинах лицо.

Благотворное оживляющее тепло, растекаясь по жилам, в самом деле взбудрило Сергея, прибавило сил.

Самолеты не то ушли совсем, не то, медля, копя в себе злость, заходили от солнца, по кругу, удаляясь от зениток, потому что пока было тихо. И Сергей суеверно, с каким-то еще не испытанным прежде наслаждением слушал эту внезапную тишину: тишина была жизнью, надеждой на жизнь, и он дорожил теперь каждой малой секундой ее, ощущая с особенной — после ранения — силой всю случайность, а главное, ненадежность своего бытия.

Он с волнением впитывал в себя звуки и запахи фронтового армейского полудня, тренированным ухом уже как бы заранее отделяя от привычного в этой комнате бормотания, хриплых стонов и шарканья ложками по дну котелков тот далекий прерывистый гул, который вот-вот снова врежется на большой высоте и дугой обогнет купол неба над снежной равниной.

Может быть, потому он и услышал его сейчас раньше всех — этот странный, скребущий по нервам, прерывистый звук: словно в воздухе медленно и тревожно пилила пила, а вернее, огромное множество пил. И каждая ныла с тупым, злобным усердием, с отвратительной заданностью раздирая, распиливая на полусферы ледяное высокое гулкое небо.

— Хлопцы, тихо! Опять...

— И пожрать не дадут...

Кто-то с болью вздохнул:

— Божж-же мой...

— Удивительно... Странно! — сказал, приподнявшись, сосед Большакова — толстогубый седой политрук с култышкой по локоть вместо правой руки. — Вы, наверное, это тоже з-заметили? — спросил он, слегка заикаясь. — Где бы бомба ни раз-з-рывалась, всегда к-кажется, что ты находишься в эпи-центре раз-зрыва...

Сергей в ответ только молча кивнул.

Всего несколько суток назад он лежал под такой же бомбежкой. Немецкие самолеты, вытягиваясь гуськом, заходили по кругу и рушились с высоты на позиции батарей, на окопы, на танки, на бегущую по глубокому снегу пехоту, выстилая огнем пулеметов в цепях наступающих ясно видимую дорожку. Но в горячке атаки Сергей Большаков ничего не боялся. Он успел рассмотреть и нырнувший к земле самолет, и покатые круглые липзы очков, и ухмылку пилота. Он тогда был здоров и легко управлял своим телом: мог спрыгнуть в окоп, мог бежать по широкому полю, петляя, мог стрелять по летящему. И это их вроде бы по-солдатски равняло.

Сейчас этот, ноющий в высоте, имел явное преимущество: он летел над беспомощным, распростертым. И в работе моторов было что-то жестокое, излучающее тоску...

Грохот бомб накатился обвалом. Он все рос, приближался в объеме, приминая, давя самым звуком моторов в форсаже распластанные на соломе тела, унижая лежащих минутой животного страха.

Низкий, дробный, натужливый рев прокатился по крыше — и удалился, ушел. Может быть, самолет снова делал круг — на новый заход.

А Сергей напряженно, растерянно думал: «Нет, а что там, на фронте, сейчас происходит? Отчего эти гады... летят и летят?» Он давно изучил эту тактику: сперва наши войска обрабатывает их авиация, потом бьет артиллерия, прорывает в каком-нибудь месте неокрепшую оборону. Потом двинутся танки и мотодесанты, потом в рост, поливая огнем автоматов, зашагает пехота. Пока в наших окопах останется жив хоть один человек. «Рус, сдавайс!» А в ответ полетит сбереженная до последнего часа граната. И последняя пуля — щелчком, для себя...

Потому он с таким напряженным вниманием и волнением и слушал это набрякшее гулом, тревожное небо. Словно это давало возможность понять сокровенные замыслы тех, кто

поднял приказом перегруженные бомбардировщики и штурмовики. Словно там, в вышине, был ответ на немые вопросы: зачем? для чего?.. что за этим последует?..

4

Сестра с тихим, замкнутым, строгим лицом, с тем же самым спокойствием, с каким ее видели здесь в минуты бомбежки, то входила, а то выходила из комнаты, высокая, очень стройная, ладная, в гимнастерке, затянутой комсоставским ремнем, — халат и косынку, залитые кровью, она бросила в угол — разговаривала с санитаром:

— Капитонич, пожалуйста, заготовь еще дров. Чтобы ночью не бегать.

— Сейчас, Лидушка, детушка-а, — откликнулся певуче Капитонич. — Принясу те хоть во-оз...

— Да, пожалуйста. — Она наклоняла белокурую голову с подстриженным по-мальчишески чубом. — А потом мне можешь вон того переложить от порога к окну, — кивнула она на Сергея.

— Эт-то миг-ом, вот только управлюсь с дровами, — откликнулся санитар.

Потом они говорили о каких-то своих госпитальных делах.

— Как там Галя, уснула? Кто ее оперировал?

— Да ня знаю, не спи-ить... Шинковали ее, говорят, как капусту. Сам Георгий Антоныч. Помогала Мария Петровна. Да ее самою-то, Марию Петровну, осколком-то ка-ак в плечо саданеть!..

— Жаль Побережникова...

— Да, — сказал Капитонич и скорбно вздохнул. — Ишшо жил бы и жил бы. Ганс проклятый! Наделал делов...

Лида слушала, отвечала, а сама, перешагивая через лежащих, раздавала таблетки и порошки, кипятила шприцы, меняла повязки, а когда подходила к Сергею, тот, встречаясь с ней взглядом, всякий раз почему-то терялся: лицо девушки ему было знакомо. Только где и когда он видел ее? Мысли все еще путал, туманил наркоз. Иногда Большаков начинал сомневаться. Нет, наверное, обознался. Разве мало их встретишь на фронте, таких вот девчонок. Подползет под обстрелом, спасая тебя, только руку протянет с бинтом — и вдруг дернется под осколком или снайперской пулей. И уже не узнаешь, откуда, как звать...

Бомбы рвались на улице, но Лида как будто не слышала их. Она вышла из комнаты, притворив плотно дверь, и вдруг сразу же возвратилась, веселая, возбужденная, наклонилась над Сергеем.

— Скажите, пожалуйста, вы капитан Большаков?

— Я... А что?

— К вам пришли. Там какой-то полковник...

— Ладно, бросьте шутить!— Сергей отвернулся, махнул недовольно рукой.— Ко мне некому приходиться... Да еще под бомбежкой!— И он усмехнулся:— Полковник!

Но сестра уже отступила в сторону, давая дорогу вошедшему.

На пороге, в бекеше и присыпанной, словно солью, морозной пылью каракулевой папахе, лихо сдвинутой на затылок, стоял сам комдив Степан Митрофанович Шерстобитов, загорелый, веселый. За плечом его, в темноте, чуть белело девически нежное лицо адъютанта комдива лейтенанта Веньки Двойных. Тот přátельски подмигнул: знай, мол, наших!

— Ну, орел! Вот ты где!— сильным голосом весело закричал Шерстобитов, наклоняясь к Сергею, обдавая его при этом крепким смешанным запахом снежной свежести, конского помета, морозного сена и спирта. На раздвоенном, мощном его подбородке, словно след от осколка, темнела глубокая выемка.— Наконец-то нашли! Все санбаты объездили. Говорят, таких нет. А ты вон где: под бомбами! Ну, рассказывай, как здоровье?

— Сильно ранен, товарищ полковник... Головы не нашли! Шерстобитов захохотал:

— Молодец, что не хнычешь! За это люблю!

Что-то сладкое до мучительства красной, жаркой волной оплеснуло Сергея. Он влюбленно, с той давней готовностью — хоть на смерть, хоть в огонь — молча, жадно глядел снизу вверх в темнобровое, энергичное лицо командира дивизии, хорошо понимая, что значит такое его посещение. Сам... И время нашел для тебя.

— А я новостей целый ворох привез!— закричал Шерстобитов. Он, наверное, был контужен, говорил и смеялся так громко, что некоторые раненные уже начали приподниматься, оборачиваясь на него.— Тебе — орден Красного Знамени! За бои под Москвой! И майорское звание... Ну, герой, брат, герой, от души поздравляю!

Сергей, от волнения ослабев, приподнялся с усилием. Ответил не по уставу:

— Большое спасибо... Спасибо, товарищ полковник!

— Ну... Спасибо тебе!— отозвался комдив, не заметив совсем невоенной его оговорки.— Понимаешь, если бы ты со своим батальоном не отбил все атаки под Гнездовом и Березовкой, может быть, и меня уже нынче... тепели бы! Это я тебе честно скажу...

Сергей сжал задрожавшие губы. Это тоже было как награда — такие слова. Он их слышал впервые. В их суровом окопном военном быту, в стрелковой дивизии, никогда никого ни за что не хвалили. Так самим Шерстобитовым было сыздавна заведено. Так они воевали, командиры полков, батальонов и рот... И при этом гордились: а за что же хвалить? Ты обязан сражаться, обязан погибнуть, но позиции не уступить. Для того ты и создан. А иначе какой же ты, к черту, солдат!

С Шерстобитовым они были не начальник и подчиненный, а товарищи по войне — молодые, удачливые, понимающие друг друга и давно и навечно скрепленные пережитым: отступлением по Украине от самой границы страшным, памятным летом горящего сорок первого, сражением под Смоленском, окружением, а теперь трудным, стремительным наступлением от Москвы — по снегам, по сугробам, где в лоб, где в обход, сквозь метели и вьюги.

— Что в полку? Взяли Каршино?

— Взяли с третьей попытки... твои молодцы. Там теперь я со штабом.

Между тем самолеты опять заходили над крышей. Снова каменной осыпью рушились бомбы. Громко, режуще бил пулемет. Нервно, дробно и словно бы при разрыве снаряда подпрыгивая, колотили по небу зенитки. А полковник как будто не слышал бомбежки. Он то громко смеялся, а то вдруг умолк, следя взглядом за Лидой: как она набирает в шприц камфору, как проходит по комнате, переступая через лежащих, спокойная, строгая, перетянутая ремнями, наклоняется, а потом разгибается, чуть откидывая ладонью назад свои белокурые волосы. Как опять возвращается и садится у печки.

— Мда-а-а...— сказал Шерстобитов с таким выражением лица, словно что-то увидел впервые и это увиденное поразило его. Он сощурил глаза, хохотнул, взгляд скользнул по высокой груди, по плечам медсестры. А брови при этом хищно, дерзко, насмешливо переломились.— Видал, брат... миндал?!— обернулся к Сергею и тем же густым, жизнерадостным голосом спросил:— Что, помощники смерти не обижают тебя? Им ведь только поддайся...

Но Сергей, весь сжавшись, не ответил ничего. С неожиданной для себя отчужденностью он подумал: «Ну вот...» И хотел приподняться, но опять побоялся, что жжение в ране распластает в беспамятстве, а он почему-то теперь не хотел бы при полковнике и при Лиде уплывать по безжизненной, черной реке, по которой не раз и не два уплывал за последние сутки. Уплывать-то легко, а назад возвращаться...

Он дышал тяжело, торопливо, с усилием, капли пота со лба поползли по щекам. Шерстобитов нагнулся, спросил по-отцовски участливо:

— Что, болит? Э-э, да ты, брат, совсем никуда!— Вспыхнул порохом, как обычно гнежливо.— Двойных! Начальника госпиталю! Или нет... погоди!— Позвал строго:— Сестра! Лидя! А ну-ка идите сюда!

Та с волнением оглянулась:

— Простите... меня? Вы ко мне... товарищ полковник?

— А к кому же еще?— грубо бросил комдив.

Лидя поднялась с березового чурбачка, на котором сидела, подбрасывая дрова, освещенная пламенем, золотая. Подошла, встала несколько боком.

— Я вас слушаю...

— Головой отвечаете мне за этого человека! — указал на Сергея коротким кивком Шерстобитов.

— Я за всех отвечаю.

— А за этого, значит, особо. По особому счету.— И полковник при этом назидательно поднял палец.— Приеду — проверю. За три дня чтоб поставили на ноги. Слышите?!— Он глядел на сестру очень строго, и слова были строгие, а Сергею казалось: и в словах и во взгляде комдива есть какой-то второй, скрытый смысл, непонятный им всем, окружающим, но понятный Лиде. А иначе... отчего бы она покраснела?

— За три дня! Да уж как бы не так. Это было бы слишком просто!— сердито ответила Лидя и бросила взгляд на Сергея. Понимает ли он, о чем они говорят? Чуть пожала плечами. И Сергей вдруг по этому молчаливому жесту догадался: Лидя знает полковника, где-то видела его раньше, и весь их разговор не о нем, Большакове, а о чем-то своем, о другом... Лидя словно боится комдива и зависит уже от него. И теперь не решается отказать в чем-то важном, огромном, меняющем ее жизнь, может быть. Он-то, раненый, здесь совсем ни при чем...

— Ну?— спросил Шерстобитов.— Чего вы молчите?

— А мне нечего вам ответить,— подумав, спокойно заметила Лидя и, решительно повернувшись, пошла снова к печке.

— Вернитесь, сестра! — приказал Шерстобитов.

Он был серым от гнева. Даже голос вздрагивал.

Лида молча остановилась, не дойдя до березового чурбачка. С неожиданной твердостью в голосе сказала сурово:

— А вы здесь не имеете права приказывать. Здесь приказывает только врач. Я не просто сестра, я дежурная. И пожайлуйста... разговаривайте с капитаном потише...

Она постояла минуту, вся в розовом пламени печки. Потом ловко открыла кипящие биксы, спиртом вымыла руки, стерильным пинцетом насадила иголку на стержень, набрала полный шприц светлой жидкости из надколотой ампулы и склонилась над стонущим краснолицым танкистом с ранением в голову, начала разговаривать с ним тихо, заботливо, с нежностью, успокаивая его как больного ребенка.

Что-то злое, тяжелое, неукротимое промелькнуло в лице Шерстобитова, его ноздри раздулись. Он хотел было выругаться, но сдержал себя, только брови нахмурил, взглянул непрощающе, строго. С высоты богатырского роста наклонился над Сергеем.

— Ну, давай выздоравливай! — сказал он как ни в чем не бывало, опять энергично, напористо. — Вернешься в дивизию, примешь полк у Тышкевича...

— У Тышкевича?! А с Арсентием что?.. — Сергей побледнел. — Он ранен? Убит?

— Жив-здоров твой дружок. И не ранен. И не убит. Не волнуйся, пожалуйста. Арсентий штабник. До мозга костей. Заберу к себе в штаб, на место Смирнова. А ты примешь хозяйство... Вот так. Ну, пока, будь здоров! Я поехал...

5

Самолеты ушли.

День, наверно, смеркался, потому что едва уловимые взглядом паутинки дневного света, пробивавшиеся сквозь щели в забитом окне, сперва побледнели, потом посинели, а теперь и совсем слились с темнотой, затаившейся по углам. Но зато как-то ярче затеплилась печь. К ней сейчас направлялись все мысли, все взгляды лежащих. Каждый слушал расслабленно ее напряженные гулы и вздохи. Теперь, если бы кто-нибудь и захотел бы отвернуться, замкнуться в себе, вне ее притягательной силы, — все равно бы не смог. Рвущий кору березы огонь, иссушающий монолиты дубовых и сосновых поленьев, превращающий их в белый пепел, обладает каким-то таинст-

венным магнетизмом, думал Сергей. Можно долгое время не спеша наблюдать, как оранжевый, мохноногий зверек, языкастый, дразнящий, быстро, весело перебегает по мокрым поленьям, а поленья при этом шипят недовольно; как он точит их длинным огненным зубом, разгрызает на части, как взлетает клубком и опять обрывается вниз, оскользаясь; как гудит и урчит, пожирая тяжелое, грубое тело полена. В этом есть что-то древнее, постоянное, вечное, может быть, сама жизнь.

Все затихло вокруг. И Лида устало, не торопясь, кидает на угли две-три мерзлые дровины и щепочкой осторожно прикрывает железную дверцу. И вся комната разом гаснет во тьме. Виден только девический силуэт, одинокий, чуть сгорбленный, грустный. Хорошо лежать на соломе и смотреть на него. И не думать ни о чем. «Глубь мерить глубже, тише слушать тишь». Потому что на большее, на какое-то проявление личности Сергей еще не способен: нет ни воли, ни сил.

За короткое время своего пребывания здесь Сергей как-то свыкся со своим одиночеством, с состоянием общей неузнанности и бесправного равноправия перед сестрами и врачами. А сейчас против воли снова вырван из мира больных, умирающих и с трудом побеждающих в себе смерть: вроде он и не раненый, а опять командир для своих подчиненных, за которых давно уже, может, три дня, а может, четыре, ни перед кем не отвечал. Да и сам он все это время никому не подчинялся. А теперь вот снова вынужден подчиниться человеку, который давно, может, три, четыре дня, а может, пять дней, был не властен над ним.

Большаков почему-то смущен этой встречей с комдивом. А еще ему очень неловко перед Лидой, сестрой. Ей-то тоже, наверное, показались нарочитыми и могучие плечи полковника, и его громкий смех, громкий голос, и его жизнерадостность, сила, здоровье, а главное, этот дерзкий насмешливый и как будто бы обнимающий взгляд — как Сергей полагал, унижающий женщину.

Он уже пожалел, что полковник его разыскал на немытом полу, на соломе, в душной, темной, пропахшей карболкою комнате, неподвижного, с многодневной щетиной на серых щеках.

Он хотел уже было позвать медсестру, но вовремя разглядел, что Лида, сидящая в полумраке у печки, как-то очень печально, почти безнадежным движением вытирает глаза. Слезы льются, а она их промокает то платком, а то рукавом. И все это тихо, беззвучно. И он поразился своей собственной новой догадке: «Да они чем-то крепко связаны, мой Степан

Митрофанович и спокойная наша, строгая сестрица... Чем-то очень серьезным, видать. И еще эта ссора у всех на глазах...»

Лида встала, взяла с поленицы охапку дров, наклонилась к огню, и Сергей чуть не ахнул. Ну как же! Ну конечно же он ее знает, встречал! Просто в тот черный памятный день эта девушка была в ситцевом выцветшем платье и плюшевой порыжелой жакетке, в платке, а сейчас в гимнастерке. А еще тогда у нее были тяжелые, длинные косы...

Он позвал ее:

— Лида!

Она оглянулась. Помедлив какое-то время, словно что-то обдумывая, сказала:

— Сейчас!— И спокойно, не прячась, вынула из кармана теплых, стеганых брюк трофейное зеркальце в сафьяновом чехольчике, стерильной салфеткой вытерла слезы, подошла.

— Что случилось? Кто вас обидел?

— Меня?— Она вскинула голову.— Никто.

— Ну не надо... Не плачьте, пожалуйста...

— А я и не плачу.

— Может, я в чем-нибудь помогу?

Лида медленно повернулась. Стала боком, готовая отойти.

— Не-ет... Ничем не поможете.

— А что? Это так безнадежно?

Она не ответила. Эта девушка где-то всему научилась: говорить и молчать. Говорить так, чтобы не было сказано ничего, и молчать так, чтобы все было ясно без слов.

— А я вас узнал. Мы ведь с вами встречались. Вы помните?

— Как не помнить! Еще бы!

— Нет, а я вас не сразу узнал. Вот только сейчас догадался: это же девушка с переправы...

— Да. На Тихоновом лугу...

Она так повзрослела, что он в самом деле не узнал ее сразу. Та была деревенская, ничего не выдавшая девочка, эта — многое переживший и все понимающий человек. А прошло всего, может, полгода... Даже меньше. Что значит война!

Он спросил:

— Значит, все же добились, чего хотели?

— Да... Добилась...

Ее голос был ровным, спокойным. А он вдруг представил себе тот сентябрьский нерадостный день. Бой. Горящие села Смоленщины.

Их дивизия все откатывалась и откатывалась на восток,

отступала, пытаясь по возможности сохранить и остатки полков, и кое-какую еще уцелевшую технику. Днем на звуки ожесточенной стрельбы, по ночам на усталых часовых из лесов выходили к ним группами и в одиночку обросшие, изможденные окруженцы. Их расспрашивали, проверяли оружие, документы и ставили в строй. Видя строгий порядок в дивизии, те быстро, легко подчинялись. Так дивизия становилась опять полнокровной. И опять истощалась, угасала в боях.

Однажды после боя с колонной вражеских танков раненого Большакова — в то время он был еще лейтенантом, носил в петлицах два кубаря — везли на телеге. Рана уже начала гноиться, и он тихо постанывал, весь в жару, повторяя одну только фразу: «Яша, пи-ить! Яша, миленький, пить...» На болотистом торфянистом лугу, возле речки, им встретилась девушка. Была она тоненькая, белолицая, сероглазая, в старой плюшевой порыжевшей жакетке, в дешевом платочке. Деревня нередко рождает такие прекрасные тонкие лица, что даже ездовой, небритый, седой Яков Прудников, невольно на это лицо обернулся, поглядел из-под низко нависших бровей. И девушка попросила его:

— Товарищ начальник, а товарищ начальник! А можно, я с вами?..

Вокруг горели деревни. Глухо били орудия, не смолкая который уже день. Немецкие самолеты, пролетая на бреющем, теперь не обстреливали, не бомбили войска, а разбрасывали листовки: предлагали сдаваться.

Яков Прудников грязным пальцем с обломанным ногтем указал на повозку:

— Вот... Проси лейтенанта. Он начальник, не я...

Она обратилась тогда к Большакову:

— Ну пожалуйста, возьмите меня...

— Да куда тебя взять-то?! — Сергей сквозь туман, качавшийся перед глазами, усмехнулся, сказал откровенно: — Мы в кольце... В окружении.

— Ну и что? — Девчонка в платочке нисколько не смутилась. Она объявила с возможной серьезностью: — Я вам помогу... — Большаков тогда хмыкнул: она им поможет! Помогательница тоже нашлась! А девушка продолжала: — Я вас так проведу по лесам, что вы немцев не встретите.

— Уж прямо не встретим!

— Это я обещаю...

— Ты еще молодая! Куда тебе воевать!

— Мне семнадцать уже.

Яков Прудников, недоверчиво слушавший их разговор, шевеля в задубевшей руке чуть привядшую ветку березы, поднялся на ящиках из-под снарядов:

— Чего врешь-то, бессовестная?— И уже разозлился, сердито очерясь:— А ну давай, девка, дуй отсюда, покуда цела! Ишь как-то такую моду взяла: с солдатами из дому убегать!— укорил он ее по-родительски строго.— Тебе в куклы играть, а не в бой ходить, такая сопля! Убьют, сволочи,— вот и вся недолга! Ты об этом подумала?!

Та с гневом метнула пылающий взгляд на ездового, осадила его:

— А вы, дядько, трусите, так помолчите! Я не вам говорю!— И опять обратилась к лежавшему на телеге, уже задремавшему было Сергею:— Ну, товарищ же лейтенант, я вас очень прошу...

— Нет,— отрезал тогда Большаков. Он был голоден, зол, утомлен своей раной и спешил к переправе, пока еще не было «юнкерсов». А нога вся горела в огне, словно кто мелкозубый и хищный грыз ее в глубине, от колена до кончиков пальцев. Повторил:— Нет и нет!— Подумал мгновение, помолчал, глядя в белое, умное, очень живое лицо с тем обидчивым выражением, какое бывает у молоденьких девушек, еще не осмысливших, что они привлекательны.

Он представил себе эту девушку раздавленной танком, обезглавленной взрывом бомбы или мины. Это было нелепостью, не укладывалось в мозг. Постарался смягчить свой отказ, успокоить ее:

— Вот вернемся назад, погоним фашистов, тогда приходи! А сейчас не могу...

— Я ведь все буду делать... Перевязывать тоже умею. Это только на внешность я такая невидная...

Тогда Большаков привстал на телеге и скомандовал резким голосом:

— А ну, от телеги назад... шаго-о-ом м-ммарш! И домой! И отставить вступать в пререкания!— Лег на сено и задрал кверху ногу, положив ее на подпрыгивающую грядущку, и колонна с автоматчиками по бокам, с притомившимися замыкающими потянулась к виднеющейся вдалеке переправе, не ведая, не догадываясь, что на взлобке, на том берегу, единственная для них необстреливаемая дорога уже перерезана...

Сейчас он смотрел на стоящую перед ним Лиду, вспоминал тот далекий сентябрьский день — и стыдился пехотного лейтенанта, лежавшего на телеге, еще глупого и жестокого. Жес-

тогокого потому, что в то время Сергей был весь в себе, в своих собственных чувствах — в своем нетерпении, в своей острой, пронзительной боли, в ожидании тягот, а быть может, горя и смерти, но опять только лишь для себя самого.

С того времени много воды утекло. Он опять лежит перед ней на соломе, снова ранен, война повернулась назад от Москвы на Германию, на Берлин, а Лида, та девушка в ситцевом платье и плюшевой порыжелой жакетке, повзрослела и так изменилась, что ее не узнать.

Он спросил:

— А где мы находимся? Как деревня-то называется?

— Это станция, не деревня. Может, слышали: Суховершино.

— Суховершино? Как же, как же! Тогда все понятно. Эшелоны подходят — и сразу же под немецкие самолеты. А нам попадает заодно...

— Не всегда заодно. Они специально бомбили и нас. Обстреляли палатку в лесу... Колонну автобусов с ранеными. Мы на крышах везде разложили большие полотнища с красным крестом, они ясно видны с самолетов...

— Это госпиталь? Или медсанбат?

— ППГ¹.

— И нас что же, эвакуируют?

— Нет, не знаю. Пока еще нет. — Она помолчала. — Пока нет приказа. Если двинется фронт, тогда мы за ним, а вас дальше, в тылы.

Он спросил с осторожностью, глядя снизу, с соломы, в молодое, усталое, опечаленное лицо:

— Я... надолго прикован? Как я выгляжу, Лида?

— Плохо.

— Мда-а, не очень-то вы разговорчивы, — сказал Большаков, удивляясь все больше и больше свершившимся переменам и во внешности, и в характере своей давней знакомой. — А откуда вы знаете Шерстобитова? — неожиданно для себя самого спросил вдруг Сергей. Эта мысль в нем жила как заноза, он не мог не спросить.

— Шерстобитова? — удивленно переспросила Лида. И вдруг наклонилась, подобрала с полу какую-то соломинку. — Не знаю, не ведаю никакого Шерстобитова!

— Как же, как же! А он-то вас знает, — заметил Сергей. — Называет по имени. Я сам это слышал. — Пояснил усмеха-

¹ ППГ — полевой передвижной госпиталь.

ясь:— Ну, тот самый полковник, что ко мне приходил. Наш комдив!

— Разве он... Шерстобитов?— И Лида умолкла. Потом объяснила:— Так, однажды столкнулись... На большой дороге.

— И кто же был разбойником?— пошутил Большаков.— Неужели Степан Митрофанович?

— Я, конечно,— ответила Лида и пошла в полутьму, к раненому танкисту, застонавшему во сне. Она взяла кружку с водой, подала ему пить, положила к ногам горячую грелку.— Спи, усни. Еще ночь... Спи спокойно,— сказала она раненому, осторожно поглаживая его по плечу. Тот утих.

Лида снова вернулась к Сергею.

— А как это, Лида, случилось, что вы все же в армии? — спросил он.

— Очень просто. Спасибо полковнику Шерстобитову. Он помог...

— И давно это было?

— Недавно.

— Молодец Митрофанч!

— Может быть...— Лида замкнуто, холодно отвернулась.— Извините, пожалуйста,— сказала она,— я должна сейчас сводку представить. Если нужно что будет, тогда позовете.

— Ладно! Что уж поделаешь!.. Сводка.

— Вы поспите пока...

И она отошла, окинула комнату медленным взглядом, словно что-то выискивая, отмечая в уме, пересчитывая их, лежащих. Лида, видимо, хорошо уже знала дистанцию, ту невидимую черту, которая так решительно отделяет здорового человека от раненого, мужчину от женщины, начальника от подчиненного, и во всех этих трех измерениях отстраняла его, Большакова, от себя до обидного, до смешного спокойно и трезво.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Сдав сводку угрюмому, толстому, сонному писарю, Лида вышла из штаба — когда-то здесь была квартира директора школы — и пошла назад, но не напрямик, по тропинке, через сугробы, а проезжей дорогой, огибающей здание школы — теперь армейского госпиталя.

Школа пряталась в зарослях сосен и елей, высоко на холме, над раскинувшимся внизу Суховершином. Лида смутно

угадывала в темноте, сквозь метель, отдаленные контуры станции, а вернее — ее развалин, водокачку, обгорелые черные туны цистерн на путях. Снег летел мелкий, острый. Он колот Лида щеки, запутывался в волосах.

Но она не прибавила шагу, спокойно, неторопливо шла этой дальней дорогой. Ведь именно здесь, возле здания школы, она и познакомилась с Шерстобитовым. Большаков все расспрашивал: где да как. А вот именно здесь. На извилистых колеях, протертых в снегу бесчисленными колесами, гусеницами и полозьями. Только пусть Большаков не расспрашивает ее ни о чем. Все равно Лида ничего никому не расскажет.

Потому что ведь если рассказывать о Шерстобитове, то нужно рассказ начинать не с дороги. А с того, как всю зиму Лида пряталась от фашистов, ночуя то у одних родственников, то у других, как ночами бессонно глядела в окно, ожидая прихода своих — Красной Армии. Как над станцией то сходились, а то расходились непроглядные вихри метелей. Были, плакали ветры, ощерялись в немыслимой злобе, и спшибались лоб в лоб, и стонали от бешенства, не осилив друг друга. И тогда поднимались до неба вертлявыми снеговыми столбами и там рассыпались в невидимый прах. А потом этим маленьким, еле видимым прахом, дымясь, улетали по склонам высоток, по оврагам в кустарник. Заметали дороги. Курились на взгорках серебряными облачками летучей поземки.

Суховершино расположено на равнине, перерезанной на-двое полотном железной дороги. И включает в себя почти все, что положено таким станциям: станционный рабочий поселок, небольшой, но достаточно крепкий колхоз, МТС, мастерские, склады, мельницу, швейную фабричку, больницу, молочный завод, лесничество, почту, аптеку, ветпункт, государственные конторы «Заготскот», «Заготзерно».

Один край Суховершина — деревенский. Он уходит кривыми порядками, без единого кустика, весь в сугробах по самые стрехи соломенных крыш, прямо в голое поле. Другой край — «городской». Он и выглядит побогаче, с корявыми яблонями на задах, рябинами и шиповником в палисадниках, под окошками крытых толем или добротным железом кирпичных домов. Этот край густо лепится вдоль железной дороги к самой станции Суховершино с ее многопутьем и кончается за переездом, на пологих откосах лесистой высотки. На высотке, в лесу, на стлете, среди зарослей вечнозеленых, длинноперистых сосен и елей, и стоит двухэтажное здание Суховершинской средней школы. Здесь же рядом и домики для директора и учителей.

В них сейчас перевязочная, операционная, рентген, а в директорском доме — госпитальная канцелярия.

Позади, в гуще леса, брезентовые дэпэзовские¹ палатки для контуженых и легкораненых, баня, кухня, конюшни. За конюшнями — вековые леса. Они тянутся, перемежаясь болотами и неудобьями, может быть, до Смоленска, а может, и дальше. Там никто из живущих на станции не бывал. Разве только лесник, отец Лиды, Трофим Константинович Буканов, до войны ходил на лыжах километров за сто на охоту да бегущая за ним следом, иногда отстававшая, но упрямо всегда договяившая Лида...

Лиде холодно стоять на ветру. Однако возвращаться назад в палату ей не хочется. Она медлит. Там все спят. Там темно. А здесь небо на западе чуть подсвечено отдаленным пожаром, и снег излучает свою белизну, не погашенную даже низкими тучами. Очертания школы и верхушек деревьев на фоне несущихся низких туч неясны, расплывчаты.

Лида делает шаг по дороге, другой.

Вот здесь она шла, здесь стояла в тот день. Здесь стоял Шерстобитов. А здесь Гусев, начальник госпиталя. Это было в конце января, сразу после освобождения. Может быть, потому и запомнилось, словно врезалось в сердце.

Фронт прокатывался через станцию дважды — к Москве и обратно. И дважды оставил нетронутыми и резные крылечки разбросанных по равнине бревенчатых изб, и добротные риги, и хозяйские подполы с крепким духом заквашенной кочанами капусты, огурцов, засоленных с укропом и черносмородиновым ароматным листом, и картошки, такой белой, рассыпчатой, когда ее сварить в чугушке, в русской печке. Даже станция уцелела — фашисты бежали в чем были, не успели взорвать.

А потом — не приметилось Лиде, в какой именно день, — батареи ушедшего фронта, гремевшие вдалеке, как бы вроде спять к ним приблизились. Кавалерия, танки и мощные тягачи, волочившие пушки, теперь без ночевки спешили на запад, на фронт, а штабы, медсанбаты, редакции дивизионных газет, кухни, полевая почта и прочие службы армейского тыла почему-то позадержались в домах возле станции и в проулках. А как только развиднелось после долгих метелей, только встало холодное солнце — над путями, над станцией, над поселком

¹ ДПМ — дивизионный пункт медицинской помощи.

распяленным коршуном, что-то хищно высматривая, закружился вражеский самолет.

В тот же день неприцельно, вразброс легли первые бомбы.

Нет, война не хотела оставлять Суховершино нетронутым, неразрушенным.

Уже к вечеру загорелся вокзал, а потом и дома на порядке, ведущем от станции в гору. Вся проезжая часть перед станцией зачернела воронками. Снег окрасился кровью.

Поздно ночью на переезде через железную дорогу разорвался и первый немецкий снаряд.

Лида выскочила за ворота распыренная, в одном полушубке и долго смотрела в ту сторону, где клубилось багровое небо и где вот уже несколько дней на одной грозной ноте шел жестокий, почти не стихающий бой: что-то гулкое завывало и стучалось там о промерзшую землю. И раскатывалось, грохотало, расплзаясь подрагивающими, подпрыгивающими толчками. Потом, словно в кузне веселыми молотками, перестукивались пулеметы. И опять били пушки.

— Лидка, ты чего здесь — гнал Лиду с метельной дороги отец. — А ну, назад, в избу! Дождешься вот... голову оторвут!

— Как же! Очень нужна им моя голова, — рассеянно, с бледной улыбкой отвечала Лида. Но покорно, как будто во сне, шла назад в избу, переполненную бойцами, и садилась на печку, свесив ноги: глядела, как мостятся солдаты впокат на соломе от божницы до самых дверей, как кладут с собой рядом винтовки, а под головы шапки или тощие вещмешки.

Ее волновал и тревожил вид этих людей в отсыревших от снега шинелях. Она думала: а что снится солдатам сейчас, перед боем? Неизвестные ей города?.. Или села в вишневых садах?.. Или детство, любимые, добрые лица родных?.. А вот этому, вероятно, привиделась сама смерть: даже дернулся, вздрогнул. Лег щекой на ладонь.

Лида, может быть, никогда и не встретилась бы с Шерстобитовым, не разглядывая она этих спящих бойцов и не думая о них. А главное, не примеривая их судьбу к своей собственной жизни. Но скорее всего ее подтолкнул один тихий разговор, который она по случайности на рассвете услышала. Разговаривали двое бойцов: один — почти что подросток, белесый, безбровый и другой — плечистый седой человек с битым оспой лицом. Сидя на соломе у порога, они не спеша, но сноровисто наворачивали портянки, обувались, готовились к выходу.

— Это что же такое, палит и палит, — с тоской вздохнул тот, что был похож на подростка.

Другой, что постарше, ответил спокойно:

— Ничего! Не бойсь... Беден бес: у него бога нет.

— А у нас, что ли, есть?

— Есть, конечно. Ты что же, не видел?

— Нет, Парфен Автономыч, не приметил пока...

— Поживешь, будет время, заметишь. Как на брюхе-то полземли оползешь, так его и увидишь. Краше нету: Россия!

— А у немцев — Германия, — сказал младший, подумав.

— Нет, сынок. Кабы немцы любили Германию и знали ее, в чужие края разбойничать да убивать не полезли бы...

Молодой помолчал. Потом встал, затянул потуже брезентовый, защитного цвета пояс, взял винтовку и вышел. Лицо его было растеряннo, недоуменно, а в чуть сгорбленной, тонкой фигуре были словно и горечь, и тоска ожидания, и какое-то робкое неумение осознать свою жизнь, свою первую — страшную — и последнюю жертву.

Лида долго глядела на дверь, захлопнувшуюся за ним.

2

В то памятное ей утро она встала пораньше и пошла по поселку, рассматривая на проулке чернеющие воронки, разрушенные дома, пятна крови на снегу.

Возле школы, на взгорке, — цепь глинистых выбросов мерзлой земли. Железный обугленный остов автобуса. Повсюду на самом ходу, на дороге, лежат грудями свертки брезента, тюки, тяжелые ящики. Здесь же, рядом, убитая лошадь. Ветер чуть шевелит на сугробах в рыжих пятнах бинты. Пробегают девчата в ватных стеганых брюках и шапках-ушанках, белозубые и глазастые, как подростки-волчата. Мимо Лиды прошла молодая красивая женщина-врач в белом чистом халате и в белой шапочке; золотое пенсне на носу неуютно блеснуло при взгляде на Лиду.

Лида медленно обогнула знакомое до последнего бревнышка здание школы, поглядела на лес, на палатки, на походные кухни — все здесь было чужое, все новое, незнакомое ей, не свое, но живое и полное смысла; повернулась — и лицом к лицу столкнулась с двумя командирами, быстро шедшими по дороге.

Один — военврач, худой, горбоносый, уже седоватый, в очках и в шинели внакидку поверх белоснежного, накрахмаленного халата, другой — загорелый бровастый полковник в желтом новеньком полушубке, в ремнях и папахе. Он дерзко ско-

сил глаза в ее сторону, смерил всю, чуть сощурясь, изучающим взглядом от заношенных валенок до зазябших, обветренных губ, откровенно насмешливо хмыкнул.

Лида сделала шаг, уступая дорогу.

Но полковник приостановился. Синим светом блеснули глаза из-под низко нависших лохматых бровей.

— Как фамилия?— спросил он неожиданно строго.

— Моя?

— Не моя же, конечно!— заметил полковник.

— Буканова Лида.

— Ты что, здешняя?

— Здешняя.

— Кто родители?

— Мама доярка. А отец был лесник. До войны. Сейчас инвалид.

— А училась, наверное, в этой школе?

Лида только кивнула.

— В десятом?

— В девятом.

— О-о. Совсем уж взрослая! А?— протянул он с насмешкой, а сам думал, наверное, что-то свое, потому что и губы и брови его при этом нежно морщились, шевелились.— Училась на двоечки? Или на тройки?

— И совсем не на двоечки,— сказала она почти шепотом, упрямо. И голову наклонила, давая понять, что совсем не обязана отвечать на такие вопросы.

— На «отлично»? Да ну?— засмеялся полковник. И спросил, чуть прищурясь:— И при этом, наверное, хорошо танцевала? А? Признайся!..

Лида только взглянула, ничего не ответив.

— Ну, еще дотанцуешь,— сказал он задумчиво.— После нашей победы...

Военврач, сухо сжав некрасивые, тонкие губы, ждал, пока его спутник закончит не очень-то содержательный разговор. Предложил:

— Вы бы, девушка, шли к нам в госпиталь санитаркой. Люди вот так нужны...

Лида пожала плечами.

— Зачем санитаркой?— сказала она.— У меня есть хорошая специальность. Я закончила курсы... Сестра...

— Ну?— Теперь военврач поглядел на нее с интересом.— И даже диплом есть?

— И диплом.

— Ну вот и прекрасно! — воскликнул полковник. Его темные брови широко разлетелись. — Ну-у, Гусь, ты хите-ер, брат! Хите-ер... А? С тебя причитается! — И он громко захохотал, оборачиваясь к врачу и подмигивая при этом. А к Лиде сурово, решительно повернулся, приказал: — Через час будь у Гусева в кабинете! — Полковник кивнул в сторону своего спутника: — Его Гусев зовут, Георгий Антоныч. Он тебя и зачислит на все виды довольствия... И на все виды самых грязных и страшных работ. У нас так. Не побрезгуешь?

— Нет.

— Ну и умница! — И полковник вдруг пристально поглядел ей в глаза. — А ты знаешь, Буканова Лида, что ты сероглазая, милая?.. Тебе кто-нибудь это уже говорил?..

Лида молча стояла, у нее будто ноги отнялись.

А он крепко ее обхватил, приподнял и опять опустил на сугроб. И пошел, не оглядываясь, с усилием переступая в крахмалистом, рыхлом снегу. Потом снова стал, обернулся, окликнул ее:

— Эй, девушка! Подождите! Подите сюда.

Но Лида не сделала даже шагу навстречу. Стояла нахмурилась. Полковник был вынужден подойти сам.

— Вы запомнили, как фамилия начальника госпиталя? Повторите!

— Запомнила. Гусев.

Но полковник качал головой, широко улыбаясь.

— Эх и глупенькая! — сказал он негромко. — Я ведь просто хотел еще раз поглядеть в твои серые злые глаза. А ты — Гусев... Дуреха!..

Лида кинулась без дороги, напрямую с пригорка. Продиралась по целине, утопая по пояс в сугробах, через голые заросли терна, орешника, ослепленная незнакомой ей радостью этой встречи и таким же еще не испытанным унижением от насмешки, даже гневом, стыдом, натываясь на белые, в шапках снега и как будто присевшие елки.

«Нет, зачем? Как он смел? Кто позволил?» — повторяла она возмущенно, удивляясь себе, что стояла и слушала этого человека и не сразу оборвала его, а в растерянности отвечала на вопросы. С ней такого еще не случалось.

В то же время внутри ее что-то сказало: «Ну вот... Я же знала. Ждала. Я ведь очень хотела, чтобы он был высокий и синеглазый. И чтоб обнял меня. Крепко, крепко. И потом не ушел. Я смотрела и думала: «Оглянись же, скорей оглянись!» Он поэтому и оглянулся...»

Лида медлила, не спешила уйти, пытаясь понять, разобраться: а что же случилось? Что, в сущности, произошло?.. Дерзкий взгляд молодого полковника почему-то ей был не противен, а даже желанен, и Лида слегка ужаснулась: ну кто бы подумал? Все, что прежде казалось ей невозможным на людях: этот странный, двусмысленный разговор, этот взгляд, обжигающий, обнимающий ее душу. И даже насмешка... все, к ее удивлению, принесло не обиду, не стыд — ведь и правда ей. Лиде, не стыдно, — а счастье... Ну как если бы Лида взлетела в небо, и кружилась бы там, и носилась вместе с северным ветром.

А ведь он посмеялся, наверное, пошутил...

Эта мысль обожгла.

Лида села на снег, среди сосен и елей, как была, в своей старой, изношенной черной шубейке, и долго сидела раздумывая: что же это такое? Отчего она так? «Надо было бы скомандовать ему: «Руки по швам!» Вот и все, — с запозданием находила решение Лида. — Он и понял бы, этот полковник... Мне-то он не начальство, а так... Набежал на дороге. А уж если не зван, так, поди же, не гнан... Нет, действительно правду сказал, что дуреха!»

3

В тот день Лида возвратилась домой, когда зимнее солнце уже близилось к полудню. По родному проулку, обсаженному тополями, белеющими в пышных белых обертках мохнатого ивня, Лида шла как во сне. Поэтому она и не заметила сразу возле дома полуторку с наращенными досками бортами, а в полуторке, в кузове, копошащегося отца. Он укладывал какие-то узлы и ящики, в то время как замасленный рыжий шофер в обклеенных красной резиной валенках выволакивал из подвала кадушки с капустой, мешки с картофелем, а потом подавал их с земли.

Увидев Лиду, отец разогнулся.

— А ты где это ходишь? — спросил он, стоя в кузове. — Давай собирайся скорей. Уезжаем...

— Как?! Куда?! — Лида коротко ахнула. Она позабыла на миг, что ни отец и ни мать уже больше не могут приказывать ей. Не родители, а любой старшина, лейтенант или еще кто-либо старший по званию теперь будет распоряжаться: оставаться ей или уезжать.

А отец разогнулся, объяснил торопливо:

— Хватит! Кончено! Едем к тетке твоей в Балабаново! — и схватился за угол подаваемого шофером мешка, громко крикнув, присел, взвалил его себе на плечо, затем с осторожностью уложил возле стенки кабины. — Ты не видишь, что делается? Еще раз налетят, и, считай, Суховершина нету. Все в щепы разнесут!

Ветер нес по проулку удушающий запах горелого зерна и крашенного масляной краской железа — черный запах беды: где-то, видимо, догорали дома, подожженные с воздуха. Но для Лиды сейчас ни пожар, ни отцовские сборы не имели значения. Даже жизнь свою она не поставила бы рядом с тем, что делалось там, на заросшем сосною и елью бугре, возле здания школы.

— Хорошо, поезжайте, — сказала она. — Я не поеду.

Отец так и присел на край бочки с капустой.

— Это как — не поеду? — спросил он изумленно и спрыгнул на землю. Не глядя на дочь, разбитой походкой, прихрамывая — в ногу ранен был под Шяуляем, — пошел в избу.

Лида молча, спокойно пошла за ним следом.

— Это что еще значит? — спросил ее в горнице отец, присев на лавку. Он дышал тяжело, глянул исподлобья. — Это как не поедешь?

— Я в госпитале остаюсь. Медицинской сестрой.

— А ты спрашивалась? Кто тебе разрешил? — Отец вскинул чубатую голову. Его ноздри раздулись. — Ишь чего удувала! — Отец говорил почти те же слова, что и Яков Прудников на переправе. Лида даже упрямо нахмурилась, как тогда, на лугу. — «Не поеду!» — Отец горько, с насмешкой передразнил ее. — А кто тебя спросит, поедешь ты или нет! Прикажу — и поедешь!

— Я больше не вольная, папа. Призвана в армию. Вот повестка. — Лида протянула ему бумажку, отступила и встала у печки.

— Мать, ты слышишь, что дочь-то твоя говорит? — Отец вдруг застыл потрясенно, суровый, угрюмый. Потом встал, тряхнул темной курчавой седеющей головой — и снова уселся на лавку. — Ну, мать... Это что же такое, а?

Мать стояла печальная, в черном платке, уставившись в красный угол, на иконы — расшитые полотенца с боков она давно по-хозяйски сняла; пол был густо затоптан, заленлен окурками. Тут и там валялись клоками солома, сенная труха. Как клали солдаты под голову на ночлег, так и осталось неубранным — на дорогу-то не метут, назад ходу не будет!

Осторожно, как будто слепая, мать коснулась рукой потемневшего от времени створчатого шкафа. Чашки, кружки и плошки, стоящие в нем, одним своим видом напомнили ей о прошедших годах, о замужестве, о мирном взрослении дочери под этой соломенной крышей. Разве все это позабудешь, от себя оторвешь? Да и как это взять и уехать, бросить все нажитое? Это значит по собственной воле оставить кровать, и укладку, и стулья, и зеркало на простенке, и гераньки, цветущие в плошке, и все милое, дорогое для сердца — под снаряды да бомбы, на погибель да на разор? Шоферишка-то, камениюка заместо души, взялся только их самих довезти да харчи, а про все остальное и слышать не хочет...

Мать прерывисто, со слезами вздохнула.

Да, все видела в жизни — и болезни, и недород, и всякую думу за годы-то передумала, но только лишь одного не обдумала: что пойдет в чем была в неизвестность, в метель да мороз.

От окрика отца мать очнулась, взглянула на Лиду — и беззвучно заплакала. Слезы тихо текли по морщинистым, темным щекам, мать их смахивала ладонью, промокала концами головного платка, а они все бежали, уже беспрерывно, как будто бы существовали независимо от нее.

— Лида, дочушка...

— Мама... Я ведь все объяснила, — ответила Лида. — Завтра мне на работу, — сказала она.

— Да ты что, моя милая? — Мать прижалась к высокому Лидиному плечу. Она с ужасом осознала, что все рушится сразу: и хозяйство, и дом, и семья, но не верила этому, не хотела поверить.

Со двора, от ворот, посигналил шофер.

— Ехать, старая! Ничего не поделаешь... Одевайся! — сказал наконец от порога отец. Он почувствовал вдруг в решении дочери и свой собственный неуломный характер. Поднял с пола туго набитый мешок, вышел в сени, согнувшись под тяжестью неподъемной поклажи, сказал Лиде, не глядя в лицо:

— Ну, смотри, дочка, плакать будешь, да слезки никто не утрет!

— Ничего. Не заплачу.

Лида хорошо понимала, что в момент расставания удержаться от слез ей поможет лишь только враждебная ледяная суровость. А поэтому, сохраняя ледяную суровость, не двинулась с места: подсобить отцу, подхватить его ношу. Точно

так же она не ответила матери на какой-то негромкий ее вопрос.

— Ну, присядем перед дорогой,— сказал, воротившись, отец и уселся на лавку.

Они сели. Лида чутко прислушивалась к звукам улицы и двора. Там опять проезжали машины с орудиями. К ним во двор завернула одна, и теперь у крыльца натужно ревел могучий мотор и кто-то кричал:

— Давай! Давай! Еще давай! Ну, еще! Еще!— И машина шла задом, ревя и буксуя.

В избу быстрым, размашистым шагом вошел командир. Он был тонкий, высокий, с усами, в длиннейшей шинели, перетянутой необношенными ремнями, в цигейковой шапке, лихо сдвинутой на затылок. Густые, как будто бы нарисованные углем, его черные брови вразлет усмешливо дрогнули при виде Лиды. Наверное, не ожидал увидеть здесь, в доме, крытом соломой, такую дивчину. Громко кашлянул в руку.

— Здравствуйте, люди добрые, дорогие хозяева,— сказал он зычным голосом, как на плацу, и сурово окинул их взглядом, потом поглядел на кровать, на печку, на пол, на полати, как будто заранее примеряясь, сколько бойцов своей батареей сможет здесь разместить. Прошелся по комнате.— Извините, что вас потревожим. Мы у вас в огороде поставим зенитку, так что уж не взыщите. Много грохоту будет.

— А-а, теперь все равно,— безразлично махнул рукой отец.— Хоть зенитку, хоть танк. Мы теперь не хозяева. Здесь хозяйка война.

— Что верно, то верно,— подтвердил добродушный приземистый старший сержант, входя в избу вслед за своим командиром. Длиннолицый, с лысеющим лбом, он снял шапку, прошелся по комнате, сел на лавку рядом с отцом и сразу же потянулся к его кисету, торопясь закурить.

Командир обернулся и резко спросил:

— А вы здесь зачем, товарищ Остапенко? Вам здесь нечего делать! И потом, сколько раз я уже говорил?.. Вам ведь выдан табак?

— Но, товарищ же капитан!— Длиннолицый с мольбою взглянул на командира батареей, как ребенок на мамку.— Звоняйте, за-ради... Того табаку мне хватает на раз...

— Я сказал вам: идите!

Остапенко вышел.

Лида молча уставилась на затоптанную половицу у себя под ногами. Ей до горечи было стыдно за зенитчика-коман-

дира, но сказать ему она ничего не могла, только встала со стула и глянула в незакрытую дверь вслед Остапенко. Тот шел через двор, втянув голову в плечи и горестно сгорбясь.

Отцу тоже, по-видимому, было неловко присутствовать при этой сцене, он с усилием крикнул и поднялся, с трудом разгибая натруженную спину.

Прощания с домом, с единственной дочерью не получилось. В самом деле, война была здесь уже полновластной хозяйкой.

— Мать, поехали наконец,— сказал он непривычно просительным тоном и опять закричал: — Ну, кончай же скорей! Ехать, ехать!..

Лида, накинув на плечи шубейку, вышла их проводить.

Мать сидела на ящиках возле кабины, в грубошерстном платке, повязанном поверх другого, ярко-белого, окаймлявшего ее скорбное, в тонких морщинах лицо. Распшитый цветной затейливой стежкой рукав полушубка слабо вздрогнул у нее на коленях: мать сжимала корявыми пальцами узелок с сухарями и махнуть на прощание дочери не решилась, побоялась отца, только всхлипнула приглушенно. Отец оглядел дочь затравленно и устало. Хмуро ткнулся губами ей в щеку, сел от ветра под защиту кабины и крикнул шоферу:

— Паняй, парень! Трогай! Поехали...

Они вымчали из ворот, свернули с проулка на улицу, поднимая недлинное облачко серебряной пыли. Потом было видно, как медленно покатались по снежному полю, обведенному по горизонту черной каемкой елового леса: там дорога всегда в длинных ямах и рывинах, в языкатых, слоями, извивах поземки — кто ни едет от станции или на станцию, обязательно застревает в заносах.

И тотчас от развилки дорог, от путей, от вокзала, как будто желая заставить уехавших возвратиться, закричали, забили в падучей зенитки.

4

И вот теперь нет у Лиды ни матери, ни отца.

Да и дома ее тоже нет.

Отца и мать убило осколками бомбы в четырех километрах от станции Суховершино, в длинной общей колонне застрявших в сугробах машин. А от дома осталась смоленная черным дымом разрыва глубокая яма — самолет заходил на зенитную батарею, а попал чуть левей, прямо в избу. Сама Лида, по счастью, в это время была у соседей, ходила за спичками к бабке Мокевце.

Хоронили убитых уже в сумерках, и всех вместе: мать, отца, длиннотелого лысоватого Остапенко и еще двух бойцов с батареей, которых Лида не знала по имени. Капитан с густыми бровями вразлет, с забинтованной головой — его звали Артемом — безотказно и скоро помог Лиде привезти с места гибели трупы родителей, сколотить для них общий нестроганный гроб. На прогоне зарядами толковых пашек отрыли могилу. Кое-как перевязанные, с суровыми потемневшими лицами, уцелевшие батарейцы постояли, сняв шапки, рядом с Лидой над свежей могилой — ровно столько, сколько им позволяла громящая за зубцами лилового, дымного леса война. Потом молча один за другим надвинули шапки, дали три нестройных залпа в сторону запада и тут же ушли расчищать огневую, ремонтировать и налаживать поврежденную пушку.

Оглушенная горем, Лида долго стояла над коричнево-рыжеватым от глины могильным холмом. На фанерке чернилами были написаны в ряд пять фамилий, в том числе и Трофима Буканова, и Настасьи Букановой, и Лида читала их снова и снова, смотрела на холмик, и опять перечитывала, и все не могла связать воедино казенно и жутко звучащие имена, эту глину с комками мерзлого снега и такие родные, знакомые до последней морщинки лица матери и отца.

Она не заплакала ни сперва, когда прибежал соседский парнишка и, крича, задыхаясь, рассказал обо всем, что он видел, — в это время он ехал в санях из Терновки, — ни потом, когда гроб опускали в могилу и бойцы стали забрасывать неглубокую яму землей вперемешку со снегом. Было стыдно и перед Артемом, и перед молчаливо стоящими рядом с непокрытыми головами старой бабкой Мокевной, и ослепшим учителем русского языка Николаем Ивановичем Харитоновым, пришедшим утешить, — но слезы не шли. Словно в ней, в глубине, этой самой же бомбой была уничтожена и какая-то главная ощущающая струна, которая еще так недавно откликалась и резонировала на малейшее проявление жизни: на замерзшую под пленкой льда полевую букашку, на цветок, на веселое, меткое, незнакомое ей словцо, на случайный, чуть скошенный в ее сторону взгляд, на печальную песню, на острую шутку. Сейчас эта обычно веселая, тонкая и все ощущающая струна ни на что окружающее не отзывалась. Почему-то не верилось в страшный смертный конец. Все казалось: отец просто где-то в лесу, на кордоне, мать ушла за водой или вместе с другими колхозницами уехала на санях

за соломой на ферму. Это кто-то другой похоронен в мелковатой промерзшей могиле.

Постояв рядом с Лидой, ушли и учитель, и бабка Мокевна, и Лида осталась одна. Она молча смотрела на мерзлую землю, которую чуть забеливала бегущая змейками низовая метель. В длинных, легких, перебегающих тут и там струйках снега, чуть звенящих от ветра во время движения, Лиде виделись то седоватые пряди волос матери, а то извитой шелковый пояс на рубаше отца. Как красив был отец на покосе, стройный, рослый, в каштановых темных кудрях! А когда приходил из лесов в Суховершино, как плясал на гулянках! А вот снова живая, веселая мама, в ярко-розовой кофте, в платке пунцовыми розами, сидит у окна в золотистых лучах заходящего солнца и, сама золотая, отгоняет от меда рукой налетающих ос...

Такое еще недалекое детство... Земляничники в алых россыпях ягод... А вот зимней морозной ночью на лыжах пробегают они с отцом по полянам, почти голубым от встающей луны. А отец говорит: «Видишь след, это рыжая мышковала. Хитрованка какая! А след-то вот он, на снегу... Никуда ведь не денется! Ну, ходишь тебе в школу на будущий год в лисьей шапке...»

А вот они едут с отцом на лесхозовском тарантасе на ярмарку в Стоколос. Конь помахивает красиво расчесанной, в кольцах, гривой. Густая дорожная пыль, поднимаясь тугими клубами, почти не садится, еще долго держится в воздухе душным пепельным облаком, увеличиваясь в объеме, и медленно растекается по полям, волочится за ними пушистым хвостом до самого горизонта.

Тихо, жарко, безветренно.

А на торжище пахнет сеном, навозом, махоркой. В бесчисленных балаганах, в киосках, ларьках, на прилавках пестро от развешанных лент и воздушных кисейных и газовых козынок, ярких броских платков с веселым узором, свертков ситца, сатина и шелка в звездастом рисунке. Сама Лида — в красном сборчатом платье в белый крупный горошек, с белым бантом в косичках. В одной руке она держит яблоко, в другой — грушу. В ногах свертки, кули, чугуны и решета. А отец стоит рядом, опершись о сиденье, и курит, поглядывая на Лиду, добродушный, бородатый, с усами и чубом, выбивающимся из-под заношенной кожаной фуражки. И так весело, так смешно звучит голос торговца, продающего плюшевых обезьянок, взлетающих на резинке, послушных руке:

— А вот а-атличная игрушка для детей от шести месяцев до семидесяти лет! Не бьется, не ломается, только кувыркается... Не ест, не пьет, без прописки живет...

— Па-ап, купи-и-и,— жалобно просит обьевшаяся всяких сладостей Лида.— Па-ап, купи обезьянку... Ну, я очень прошу-у...

— Может, ну ее?

— Пап, купи-и-и...

Отец молча засовывает кнут под сено, под примятую парусину уже сброшенного с плеч плаща, зорко смотрит по сторонам и вдруг говорит:

— Ну, ну, посиди! Никуда не ходи...— и скрывается в шумной пестрой толпе покупающих и продающих, кричащих, ругающихся, зазывающих, рьяно бьющихся об заклад и тут же смеющихся, возбужденных людей. Пропадает он где-то так долго, что Лида, готовая зареветь, уже мрачно ерзает на сиденье и смотрит по сторонам с тоской брошенного, одичавшего человека. И вдруг видит отца.

Он идет, сдвинув на ухо лихо заломленную фуражку, и бережно прижимает к груди что-то круглое, мягкое, рыжеватое, в пышном ворсе, запрятывая его чуть ли не всего целиком в своих крупных, дочерна загорелых руках. Лида молча приглядывается: это круглое, рыжеватое почему-то совсем не похоже на плюшевую обезьянку, и она уже хочет удариться в голос и, наверное, закричала, заплакала бы, да сперва очень хочется рассмотреть, что же это такое, отчего так застенчиво, виновато, с улыбкой смотрит отец — так, как если бы он купил это нечто не ей, своей дочери, маленькой Лиде, а большому — себе...

— На, возьми,— говорит отец с нежностью, не дыша.— Не искусственное, живое!— И он тихо поглаживает это мягкое, рыжеватое существо, лежащее у нее на коленях. Это теплый, хорошенький черноносый щенок. Он подрагивает от страха всей тоненькой своей кожей, всей шерсткой, кончик волос на животе у него еще мокрый, клеенчатый нос влажно тычется Лиде в руку.

— Ну как? Нравится? Или нет?— осторожно, с тревожной ноткой спрашивает Лиду отец.— Смотри-ка, какой пес-барбос!— И Лида с обидою замечает, что он очень доволен покупкой и теперь с нетерпением ждет от нее ответного радостного удовольствия.— Ну, чего ты молчишь? Ты же просила щенка!

— Да-а, проси-ила,— наконец прорывается в Лиде рыдание.— Зимой... Не сейча-ас. А сейчас — обезьянку...

— Ну вот!— огорченно вздыхает отец.— Нет уж, Лида. Надо что-то одно,— говорит он со всей мыслимой строгостью, убежденно и затягивает на лошади чересседельник, поправляет подпругу, вздевает узду.

Лида крепко целует щенка в черноватое теплое ухо. Но пока они едут по площади, покидая базар, все оглядывается назад, на танцующих, прыгающих, взлетающих на руке продавца, на связке резинок, коричневых обезьянок, все вздыхает, и всхлипывает, и сердито молчит...

Нет, из смерзшихся комьев земли и глыб развороченной глины вперемешку со снегом почему-то не складываются отцовские серые, а то иногда голубые, как осеннее небо, глаза, не встает его хитроватая, молодая улыбка, когда в следующий раз он с базара привез обезьянку и положил ее на подушку рядом с длинным, в красивой обертке леденцом. Ничего нет похожего в тех останках, засыпанных снегом, с сильным телом отца. Может быть, поэтому она и не плачет...

Лида с горечью, как посторонняя, осудила в себе свою собственную неспособность думать о смерти. Почти физическую невозможность осилить упругую неподатливость мысли и вернуться к тому, что лежит под ногами. Мысль как будто вывертывалась из-под нажима, отскакивала и опять распрямлялась как ни в чем не бывало и по собственной воле рассыпалась на яркие, золотые ускользающие миры: все девушки в лентах, в венках, а отец в расшитой цветами рубашке пляшет в тесном кругу на траве, возле станции, вместе с яркой дородной темноглазой красавицей в синем шелковом платье. Та поводит плечами, выступает, как пава, а мать, сжавшись вся, надвинув платок на глаза, отвернулась, не смотрит, слезы катятся у нее по щекам, и она их не стряхивает, не вытирает, только шепчет: «Пойдем, дочка, отсюда, пойдем! Не гляди на бесстыжих...» А еще почему-то перед ней возникает двухэтажное здание школы и накатанная, с колеями в сугробах дорога, голубые и синие тени на ней. И полковник в папаше, смеющийся ей в лицо, загорелый, плечистый, с темной складкой у губ. И приближенное морозом тяжелое гаханье пушек, монотонное неподъемно-тяжелое раскатывание по земле чего-то огромного, смертного, круглого...

— Ну чего вы здесь мерзнете?— спросил кто-то рядом участливо.

Лида быстро, испуганно обернулась и увидела позади, за спиной, Артема. Он был чем-то похож на замерзшую птицу, взъерошенную и нахохлившуюся. Может, тем, что при каж-

дом движения длинные полы артиллерийской шинели Артема, как опущенные волочащиеся крылья, задевали за снег на сугробах по той и другой стороне тропинки.

Лицо у Артема было сухо, сурово. Лида только сейчас заметила его острые скулы и глубокие, словно ножом прорезанные через лоб к переносью, морщины. Впрочем, может быть, еще днем морщин этих не было.

— У вас есть здесь родные, в поселке? — спросил капитан, беря в свою потную холодную руку замерзшие пальцы Лиды. Лида твердо, с усилием высвободила их.

— Есть, конечно...

— Так идите к ним... Скоро вечер. Где-то надо же почевать.

— Да, действительно, — отчужденно ответила Лида. Она и не подумала о ночлеге. В ее голове как-то не связывалось в одно целое пережитое днем и такие простые, спокойные вещи, как еда и ночлег. Она все глядела на темные коричневатые комья: ветер нес по земле, по сухому и жесткому насту позванивающие на бегу белесые струйки метели.

— А хотите, закончат блиндаж, приходите, найдем вам местечко, — сухо бросил Артем. Он, видимо, опасался показаться назойливым. Но Лиде сейчас одинаково не хотелось находиться ни с чужими людьми, ни со своими дядьками и тетками, окажись они все в этот миг не на дороге в тылы, а здесь, в Суховершинне, — не хотелось слеплять пересохшими от мороза губами какие-то нужные для окружающих и бессмысленные для нее, потерявшие силу слова; может, плакать — ведь все от нее ждут рыданий и слез, а она не умеет, не хочет заплакать. А самое главное, ее будут жалеть, называть сиротой, а она почему-то еще не прониклась скорбным, жалобным чувством сиротства, ее мозг еще внутренне сопротивляется этой чуждой, такой неприемлемой мысли.

Поэтому Лида молча топчется на снегу и глядит в потемневшее в сумерках поле.

— Нет, спасибо, Артем, — говорит она, помолчав. — Я найду себе место.

В самом деле, она не смогла бы сейчас находиться среди батарейцев, забивавших гроб с матерью и отцом и видевших то, что осталось от них. Уже это одно сейчас было бы для нее нестерпимым.

— Я пойду к себе на работу.

— Ну, как знаете, — почему-то оскорбился Артем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

И вот госпиталь. Эта работа. Кто бы знал, как она тяжела!

Лида зябко поеживается, стоя одна на дороге. Глядит в темное небо. Задержалась она со списками! Пора возвращаться в палату назад. Небось кто-нибудь уже стонет, зовет ее, плачет.

На крыльце Лида стряхивает с себя снег, обметает веником валенки. Рывком открывает дверь в палату. Нет, все спят. Здесь тихо, тепло. Печка топится. Капитоныч сидит на обрубке полена, клюет носом, вот-вот упадет.

Лида трогает его за плечо, тот мгновенно раскрывает осмысленно — словно не спал — свои некогда синие, а сейчас уже сильно повыцветшие голубые глаза.

— А-а, ты, Лидушка-детушка...

— Я... Ну, как тут у нас?

— Нича-аго-о,— торопливо, певуче откликается санитар.— Дело у норме...

— Ты иди подремли, а я посижу. Я уже отдохнула, погуляла немного.

— Да я, Лидушка, тоже как штык... Эт я так!

— Ну, иди подремли,— повторяет она.

Капитоныч, крихтя, поднимается. Шаркает негнуущимися ногами, но вдруг возвращается с полдороги, говорит:

— Ты покличь тады, ежели што...

— Хорошо. Позову.

Он ложится клубком на соломе, возле ящика с медикаментами, подремать полчаса. Без подменки начались четвертые сутки. Побережников, второй санитар в их палате, убит дальнобойным снарядам на станции. Больше некому подменять.

Лида медленно палочкой ворошит помертвевшие угли в печи, оживляет их прикосновением. Словно собственные воспоминания о прошедшей неделе.

Как трудно постигнуть рассудком бесконечность Вселенной, ее мертвую черноту, так сейчас Лиде было почти невозможно постигнуть войну, а в войне — свое собственное одиночество.

В самом деле, куда ни пойдешь, на тысячу верст и вправо и влево, везде бьют орудия, поднимаются в небо осветительные ракеты, стрекочут и верещат автоматы и пулеметы, а ты всею чужая, все занята делом, и у каждого на душе свое горькое горе: ты ничем не несчастней, не счастливей других.

Со своим одиночеством, с горем она и пришла в первый день сюда, в эту палату, и сразу же кто-то окликнул ее:

— О-ой, сестренка, скорей... Помоги, подними-ка мне ногу повыше. Нет сил, затекла...

— Сестреночка, дай напиться, иссох весь насквозь...

— Ой, сестра, умираю...

— Пи-ить...

— Мама, мамочка, ой не бейте, я больше не буду!

Кто-то в белых бинтах вперекрест то и дело встает, порываясь бежать, приходится силой удерживать его, класть компрессы на лоб, уговаривать, гладить волосы, как когда-то, наверное, мать ему гладила светлые пряди, убаюкивать, повторяя: «Спи, моя радость, усни...»

Прошло всего несколько суток со дня гибели ее родителей и всего их букановского гнезда, а кажется — вечность. Всего несколько суток дежурства в переполненной ранеными душевной комнате, при копилке, эти стоны и хрипы, отвратительный запах запекшейся крови, немытого тела, эфира, мочи, а потом этот грохот бомбежки и свист бомб, рассекающих воздух, он входит, как штопор, в твоё утомленное тело, свист, отсасывающий от сердца всю кровь, выжигающий душу. Как привыкнуть к нему?

Сейчас в госпитале много раненых. К Лиде, в темную ее комнату, санитары несут только самых тяжелых: с ранением в голову, в легкие, в брюшную полость, с ампутированными конечностями, почти умирающих. Иные и умирают тут, потому что медицина порою бывает бессильна. Иные, полежав день-другой, начинают ровнее дышать, приходят в сознание. И каждого Лида должна напоить, накормить, каждому измерить температуру, проследить за пульсом, дыханием, сделать уколы и всякого рода лечебные процедуры, которые требуют и особенной чистоты, даже стерильности, невозможной в условиях фронта, и каких-то несложных, но пока неизвестных ей особенных навыков, наконец, просто нежности и терпения. И доброты...

Целый день она кружится не присаживаясь, без подсменки — ее сменщицы заняты в операционной — и без сна и еды. Иногда от усталости Лида словно пьянеет, ее чуть пошатывает. Тело кажется невесомым. Тогда она прислоняется к бревенчатой стенке и задремывает на ногах на какой-то коротенький миг, чтобы снова очнуться, отозваться на голос, просящий о помощи, снова делать инъекции, давать кислород, класть грелки к ногам, а к голове лед, хлопотать с перевязками, с пере-

ливанием крови. В конце концов даже бомбы ее перестали пугать: рухнуть, скорчиться где-нибудь в уголке, на полу, а там пусть хоть убьют, все равно, только б выспаться, отдохнуть... Поэтому Лида и не удивилась сегодня, когда выскочила по какому-то делу на мороз и лицом к лицу столкнулась с человеком высоченного роста, в каракулевой папахе, вылезающим из саней.

Человек при виде ее не сдержал своей радости, засмеялся, молодежато сдвинул набок папаху.

— Вот так встреча! — сказал он, улыбаясь. — Здравствуй, Лида Буканова!

Она не ответила.

Ослепленно глядела на серую от морозной пылицы щегольскую бекешу и на собственные свои закопченные руки, залитые йодом, молчала, как будто не верила ни ему, ни себе.

— Что молчишь? Далеко ли направилась?

Наконец-то нашлась для простых, обиходных человеческих слов.

— По делам.

— Брось дела! Я найду тут товарища одного — и поедем в дивизию.

— Я?! — Она отступила. Что-то жаркое, вдруг задевшее самый чувствительный нерв, обожгло ее душу. В дивизию — это значит на самую-самую передовую... Может, в роту, во взвод... И там она будет еще ближе к войне... И к нему... Но увидела трепетный огонек нетерпения в глубине его глаз и ответила недоверчиво, сухо, вопросом:

— А зачем? Для чего?

— Как зачем? Воевать.

— Я воюю и здесь.

— Здесь не так. Сама знаешь: тылы... Война там. Серьезная, настоящая. А тебе нужно быть настоящим солдатом.

— Мне никто не позволит...

— А тебе обязательно позволения надо?

Он глядел на нее испытующе, без улыбки. Словно синие льдинки, искрились глаза под нависшими, будто нахохлившимися, бровями.

И вдруг засмеялся.

— Ну ладно, — сказал полковник решительно, твердо. — Три дня на раздумье. Приеду и заберу. Капитан Большаков, такой раненый есть у тебя?

— Возможно, и есть. Я не знаю. Проверю.

— Давай быстро проверь!

А сам шел уже следом, красивый, уверенный в себе, хорошо понимающий свою власть, свою силу над ней. Пошутил на ходу:

— Ты, солдатик, не бойся! Двум смертям не бывать.

Но она ничего не ответила.

Разыскав Большакова — оказалось, тот самый «ее» капитан, порывавшийся убежать, не проснувшись еще от наркоза, — прошла к печке и села на круглом обрубок березы, сжала руки в коленях: они почему-то дрожали. Три дня на раздумье. А там — заберет...

Полковник потом подозвал ее, о чем-то расспрашивал, и она отвечала, но что? Разве вспомнишь? Он как будто заранее знал, был уверен: Лида сделает все, что он прикажет. Даже больше того. А когда, не дождавшись ответа, он ушел, разбитый, разозленный, у нее что-то сжалось тревожно внутри. «Все... Теперь навсегда. Больше я его никогда не увижу. Ведь не будет же он передо мной унижаться, просить... Не такой человек. Да и я перед ним не унижусь...»

Фронт манил к себе Лиду, звал ее и тогда, в сорок первом, и теперь, после смерти родителей, он казался каким-то пугающим, недоступным. Недалекая передовая рисовалась ей огнедышащим краем земли: дальше нет ничего. Быть там страшно. Не быть — невозможно.

Шерстобитов сказал: «Двум смертям не бывать!» И теперь эта фраза стучит и стучит в голове, повторяясь. Да, он прав. Жизнь дана Лиде единственная, второй больше не будет. Но и смерть-то ведь тоже одна! Вот в чем дело... Так поэтому человек и обязан ее встретить достойно, мужественно — единственную, одну. Независимо от того, сколько времени шел к ней: сорок пять, пятьдесят или семьдесят лет. Или только семнадцать. Вот одна — и что хочешь с ней делай, потом не исправишь уже ничего. Если трусом погиб, так уж трусом навеки и останешься в памяти у живущих...

Да, там страшно.

А здесь, под бомбежкой, разве не страшно?

Страшно только под крышей, когда ты не видишь вокруг ничего. А в поселке во время налета она не боялась, не бежала, не пряталась, как другие, в открытую яму, а стояла, смотрела, хорошо понимая, что ветер внизу и ветер вверх имеют различные скорости. И что, глядя на самолет, эту разницу можно учесть и заранее высчитать по движению бомбы, куда упадет.

В этом сложном расчете вовсе не было риска, а была одна

трезвость. Лида даже гордилась собой. Но она понимала: ей пресно без риска, без чувства опасности. Что-то в мягкой душе ее постепенно, с решительностью отвердевает, превращается в крепкое, грозное, пусть не видное людям. И теперь, когда больше нет на земле ни матери, ни отца, способных страдать за нее так, как Лида сама за себя никогда не страдала, надо что-то решать. Разве мало на фронте других дивизий? И других командиров... А уж дело-то, верно, ей найдется везде.

2

Сдав дежурство веснушчатой Саньке Араловой, в ватных брюках и куртке, неуклюжей, никуда не спешащей, на прощание улыбнувшейся ей удивительно светлой, чудесной улыбкой, Лида вышла из госпиталя и встала на солнечном синем пригорке, в синих тенях на колее.

Он, оказывается, существует, этот утренний, полный свежести воздух. И морозное голубоватое небо. И звенящие, как серебряные колокольчики, воробы, копошащиеся в навозе... А идти-то ей некуда... Даже солнце не радуется. И не радуется снег на дороге, не январский, не свеянный в камень, и не сахарный, не наждачный, источенный выюгами да морозами, как положено быть февральскому снегу, а пластинчатый, перламутровый, как бы розовый, словно в марте. Стоит только пошевелиться — и с сугробов взлетают и снова садятся миллионы снежинок, легкомысленные, фантастические существа. Там, где сели они, — миллионы дразнящих сиреневых, голубых и малиновых искр.

— У, ешь тебя мышь! — кто-то выругался за спиною у Лиды, обгоняя ее, прокрипел сапогами. — Вот погодка-то гадская! Так и знай, прилетят! — И солдат злобно сплюнул. — Фриц поганый, сейчас понавешает бомб...

Лида в ответ только усмехнулась. Ей совсем не хотелось признаться себе, что она в эту минуту с тайной тревогой подумала о Шерстобитове: почему не приехал к ней, как обещал? Что случилось?

Внизу от поселка кто-то быстро шел по дороге размашистой журавлиной походкой, иногда оскользаясь на льдистых подъемах, притрушенных сверху порошей, иногда оборачиваясь назад, может быть проверяя, не летят ли опять. Приглядевшись, Лида узнала в идущем начальника госпиталя. Гусев тоже заметил ее и приветственно, еще издали, помахал ей рукой.

— Как работается, Буканова? — спросил он, подходя к ней

и сумрачно улыбаясь. Его впалые темные щеки были небриты, под очками зелеными тенями лежала накопленная, несмываемая усталость.

— Ничего...

Лида вежливо посторонилась, давая дорогу. Ведь они, Гусев и Шерстобитов, — друзья. Уже это одно заставило ее сердце забиться сильнее, тревожней. Может быть, он что-то уже знает об их разговоре?

Но Гусев стоял, улыбаясь как ни в чем не бывало.

— Отдежурила?

— Да.

— Кто сменил?

— Аралова Санька...

— Ну что же, хорошо. — Он, по-бабьи задрав полу шинели, достал из кармана брюк папиросы. — А сейчас — отдыхать?

— Нет, — сказала она и загнулась, подумала: а зачем, для чего начинать разговор? Разве нужно кому-то рассказывать, объяснять, как ей трудно? — Не знаю... — сказала она.

— А родные твои еще здесь, в Суховершине?

Лида опустила голову:

— Родных моих нет. Их во время бомбежки убило.

Георгий Антонович вскинул желтенькие прищуренные глаза:

— И-ну?.. Давно?

— В понедельник. Во время большого налета...

— Дом-то цел?

— И дом мой разбит...

— И куда ж ты идешь?

— Никуда. Просто вышла на улицу — и смотрю, размышляю, где поспать бы теперь...

Он поскреб свою узкую, треугольником, бровь.

— Надо что-то придумать... — Обернулся назад на дорогу, но там не было никого. Взял Лиду за локоть, повернул ее назад, снова к зданию школы. Удивился, что она не шагнула за ним. — Ну пойдем же, пойдем, я сейчас прикажу...

— Да не надо... Зачем еще вам беспокоиться?

— Это как же: не надо? А ну, я тебе говорю: идем!

Через каких-нибудь полчаса Лида шла за связным тем же самым проулком, в котором когда-то жила, и разглядывала то новые пепелища, то встречных, торопливо идущих бойцов — день еще не нахмурился тучами, и все осторожно поглядывали в зенит, ожидая знакомый прерывистый гул «лаптежников».

Вдалеке на окраине Суховершина, почти в поле, чуть темнела изба родной Лидиной тетки Марии, которая тоже ушла с ребятишками, бросив все нажитое. Солдат как раз и вел ее к той избе.

Сейчас из трубы тетки Марьиного дома, кудрявясь, плыл тихий дымок, словно кто-то там жил, по-хозяйски заботливый, и у Лиды невольно прерывисто, громко застучало сердце. Но двери в холодные сени были распахнуты настежь, и вьюга давно намела у порога сугроб. Лида даже замедлила шаг, не решаясь переступить. Провожатый сердито ее подтолкнул:

— Давай проходи!— И она торопливо, послушно перешагнула через порог.

В избе после яркого света и блеска снегов показалось темно, как в могиле. Потом мрак понемногу повыцвел, подтаял поближе к окошкам, где тонкие ниточки света, подобные паутинкам, еле-еле сочлились сквозь забитые досками неширокие окна — как в госпитале, как и везде теперь, где после бомбежки повыбило стекла.

Немного освоившись, приглядевшись к предметам, Лида сразу узнала знакомую горницу, только сейчас в ней не было ни кровати, ни знакомого шкафчика, где хранилась посуда, ни скобленного сотни раз перед праздниками стола, ни покрашенных красно-коричневой масляной краской табуретов и стульев.

Пол давно не метен. Печка, правда, топилась, но почти прогорела и паялась, остывая, никем не закрытая. На печи равномерно, негромко кто-то сладко похрапывал.

— Ну вот, дочка, и место тебе!— сказал сивоусый солдат-провожатый, поговору то ли воронежец, то ли рязанец, и кивнул на угол под разбитым и заткнутым сеном окном. По всей долготе отведенного Лиде для отдыха места серым в лучике света барханчиком лежал чуть мучнистый, крупитчатый снег.

— Ну чего еще?— недовольно спросил сивоусый.

— Ничего. Большое спасибо,— ответила Лида, оглядываясь.

— Ну, тогда прощай!— Сивоусый еще нерешительно потоптался, как будто желая подбодрить ее, посочувствовать, но махнул рукавицей и, надвинув поглубже ушанку, только коротко крикнул:— Ну, вот так...— И опять повторил:— Ну, бай-бай...

Покрутившись, поежившись, словно после бомбежки не успел еще вытряхнуть из-за пазухи остья соломы и мельчайшие, как пылинки, осколки стекла, а быть может, зазябнув ду-

шую в холодной, заброшенной этой комнате, он решительно кашлянул и толкнул ногой дверь.

В сенях скрипнули половицы, громко брякнул засов. Лида бросила на пол полученный в каптерке заштопанный, плохо стиранный вещмешок и уселась с ним рядом, пытаясь придумать, как лучше устроиться. Но не придумала ничего. Брезентовой рукавицей отмела тот барханчик поближе к стене, потом постелила шинель — одну полу под бок, другой полкой, натянув ее с силой, укрылась внакидку; под голову вместо подушки подложила рукав. Вся скорчившись в три погибели, не снимая сапог, улеглась, очень плотно свернувшись. И как будто нырнула под лед, в глубокие, темные толщи воды, на самое дно беспробудного сна.

3

В сизом мареве хрустких от морозов снегов занималось февральское утро, когда Шерстобитов в легких кованых санках на паре орловцев подъезжал к Суховершину.

Полковник был зол и невольно поморщился, увидев над станцией и поселком кружащихся стаей ворон: а что могут они рассмотреть с такой высоты, какую еду? И какая надежда их гонит туда, в этот холод, неужели одна только мысль о еде? И что думают птицы о людях? Почему не поделятся с ними своим знанием хитросплетений дорог, там, внизу, на земле, рвов, траншей и укрытий, не расскажут, где лежит не пробившийся через линию фронта убитый разведчик, а где прячутся, ожидая приказа, немецкие танки? Отчего бы вон тому лохматому старому ворону не дать своевременно знак, что в разбитом селенье Распопове вьюжной ночью после атаки все солдаты уснули, уснули и часовые, и курносенький веснушчатый лейтенант по фамилии Матушкин тоже крепко уснул, и фашисты, подкравшись, всех их до единого перерезали, как цыплят, да еще и нагадили возле трупов? А теперь ты, полковник, то мотайся в полк на дознание, то казнись, повиняйся перед самым командармом генералом Горячевым да пиши докладные: кто, зачем, почему. А разве не ясно и так: война на измор, на износ, все устали?

С независимой, гордой улыбкой, но внутренне взбудораженный, нервный, Шерстобитов вошел в помещение, где жил генерал. Порученец Горячева, молодой, но слегка располневший и уже лысоватый капитан Простяков, приглашающе склонив голову, пропустил Шерстобитова в дверь. Попросил подо-

ждать. Доложил генералу. Тот закашлялся за перегородкой, зашелестели бумаги, перелистываемые нетерпеливой рукой. Потом генерал легко встал с табурета, проскрипел сапогами. Резко, остро запахло хорошим военоторговским одеколоном.

— Да. Сейчас,— прозвучал тихий голос. И снова зашелестели бумаги. Минут через десять Горячев вышел из-за некрашенной перегородки.

Когда-то высокопоставленный генштабист, «академик», а сейчас командарм, Горячев любил чистоту, тихий голос, спокойную вежливость. Невысокий, худой, с морщинистым лбом и со впалыми, будто втянутыми, чисто выбритыми щеками, с квадратной щеткой седоватых усов, он разглядывал Шерстобитова недовольно, но очень внимательно: будто видел впервые. Привычная, уже ставшая его плотью и кровью, спокойная строгость светилась в усталых глазах генерала синеватым, безрадостным, сдержанным блеском.

Командарм пропустил Шерстобитова на свою половину избы и, плотно нажав крепкой сильной ладонью на дверь, прикрыл ее и прошелся по комнате, пожевал очень тонкими, обескровленными губами. Но спросил не о мертвом курносеньком лейтенанте, как ждал Стенан Митрофанович, а совсем о другом.

— Ну, так что у вас там с Александровкой? Вы думаете ее брать или нет?— Командарм неожиданно почему-то возвысил свой тонкий, надтреснутый голос. Глубокие складки возле носа и рта у него напряглись, отчего все лицо сразу стало брюзгливым и старчески некрасивым.— Вы задерживаете всю армию... Может, мне поднимать ваши цепи в атаку?

— Я докладывал вам: нет снарядов, отстали тылы...— начал было полковник, но Горячев его перебил.

— Не о том вы докладываете, полковник, вот в чем дело!— с неприязнью, рассерженно сказал генерал-лейтенант.— Неудача истекшей недели происходит по вашей вине! Вы утратили чувство ответственности, разучились разгадывать замыслы противостоящих вам войск... Где приданные вам танки?

Не глядя в лицо командарму, а глядя на косо обрезанный воротник его кителя с нашитыми звездами, Шерстобитов ответил как можно спокойней, стараясь сдержаться:

— Приданный мне танковый батальон оказался не укомплектованным ни техникой, ни людьми. К тому же он без горючего, без снарядов. Во вчерашней атаке один танк попался в ловушку. Два подбиты, сейчас ремонтируем.

— Вот вы все пытаетесь оправдаться,— опять раздраженно

сказал генерал.— А ваш правый сосед наступает! Значит, тот, кто захочет добиться успеха, добьется его?!— Командарм строго вскинул сухой, чисто выбритый подбородок.— Вы сегодня должны были взять Стоколос. А находитесь где? Под какой-то не значащей ничего Александровкой! Почему до сих пор не приняты меры?

Шерстобитов смолчал. Он с горечью, иронично подумал, что, возможно, вот так с генерал-лейтенантом разговаривал сейчас сам командующий фронтом. А вернувшись в дивизию, Шерстобитов будет так разговаривать с вызванными им командирами полков. А те — с командирами батальонов...

— Ну, чего вы молчите?

— Я докладывал вам, товарищ генерал-лейтенант,— твердо глядя в лицо командарму, сказал Шерстобитов.— И сейчас подтверждаю. Противник усиливает сопротивление. Укрепляет позиции. Особенно много подошло артиллерии, танков...

— Ну и что? А вы думаете, враг будет сидеть сложа руки и ждать, пока вы подойдете? Дорогу уступит?

— Нет, я этого не думаю. Он отводит войска, отступает к тылам, на заранее подготовленные позиции, а мы отрываемся от своих тылов, уходим все дальше и дальше...

Шерстобитов давно полагал, что движение войск замедляется не случайно. Что-то словно сломалось в налаженном механизме войны. Наступление выдыхается действительно потому, что устали войска, нет снарядов, продовольствия, фуража. Что в полках большие потери в людском составе и в технике. И разведка бездействует из-за сильных заносов, метелей... И нет авиации. А противник — как знал, что февраль будет солнечным, а не вьюжным,— подтянул эскадрильи. Группируется на ответственных направлениях... Наступление выдыхается и потому, что Горячев чего-то не видит, не знает. А попробуй ему объяснить, тут хорошего разговора не будет. Генерал в ответ на поставленные вопросы принимает лишь два слова, положенные по уставу: «Так точно!» И не терпит, заранее отвергает такие же существующие в природе, узаконенные «никак нет!». А ведь это живая армейская диалектика...

— С ходу взять Александровку невозможно, товарищ командующий,— сказал Шерстобитов решительно, твердо.— Я за эти слова головой отвечаю...

— Ну?! Вот как?— Горячев так стремительно, резко повернулся, что щелкнули каблуки. Усмехнулся, спросил:— Ответаете, значит? А я и не знал! Хорошо. Ну вот вы и ответите... Я поеду в дивизию сам. Посмотрю. И уж если увижу...— Что

последует, если Горячев увидит какой-нибудь непорядок в дивизии, Шерстобитов знал, но он вдруг почему-то стал спокойнее, даже обрадовался предстоящей поездке. Да, пусть сам поглядит. Может быть, убедится...

4

Они сели в вездеход командующего. Сзади, на второй машине, поехали горячевский порученец, толстый, лысеющий капитан, и тихий, всегда всем довольный, веселый шерстобитовский Венька Двойных. С ними сели и автоматчики из охраны командующего. Позади порожняком тащились легкие санки полковника. Они скоро отстали.

Дорога вилась по равнине, окаймленной синеющим лесом. Тут и там из-под снега торчали кусты краснотала, ольхи, молоденькие сосенки. Впереди небольшой, но заметной грядой тянулись то обдутые ветром, оголенные, то заросшие лесом холмы, за которыми пулеметы, как отбойные пневматические молотки, что-то рушили, обгрызая, обкалывая и растачивая на куски, означая самым этим треском, и рушеньем, и тацанием линию фронта.

Вдоль дороги, то справа, то слева, под снегом чернели разбитые немецкие танки и пушки, сожженные грузовики, опрокинутые повозки — все то, что обычно сопутствует поспешному отступлению вражеских войск перед сильным и мощным ударом наших армий с востока. Но потом среди сорванных башен с крестами и растянутых змеями гусениц танков, среди черных от копоти, торчащих вверх колесами немецких штабных автобусов и легковушек, покореженных и занесенных сугробами орудийных лафетов появились и наши полуторки и трехтонки, наши танки и пушки — измятые взрывами, с пробоинами на боках — свидетельство всевозрастающего сопротивления немцев, как бы некая диаграмма роста наших потерь.

Сидя рядом с шофером, Горячев рассматривал эти следы всевозрастающего вражеского успеха с двойным горьким чувством: с сожалением и неприязнью. Он критично, рассудочно думал о том, что фашисты за последние дни два или три его, старика, обманули. Отступая, противник иногда выставлял на пути у Горячева лишь одни огневые заслоны, но столь плотные, что Горячеву думалось: это главные силы врага. А действительно главные силы его в это самое время без помех отходили, отрывались от преследующей подвижной груп-

пы войск. Уходили на запад, закреплялись на новых, заранее подготовленных рубежах. И тогда приходилось опять прорывать оборону фронтальным ударом.

Уже несколько позже, разобравшись в несложном, но коварном тактическом этом приеме, генерал научился врага упреждать. Но теперь диктовать новый ритм наступления было, в общем-то, уже нечем...

Александровка... Двести дворов. Самый центр наступления его армии. Шерстобитовская дивизия, утонувшая в многослойных снегах перед укреплениями немцев в Александровке, находится на армейской штабной карте на самом остром мощной красной стрелы, нацеленной далеко к немцам в тыл. За этой прочерченной красной стрелой — и бессонные ночи с начальником штаба, и боль за пылающие там, на западе, деревеньки, и думы о будущем, о счастливых, еще не родившихся поколениях. Ведь не выгони сейчас фрицев из Александровки — с плешивой высотки, перерезанной надвое глубоким оврагом, — и у фашистов надолго, возможно до самой весны, будет явное преимущество: хороший обзор в нашу сторону километров на двадцать, удобный уступ, изгибающий линию фронта, как плацдарм для диверсий и вылазок, а потом, в дни весеннего наступления, — для короткого, упреждающего удара во фланг и под корень. И вообще вся война, может быть, зависит от того, сколько встретится на пути у солдат вот таких Александровок.

Генерал-лейтенант со старческим чувством глубокой печали почему-то подумал, что опыт, который им добыт в этих первых боях наступления армии, никогда и никем не оценится позже. Ведь всякий, кто будет смелее и решительнее воевать, не оглянется на Горячева, полагая, что смелость его и решительность — его собственные, не зависящие ни от кого, а только лишь от таланта, от военной удачи.

«Оттого молодые и глядят на нас, стариков, так презрительно, — размышлял генерал, вспоминая свой только что состоявшийся разговор с Шерстобитовым, — что приписывают результаты наших поисков и свершений себе. Им-то кажется, что они без подсказки, своими собственными извилинами до всего добрались. Нет, голубчики! Трагический опыт ошибок, он тоже чему-нибудь учит. Может, именно он и приводит к победе, а не чувство уверенности в себе, ощущение легких успехов...»

Они ехали, то взбираясь на скаты высоток, то спускаясь в заснеженные лощины, где машины в разъезженных колеях буксовали, и тогда им обоим, Горячеву и Шерстобитову, приходилось выходить на колючий пощипывающий мороз, ждать, пока проходящие пехотинцы и охрана командующего не вызволят из сугробов, не подтолкнут. Шерстобитов при этом охотно участвовал в случающейся суматохе, он как будто доказывал свою ловкость и силу: работал лопатой, наваливался плечом, подпирая машину, смеялся с бойцами, но, как только садился на место, опять умолкал, хмурия брови.

Наконец они выехали на большое, широкое поле, изрытое множеством черных воронок. Где-то близко ударился и взорвался тяжелый немецкий снаряд.

Шерстобитов при звуке разрыва снаряда заметно обрадовался, оживился, глянул в мутное боковое оконце машины, объяснил командарму:

— Дальше ехать нельзя. Надо будет оставить машину, а дальше пешком.

— Хорошо. Вы хозяин, ведите,— сказал командарм.— Но не в штаб, а на ваш наблюдательный пункт.

Шерстобитов рукой указал направление шоферу. Тот съехал с дороги по вешкам и вскоре остановился на опушке соснового леса, в укрытии, огороженном свежесрубленными хвойными ветками.

Командарм и комдив пошли лесом, в обход, по узкой, виляющей среди сугробов тропинке, след в след. Сзади двинулись Простяков, Двойных, автоматчики. В одном месте, на маленькой тихой поляне, Шерстобитов сказал генерал-лейтенанту:

— Здесь пригнитесь пониже, а то снимет снайпер...

Но сам не пригнулся, пошел во весь рост, на что генерал-лейтенант только коротко и презрительно фыркнул. Сучья старой сосны, колючие голубые хвоинки, пленки белого моха и перистые мутовки с верхушек деревьев, обломки отбитой смолистой коры, еще пахнущей свежим соком, валялись вокруг как свидетельства точности глаза вражеского снайпера. Лес, изреженный артобстрелом, тоже мог бы кое-что рассказать на своем языке. Он сквозил там, вдали, и спускался заснеженным скатом к лощине, по краю которой тянулась высокая снеговая стена. Это были уже батальоны и роты дивизии Шерстобитова.

— Не сюда, Александр Николаевич,— сказал торопливо

полковник, когда генерал повернул было вбок, по тропинке. — Нам нужно направо. — Наблюдательный пункт был расположен на территории третьего батальона, у хозяйственного, осторожного Дугинца. Да и противник здесь вел себя поспокойней, потише.

— Хорошо, Степан Митрофанович, слушаюсь, — проворчал суховато Горячев, но уже с ироническим, а не ядовитым смешком, слегка шевельнувшим квадратные усики. В двух шагах от врага истончалась та плотная, прочная, хотя и невидимая преграда, которая так устойчиво их разделяла уже долгое время — впрочем, видимо, как и многих других людей их возраста и их звания. Их еще разделила дорога, далеко отнесла друг от друга, каждый был глубоко погружен во что-то свое, неподвластное находящемуся рядом, заповедное, тайное. Громыхавшая впереди, за зубчатой извилиной леса, война не мешала, а скорей помогала уйти в это тайное, оценить его полной мерой.

Приближаясь к переднему краю, генерал-лейтенант как будто стряхнул с себя озабоченность и усталость. Он шел по тропинке, куда более похожий со спины на курсанта или на пехотного лейтенанта только-только с курсантской скамьи, чем на старого командарма, не будь на нем генеральской бекеши и седеющей, заиндевелої папахи да на поясе в деревянной лакированной кобуре трофейного маузера. Шаг был бодрый, широкий.

Горячев пружинисто, весело, с легкостью перепрыгивал через срубленные деревья, обходил глубокие, занесенные снегом воронки, но, увидев вдали землянки и ровики возле них, а затем и окопы — это был адский труд бойцов: прорубать ломами на виду у противника, кирками раскалывать ледяную, похожую на бетон, замерзшую землю, — сердито спросил:

— Это кто же вам разрешил перейти к обороне? Ишь нарыли, кроты!

— Нужда заставляет, товарищ генерал. Война! Снаряды летают.

— Враки... что кашляют раки! — пробурчал командарм, обращившись и не улыбаясь. Но худое морщинистое его лицо покраснелось, ожило, в нем все расцвело. Было видно, что он уже чем-то смягчился и искренне рад этим звукам войны, доносящимся из-за леса, и духу опасности, наконец-то коснувшемуся и его самого. Разделенность опасности, риска — великое чувство, и Горячев открыто, даже с долей наивности ликовал, ощутив себя рядом с бойцами, застывшими у пулеметов.

«Ладно, будь по-твоему,— недовольно, но все же смиряясь, решил Шерстобитов.— Придирайся. Кляни! За одно только это тебе все прощу, что солдат. Настоящий солдат! Без прикрас. Без подделки!»

Показывая на темнеющую вдалеке Александровку, Шерстобитов сказал:

— Сейчас немцы нервные, бьют без разбора: на голос, на стук топора, на ржание лошади. Закури, чиркни спичкой, особенно если в морозную ночь, когда слышимость лучше,— палит как шальной. Вы, пожалуйста, двигайтесь осторожней, потише... Может быть, возвратимся на КП?

— Ведите, куда я приказал! И, пожалуйста, без советов...

Они вышли к заросшей высокими старыми елями неширокой поляне и по чахлой, из нескольких жердочек слепленной лестнице поднялись на «куриный насест» — так здесь называли запасной наблюдательный пункт, сколоченный из лесин и жердей и укрепленный в развесистой кроне дерева. На этой площадке иногда дежурили офицеры из штаба дивизии, разведчики, ведущие наблюдение за противником, изучающие его оборону, артиллеристы, корректирующие огонь. Иногда сюда забирался и сам Шерстобитов.

Полковник и генерал-лейтенант оба разом подняли бинокли, разглядывая на бугре заметенную снегом по самые крыши недоступную Александровку.

— Вот, глядите,— сказал Шерстобитов,— как они подготовились к обороне. На колокольне у них наблюдатель. Все каменные дома превращены в долговременные огневые точки. В амбразурах — где пушки, а где крупнокалиберные пулеметы... И везде, где могли, укрепились, укрылись. Деревянные дома обложили лесинами, бревнами, присыпали снегом, землей, а сверху облили водой. Между домами ходы сообщения. Почти каждую ночь появляется что-нибудь новое: вон сарай, а в нем танк...

Генерал недовольно поморщился. Наблюдая за линией фронта с привычным вниманием пехотинца, он сейчас отмечал в ней все мелочи, все особенности этой длинной лощины, разделяющей Александровку, лесистых холмов позади и высокой плешины, над которой возвышалась красивая белая церковка. Занесенные снегами сады, огороды и выпасы в окаймлении кустарников были тихи, безлюдны.

— Что? Колючая проволока?! Завалы?..

— Да. И все вокруг сплошь заминировано... Укрепляются так, как будто хотят здесь сидеть до весны...

— А что у них в поле, за ригой?

— Разведка доносит — там ловушки для танков. Они ждут наступления наших войск вот отсюда. Смотрите, какие накаты на блиндажах! Минометы, орудия. Противотанковых батарей натащили. Видно, их беспокоит вон то дефиле. Они тоже, наверное, понимают, что именно с этой низины мы можем ударить.

— А в системе огня у них нет слабину? Ну вот здесь, у оврага? Смотрите, как дзоты стоят далеко друг от друга...

— Да. Я нынче проверю...

— Просмотрите всю местность, пошлите разведку, пусть изучит подходы, — сказал генерал. — Александровку будем брать. Это нужно понять и запомнить.

И он вдруг замолчал, погрузившись в какую-то важную, трудную думу, обозначив на лбу перекрестье морщин. Он представил себе, как будет докладывать штабу фронта свое новое, неожиданное решение и как это примут там. И подсчитывал заодно, сколько нужно будет перебросить сюда орудий, снарядов, пригнать маршевых рот для того, чтобы сдвинуть, столкнуть наконец укрепившегося противника. И чего это будет стоить, например, хоть тому же упрямому, непоклонному человеку, молчавшему рядом.

Командарм зорким взглядом скользнул по красивому, смуглому лицу Шерстобитова, изучая его. В свои тридцать шесть лет этот стройный полковник был в армии, пожалуй, самым талантливым и удачливым командиром дивизии. Но, как говорили завистники, и самым отчаянным «необъезженным» гордецом, закоперщиком разного рода выдумок и причуд.

Шерстобитов в дивизии, как рассказывали Горячеву, был не только грозой, но и общим любимцем, героем. И ему все прощалось в солдатской среде: и безудержный взрывчатый гнев, и порой неуместная лихость, когда сам мог поднять батальон или роту в атаку. Или въехать в деревню, еще занятую фашистами, вместе с десантом на танке. Прощалась ему и известная доля картинности в одежде: то нарядная щегольская венгерка, опушенная мехом, то черная кавалерийская бурка, очень ладно сидящая на плотной, красивой, высокой фигуре полковника, а то перетянутая ремнями простая солдатская, обожженная у костров на привалах шинель.

В дивизии знали: где черная бурка полковника или эта шинель, там и счастье удачи. Там все начинает вертеться быстрее. Там отважнее, энергичнее бойцы. Там плотнее, эффектнее

тивней огонь поддерживающих орудий. Там верней, а поэтому, значит, бескровней для наступающих решение штаба.

Один только Горячев никогда не прощал Шерстобитову ничего. Впрочем, как и себе самому. Вот только сегодня, увидев полковника чуть поближе, сперва в дороге, потом на сосновом, шевелящемся при каждом движении «курином насесте», командарм вдруг с невольно возникшей досадой подумал: да ведь он еще молод! И дерзость его, и ошибки — от избытка здоровья, от радости, что ли. От желанья двигаться. Он и жизни еще, наверное, не знает, мальчишка. Вот скажи ему: не идти в наступление на Александровку, и он будет счастлив. Как будто сейчас это самое легкое, будто это выход — не идти в наступление, а нарыть в земле нор, перейти к обороне. Все равно не кому-нибудь, а ему же по весне подниматься и идти во весь рост по обтаявшим минам... И потом в эти годы... Разве знает он, разве может понять все пружины решений? Разве думал когда-нибудь, что в душе у Горячева днем и ночью ведется постоянная невыигрываемая война со своим собственным опытом, с чувством долга, со своими же замыслами и их исполнением? Не-ет, куда... Разве он понимает? Слишком молод, горяч. Еще, верно, влюбляется в подчиненных девчонок. Вон еще и сединочек нет, чуб каштановый вьется, а глаза — то ли синие, то ли серые с голубизной — как холодные, из-под корочки льда чуть проклюнувшиеся цветы. Горячев не вспомнил названия этих цветов, но представил отчетливо: он их с детства любил.

Сейчас он глядел с наблюдательной вышки на немцев, припавших, наверное, в эту пору к таким же биноклям и стереотрубам с той же мыслью, но только направленной против него. Потом перевел взгляд на еле заметную среди сугробов нитку траншей, змеившуюся вниз, на каски пригнувшихся красноармейцев, на стволы пулеметов. Люди мерзли в снежных окопчиках, прижимаясь друг к другу, чтобы как-то согреться, к низким нишам под бруствером.

Да, война есть война. На войне убивают. Это так.

Это страшно и, в общем-то, никогда не уложится в голове, никаким, самым мощным усилием мозга не проникнешься, не осознаешь, как может случиться такое: вот ты жил и смеялся, кого-либо любил, ненавидел, но какая-то рваная, вся в зазубринах небольшая железина, не замеченная тобой, вдруг летит — и ты ранен, не ранен — убит, ты не дышишь, не чувствуешь, не понимаешь. Тебя больше нет на земле и не будет уже никогда; все, кто знал тебя и любил, уже видят лежаще-

го не тебя, а что-то бездыханное и безгласное, ничего не чувствующее, не понимающее, по безмолвности, по отсутствию чувства, по безжизненности куда более близкое камню, дереву, глине, земле, чем живому человеку.

Это самое страшное, что может случиться с тобой.

Но, однако же, существует и еще нечто более горькое, куда более страшное, чем смерть одного, даже лучшего человека. Рабство целых народов, духовная смерть, ежечасное, ежедневное подчинение чужой, вражеской воле, привычка к утрате чувства собственного достоинства, готовность продаться за сытный кусок — разве это не хуже физической гибели?!

Да, ему, генералу, доверили жизни этих людей. Хоть того же стоящего рядом с ним Шерстобитова. Он может послать их вперед, на колючую проволоку в три кола, на завалы, на танки, через разбитые минами и снарядами полыньи на реке, на огонь пулеметов. Он может заставить их бежать под настильным и перекрестным огнем, на голые скаты укрепленной высоты. Может все.

Он не может лишь одного. Не послать. Сохранить им их жизни без смертного боя. Только этого он не может.

Как не мог не послать его сюда, в армию, командующий фронтом. Как не мог не послать командующего фронтом сам Верховный Главнокомандующий. Как их всех, вместе взятых, не могла не послать на мучения и радость величайшей ответственности сама Родина.

— Пойдем к людям, в окопы, — сказал генерал.

Они с Шерстобитовым осторожно, стараясь не демаскировать наблюдательную площадку, спустились по лестнице и тщательно отряхнулись от прилипших хвоинок и пленок бересты, потоптались под деревом, согреваясь, закуривая из горячевской пачки «Казбека», и вдруг словно оглохли. На лес, на окопы, на белое, занесенное снегом предполье обрушился шквалистый грохот. Немцы били из орудий всех видов и всех калибров, не жалея снарядов. И сразу умолкли. Как будто бы только лишь для того, чтобы выяснить, посмотреть: а что получилось из этого? Как он там реагирует нынче, русский Иван?

Но Иван промолчал. Шерстобитов отдал приказание не отвечать на обстрел.

Когда наконец все затихло и дым от разрывов улегся, Горячев и Шерстобитов по узким ходам сообщения спустились к окопам переднего края.

Здесь все было изодрано, покорежено, измочалено и разрушено в прах.

Говорят, что бомба или снаряд редко попадает в одно и то же место. А здесь воронка наваливалась на воронку, сцепляясь друг с другом, превращаясь в какую-то закопченную, с перепаханными краями загогулину, сыпучая оспина налеплялась на оспину. Все сливалось — земля, снег, волнистая гарь разрывов — в рябое рядно. Поземка, опять заметавшая там, в тылу батальона, колеи и неровности снежных дорог, бугорки на нагоптаных сапогами тропинках, перед этим рябым, издырявленным рядном была вроде бы как и бессильна.

Генерал шел прорытыми в толще снега, обдуваемыми метелью извилистыми коридорами и приглядывался ко всему озабоченно и внимательно.

— Как фамилия? — спрашивал командарм у солдата, приникая и трогая его за рукав, глядя в глубь замороженных, заледенелых зрачков острым, властным пронзительным взглядом. — Давно в армии? Где до этого воевал? Под Москвой? Ну! В полку Танасчишина говоришь? Знаменитый, брат, полк. Ну-ну, не замерзни! — и шел дальше, к другой побелевшей от снега ячейке.

Здесь, в окопах, он словно бы распрямился, сыпал шутками, говорил:

— Что, фашист укрепился? А куда же ты, братец, глядел? Ну-ну, ничего, погоним, погоним, — и смеялся, веселый, довольный.

— Чаше, чаще поглядывай за противником... Изучай, что он делает. Опасение — половина спасения!

Генералы перед сражением, отнимающим у человека жизнь, равно как и хирурги, дарящие жизнь человеку, имеют то общее, что они всегда говорят с окружающими грубовато, весело, громко, слегка свысока и всегда панибратски, словно рядом стоящий солдат, приготовившийся сражаться в предстоящем бою, и измученный тяжелой болезнью больной, лежащий на прикрытый стерильными простынями операционный стол, уже не имеют больше ни тайн перед ними, ни собственных судеб, ни права остаться вне великой их власти.

Что-то схожее с таким вот хирургом было, собственно, и в Горячеве, но, с одной стороны, уже вроде бы смягчено то ли возрастом, то ли множеством пережитых им войн, а с другой — даже как бы усилено, ибо он оживлялся и веселел теперь уже искренне, от глубокого понимания этих сумрачных,

перезябших, небритых людей в грязных серых шинелях. Он не мыслил ни счастья, ни жизни без этих окопов и стрелковых ячеек, без бесчисленных закопченных молодых или старых, морщинистых лиц, за угрюмостью, равнодушием или спокойствием которых иногда постороннему глазу незаметна действительная готовность сражаться и умереть и которая — одна — лишь и приносит победу.

Генерал уже знал, что русский солдат, если он не мальчишка и не действует напоказ, зачастую не очень-то ловок и невиден на внешность, даже как бы ленив и держится так, как если бы у него никогда не бывало и не будет возвышающих душу, особенных мыслей. Но беда ждет того, кто не знает, в чем сила такого солдата, считал командарм. И сила его не только в нем самом, в советском бойце, а еще и в той древней земле, на которой он вырос, в той спрессованной многолетием истории, что досталась ему по наследству от дедов и прадедов. И цена ему, этому человеку, существует не отвлеченно, не сама по себе, а лишь только с землей, по которой он ходит. И враги тоже знают, как значителен он и велик, когда защищает великую свою землю.

Горячев шагал узким ходом сообщения, задевая за глинистые мерзлые стены плечами еще не обношенной генеральской бекеши, и, встречая такое вот все понимающее, но ничего не выражающее солдатское лицо, веселел, кровь бежала быстрее в его старческих жилах, молодила его.

— Ну, чего пригорюнился? — спрашивал он у застывшего пулеметчика. — Гляди веселей! Смирную собаку и кочет бьет!

Вскоре снова над полем начали высвистывать длинным режущим свистом небольшие снаряды, и земля словно вздергивалась в одном месте на конус, потом этот конус темнел, разбухал, глухо, ватно клубился и с шорохом рассыпался, ложась комьями в одну сторону.

Шерстобитов с волнением все поглядывал туда, на запад, чутко слушая в перерывах холодную тишину. Он хотел задержать генерала, не пускать его дальше, заслоняя собою дорогу, но тот осторожно подталкивал командира дивизии в спину, повторяя спокойно:

— Ну, пошли же, пошли... Ну, чего испугался? Да, а что это там у него за бугром?

Загораживая собой генерал-лейтенанта, Шерстобитов слышал не свист — потому что сейчас он не слушал работающую батарею противника, а поэтому не отсчитывал механически каким-то таинственным органом, сберегающим человека,

те коротенькие секунды, которые следуют после выстрела, тот коротенький промежуток между выстрелом и шуршанием, по которому можно узнать направление полета снаряда,— а услышал лишь только движение воздуха, почувствовал кожей лица всю сухую, горячую сжатость, которую производит снаряд, приближаясь. Успел только тяжестью своего тела сбить командарма с ног, навалиться, прижать его крепко к земле.

Глухой вакуум взрыва лишил его голоса, слуха.

Прошел миг, пока генерал наконец приподнялся и стряхнул с себя оглушенного Шерстобитова, при этом Горячев обижено проворчал:

— Фу, черт! Раздавил...

В ответ Шерстобитов с усилием привстал:

— Простите... иначе бы не успел! Я за вас отвечаю здесь...— И немотно откинулся к стенке окопа. Вся левая половина его тела как будто бы затекла, онемела, а жилки в руках и ногах непроизвольно дрожали. Он закашлялся, вытер слезы ладонью.

Порученец Горячева и автоматчики не поднимались. Шерстобитов окликнул Простякова, потом перевернул его на спину. Вместо глаз, носа, рта была черная кровоточащая рана, и он тут же положил его обратно, в той же позе. Лицом вниз. Автоматчики тоже были мертвы.

Шерстобитов глазами искал уже Веньку Двойных. И тот, словно услышав безмолвный призыв, быстро выскочил из-за изгиба хода сообщения, отряхивая о колено изорванную осколками щегольскую кубанку.

— Во дают!— крикнул он, скаля белые зубы. Но, увидев лежащие неподвижно тела автоматчиков, осекся и строго сказал командиру дивизии: — Товарищ полковник, а вам дальше нельзя! Я вас не пущу! А тем более генерала,— сказал он с той привычной развязностью, с какой только и можно было сейчас обращаться к оглушенным, растерянными людям, значительно старше его по званию.— Все! Айдате назад!

Генерал-лейтенант повернулся и, немного прихрамывая, покорно пошел по вонючему от пороховых газов снежному ходу сообщения к штабной батальонной землянке. Он тоже, наверное, оглох, и папаха его, отброшенная взрывной волной и поднятая Шерстобитовым, была вся исклевана небольшими осколками и теперь некрасиво дырявилась. Генерал то и дело прикладывал к уху ладонь, хлопал по уху, по виску, тряс головой: глухота, как вода, не давала пройти окружающим

звукам. И он, чтобы услышать, теперь поворачивался к говорящему одной стороной, держа как-то с усилием, даже несколько деревянно свою узкую седоватую голову.

6

День клонился к закату, когда генерал покидал третий батальон.

Горячев устал и замерз, но от чая, а тем более от обеда и водки, отказался наотрез. Высокие дуги бровей и низко опущенные углы рта придавали лицу генерала выражение холодной брезгливости, недовольства, чего не было в нем на самом деле, а была лишь работа, движение мысли, энергичной и напряженной. Командиры устало и хмуро тянулись под взглядами генерала, на отрывистые вопросы Горячева отвечали неловко и сбивчиво и при этом слегка пожимали плечами, переглядывались: чем они перед ним провинились, отчего генерал недоволен? Лишь один Шерстобитов по мере продолжения этой странной беседы становился уверенней и спокойней, словно что-то увидел и понял для себя навсегда.

Канонада усилилась.

Немцы словно почували присутствие на позициях какого-то крупного военачальника — по усилившемуся хождению красноармейцев и групп командиров, по тому, что в ответ на отчаянную стрельбу шерстобитовская артиллерия и минометы не отвечали. И это, наверное, заставляло вражеских наблюдателей и корректировщиков опять и опять, в сотый раз припадать к окулярам биноклей и стереотруб, обдумывая и выискивая причину такого молчания. Для этого они снова и снова включали свой дьявольский истребительный механизм: сперва, как пускач, трещал где-нибудь с фланга «maschinen-gewehr», от него заводилась, приходила в движение и даже в экстаз и вся динамическая машина современного боя с его техникой убивания: все стонало, гремело, засвистывало, завывало. Взлетали ракеты, еще тусклые в блеклых сумерках февраля, еле видные с их таинственным фосфорическим мертвенным светом, снег вздырался на поле уже не отдельными конусами, а вставал черным лесом, налет следовал за налетом. Потом все затихло.

— Ну все. Фрицы ужинать пошли, — объяснил поведение врага, повеселев, Дугинец. — Отстрелялись!

Генерал приказал продолжать наблюдение за батареями фашистов. Сам он стал собираться, поискал свои вареники, не

нашел — где-то выронил после разрыва снаряда. Шерстобитов кивнул Венке, и тот подал Горячеву меховые, полковничьи.

— Я хотел бы забрать тело Простякова. И проститься... — сказал вдруг Горячев негромко. И добавил, боясь, что его не поймут: — Ну, с теми, которые шли вместе с нами. Где они лежат?..

Шерстобитов немного замялся:

— Что ж, пойдете...

7

В лесу, за землянками, они вышли к оврагу. Там плотной стеной, серым кругом, спиною к идущим, стояли солдаты и что-то рассматривали на земле. Кто стоял, опершись на винтовку, а кто — на лопату.

Генерал и полковник вошли в этот круг в тот момент, когда трупы убитых уже были уложены на дно старой воронки. Теперь их закидывали каменистой землей, перемешанной пополам с перегноем, пластами хвои и комьями снега. Снег и глина шуршали, соскальзывая с лопат. Было слышно дыхание многих людей, напряженно работающих, торопящихся сделать скорей свое дело.

Никто ничего не сказал.

Генерал-лейтенант постоял над воронкой, сняв папаху.

Он давно уже не испытывал скорбных чувств над такими воронками, ямами, над траншеями, забитыми трупами, ибо знал и другие жестокости жизни, еще более страшные, чем гибель в открытом бою. Но сегодня что-то дрогнуло в нем. Может быть, потому, что снаряд разорвался совсем рядом, и он тоже лежал бы здесь или где-нибудь в другой мерзлой яме, не свали его с ног Шерстобитов.

Но он тут же рассудочно, веско подумал, что задерживаться на этом мыслью нельзя. Наверное, не случайно всю жизнь, через все войны — через первую мировую, гражданскую, Халхин-Гол, потом финскую, теперь Великую Отечественную — генерала вела какая-то сила, может быть, жизнелюбие, оптимизм, а может быть, то, что иные зовут эгоизмом; эта сила оберегала его сознание и сейчас: дальше, глубже вникать в это темное, страшное он не может. Нельзя. Для того чтобы жить, а в конечном итоге обязательно победить хитроумного и жестокого, злого врага, нужно думать о жизни. О том, что так важно сейчас для живых.

Чуть покашливая — в легких саднило от вонючего газа взрывчатки, — генерал склонил голову над сровнявшейся мерзлой землей. Обернулся и сурово сказал Шерстобитову:

— Обязательно, не откладывая, сделать надписи на могиле. И отметку на карте, где зарыты и кто. И следите всегда, чтобы не было безымянных могил...

— Слушаюсь, товарищ генерал!

— Пусть сейчас же напишут родным. А я подпишу

— Хорошо...

Отойдя от могилы, Горячев сказал:

— Немецким распорядком дня не обольщайтесь. Они сорок раз пойдут пить кофе ровно в одиннадцать или ровно в двенадцать, а на сорок первом разе устроят налет. Это видимость регулярности, а вернее — ловушка. И вообще не рисуйтесь особенным знанием всякой видимости. Гораздо важнее узнать, что враг прячет...

— Я понял...

— Да ну? Хорошо, что вы поняли! — пробурчал генерал. — А по-моему, вы на то и поставлены здесь: понимать. — Он взглянул на окопы за линией фронта. — Нужно действовать, не сидеть. Быть всегда, повсеместно активными. Хорошо бы прощупать в направлении Шестопаловский лес, Стоколос. А тогда и придумать, как нам наступать. Александровку все равно придется брать именно вам. Ничего не поделаешь. Ну а мне надо ехать. — Он с неловкостью вздернул сухое плечо. — Прощайте, Степан Митрофаныч.

Шерстобитов почти отвернулся, боясь, что Горячев увидит, как вздрогнули его губы: это сделалось непроизвольно. Почему-то Горячев всегда говорил это странное, старомодное слово «прощайте!». Словно знал, что когда-нибудь — а сейчас, на войне, так в любую минуту — оно будет действительно означать не обычную вежливость при расставании, а последнюю просьбу уходящего от людей человека. «Извините... Простите за все. Не ставьте в вину...» Шерстобитова это всегда глубоко волновало.

Он крепко пожал руку Горячеву, повернулся и пошел назад, к землянке опечаленного Дугинца: комбату 3 от Горячева нынче крепко попало, и он глупо, растерянно улыбался, не зная, что делать и что нужно при этом генералу сказать.

Шерстобитов задумчиво шел по сугробам по дороге к землянке — и вдруг встал, опять вспоминая пережитое за день, обдумывая его.

Неприязнь к командарму давно назревала в нем, как парыв, как болячка, все натягивалось внутри, а сейчас это лопнуло, и теперь на душе было жарко и сухо, так что тело болело.

Он впервые увидел вблизи эти выцветшие, очень умные, понимающие глаза и подумал, что поездка с командующим была для него роковая. Да, он так и сказал про себя: «роковая». Она теперь свяжет его и Горячева общей мыслью о будущем наступлении, общей трудностью этого наступления, а поэтому — общей тревогой. И что он, Шерстобитов, уже никогда не позволит себе относиться к худому, морщинистому человеку со звездами на кителе с прежним чувством усталого безразличия, раздраженности или скуки. А особенно после совместного стояния над воронкой. Когда Шерстобитов нечаянно оглянулся и увидел лицо командарма, а в лице ту же самую твердость и властность, что и всегда, но еще и растерянность, и волнение, и живое желание помочь, и бессилие что-либо сделать.

Шерстобитов стоял под деревьями и хмуро глядел за окопы, на запад. Шестопаловский лес, Стоколос! Да попробуй к нему подойди! Самый лучший разведчик в дивизии Валька Яманов — и тот не прошел в Шестопаловский лес. Надо местного жителя... Лесника, старика... А их, местных жителей, из прифронтовой полосы всех повыселили во избежание жертв. Разве где в Суховершине поискать?

Вдруг его неожиданно обожгла жаркая, ослепившая мысль: Лида! Вот кто! Она!.. Нет, действительно, если ее послать? Она местная, знает...

Он резко, решительно повернулся, крикнул Веньке Двойных:

— Веня! Быстро ко мне! — Когда тот подошел, объяснил: — Закладывай в санки орловцев, поезжай в Суховершино. Привези медсестру Лиду Буканову. Ты знаешь ее... Но только смотри, чтобы Гусев ни-ни!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Теперь по утрам, просыпаясь, Сергей широко улыбался. Потому что у печки, или возле поленницы дров, или возле прибывшего ночью раненого в свете желтого огонька самодельной коптилки всегда видел Лиду. И Лида невольно огля-

дывалась на Большакова и тоже ответно ему улыбалась. Потому что уже не могла не ответить ничем иным на это живое, такое огромное, откровенное излучение счастья. Оно против воли чем-то радостно и глубоко задевало ее.

Георгий Антонович Гусев тоже, видимо, это заметил. Однажды во время обхода спросил:

— А что, медсестра? Большаков генерирует в вашем присутствии свою радость почти непрерывно, а? Тогда подключить его в сеть — и пусть светит. А коптилочку потушить за ненадобностью...

— Что вы, что вы! — Лида, бегая по палате, впервые за долгие дни засмеялась. — Это как-то не очень надежно. Ну и будет единственный источник света! А по-моему, два — так надежней, светлей...

Гусев, глянув на Лиду, задумчиво помолчал.

— А вам нужно, чтобы обязательно было два, как вы говорите, источника света? Не слишком ли много? — Покачав головой, наклонился над Большаковым. — Вот так-то, майор! Не гляди, что молоденькая. Понимает поболее нас, стариков. А мы-то с советами...

Сергей засмеялся, хотя рана при этом опять вдруг напомнила о себе.

— Не рассмеивайте, пожалуйста, а то швы разойдутся...

— Ничего... Заживет! Это... самое главное в нашей работе. Как больной засмеется, так знай: станет на ноги. Смех великое дело!

По ночам, когда все засыпали — и с ранением в череп, и в легкие, и в живот, — Лида шла к койке Большакова и садилась в ногах (теперь все раненые стараниями Лиды лежали на койках, на толстых матрасах, набитых соломой), и они разговаривали до утра. И Сергей удивлялся: с Лидой было легко. Совершенно не так, как с другими девочками.

Несмотря на большой уже жизненный опыт — командиры на фронте очень быстро взрослеют, — в отношениях с женщинами Большаков был неловок и очень непрост. Он их всех почему-то откровенно боялся. И не только тогда, когда девушка улыбалась ему или дерзко шутила — их, насмешливых, озорных, на переднем крае встречалось достаточно много, — но даже когда говорила серьезно, обращаясь по делу и встав по всей форме: прижав левую руку к бедру, а правую вскинув к виску. В таких случаях он старался смотреть не в лицо говорящей, а в окно или себе под ноги. И всегда обрывал

раньше времени, торопливо и грубо: «Ладно, ладно... Я понял! Короче!»

Санинструкторами у него в батальоне были только мужчины.

Может быть, потому, что он в жизни еще никого никогда не любил, он их мало и жалел, этих женщин в солдатской одежде, в толстых теплых штанах, в телогрейках и шапках-ушанках, и молоденьких, тоненьких, только-только «от мамы», и уже повидавших войну, а особенно тех, что постарше, курящих и пьющих, с завитыми, бараном, прическами, с покрашенными губами. И хотя Лида тоже была в таких же казенных, толстых штанах и охрипла слегка на морозе, выскакивая то и дело во двор в одной гимнастерке, но сейчас это как-то уже не мешало ему. Чувство скованности постепенно погасло, уступая дорогу необычному, новому для него ощущению общности в этих будничных и трагических ситуациях, даже, может, родства.

Все, что прежде Сергею казалось вульгарностью, грубостью в женщине, сейчас с той же самой логичностью ему представлялось совершенно нормальным, чем-то вроде единственного средства защиты от внимания окружающих, и внимания не братского, не бескорыстного, тоже надо признать. А солдатская самокрутка в зубах — тяготением к равенству. А доступная ласка иной — так обдумывал заново Большаков свой мужской, недостаточно четкий и радостный опыт — от отчаяния не дожить до единственной, настоящей любви. А возможно, желание видеть в каждом мужчине благородного человека. С настоящими чувствами. С честной, преданной, самой верной на свете любовью...

С Лидой тоже все было не очень-то просто. Эта девушка не позволяла привыкнуть к себе и с достоинством отстраняла нехитрые большаковские откровенности. А он уже больше не мог говорить — или думать — ни о чем, кроме Лиды — и себя самого.

Он уже видел Лиду после победы, не в больничной и не в госпитальной палате, а в собственном своем доме, под Москвой. И всегда рисовалась такая картина: вот он всходит по чисто отмытым ступенькам в родительский дом вместе с Лидой. И мать плачет, смеется, обнимает их, говорит Лиде: «Доченька, милая... Как я рада! Проходи, дорогая! Это наша столовая, это спальня, моя и отца, а это — по лесенке — комната Сергея. Теперь она ваша... Там все приготовлено...»

Лиде понравится их дом — небольшой, из смолистых ко-

ричнево-аспидных бревен, в лесу, возле озера. Среди темных, почти васнецовских, разлапистых елей. Чистый, теплый, уютный, пропахший домашним вареньем, парным молоком и отцовскими папиросами, его гимнастеркой, его сапогами, дом, где раньше по праздникам, накануне войны, собиралось великое множество гостей, и военных и штатских, с их женами и детьми, и все пили и ели за столом под старинной, чугунной, в виде черных, нераспустившихся роз, еще дедовской люстрой, а потом пели песни «Скакал казак через долину» и «Сронила колечко со правой руки». И «Летят утки». И «Матушка, матушка, что во поле пыльно». Пермские, вологодские, воронежские, костромские, то протяжные, грустные, то раздольные, удалые песни Севера и Сибири, Орловщины и Денетчины. Все, что станет модным, известным спустя много лет. А он слушал их, парнишечка с белым вихром, сидя не сколько в стороне, на веранде, окаймленной чуть реющей в воздухе паутиной дождя, еле видного, как бы взвешенного над травой и куртинами земляники, и думал, что лучшего, большего счастья уже в жизни не будет. А если и будет, то все по-другому, не так...

Сергей мысленно видел и девушку, приходившую к озеру вечерами купаться. С тихим взглядом больших карих глаз, с завитками каштановых мягких волос, рассыпанных по плечам. В те-то годы считалось почти обязательным, чтобы девушка была смелой, дерзкой, волевой — тогда называлось «с характером» — и чтобы ходила с подругами на массовки. А эта всегда приходила на озеро почему-то одна и сидела под старой березой, на выступившем из песка обугленном корне, до позднего вечера. А если купалась, то опять же одна, и тогда заплывала так далеко, что не всякий мужчина сумел бы догнать. Сергей издали любовался ее одинокой фигурой под старой березой, задумчивым профилем, ее платьем, всегда очень красивым. Он следил за ней пристальным взглядом, не смея окликнуть, сказать «добрый вечер», познакомиться, а потом пригласить к себе в дом.

Сейчас он представлял себе вместо той кареглазой, задумчивой — белокурую, сероглазую эту: как пойдет Лида к озеру вечером, но не одна, а вдвоем с Большаковым, рука об руку, как они будут плавать, нырять, обгонять друг друга, а потом будут долго бродить по берегу и смотреть на полоску заката над озером. И в душе его что-то сладко сжималось от радости: это было бы счастьем! Да только исполнится ли оно?..

Как-то ночью однажды он спросил у Лиды:

— Лида, вы любите летний дождь? Такой реденький, теплый.

— Люблю. Даже больше, чем солнце.

— Правда? Честно? Вот здорово! А осенний?— И не дал ей ответить.— Нет, осенью дождь, конечно, не главное в природе.

— А весной, по вашей теории, главное — птицы?— улыбаясь, заметила Лида.

— Да, кукушка. А вот летом, когда все на жаре иссыхает,— грибной теплый дождь. А вы любите музыку?

Лида только пожала плечами:

— Если дождь, то и музыку... Разве это не так?

— Ну, вот видите, как все здорово получается,— засмеялся Сергей. Он глядел на нее с неожиданно новым, особенным, нежным чувством.— Даже странно!

— Что ж тут странного,— наклонив голову, с усмешкой ответила Лида.— И крестьянка чувствовать умет... Небось знаете, изучали!

Он был несколько уязвлен ее тоном и хотел уже что-то ответить, но, подумав, сдержался. Помолчав, откровенно признался:

— До сих пор не пойму: как я мимо проехал тогда, в сорок первом?..

— А вот так и проехали.— Лида вдруг повернулась, спросила: — Скажите мне честно, Сергей Александрович, я давно все хотела об этом спросить. Вот тогда, на лугу, отступая, вы подумали, что война для солдат и для нас, мирных жителей, это разные вещи? Ну, для вас отступление на какую-то новую полосу обороны — бой, атака, потом контратака, опять наступление, а для нас, остающихся, это, кроме всего остального, еще и фашистская оккупация... Вы подумали об оставшихся?

Сергей растерялся. Теперь Лида ему задавала такие вопросы, что он зачастую затруднялся ответить.

— Ну а как же,— ответил он, ощущая неловкость.— Без подробностей, без деталей, а думал, конечно...— Объяснение прозвучало фальшиво. Он не смог ей признаться в той правде, какая была.

— Отчего же не взяли меня? Ведь я так просила...

— Ей-богу, не знаю,— ответил Сергей. Он задумался, вспоминая то время и самого себя. В самом деле, какие бы доводы он сейчас ни привел, все равно это будет обидным

и горьким для Лиды.— Ну, во-первых,— сказал Большаков, помолчав,— я не верил в возможность такой оккупации, в ее длительность, что ли... В то, что немцы начнут убивать мирных жителей... женщин, детей. Это как-то еще не укладывалось в голову. А сказать тебе честно...— Он обмолвился, перешел с ней на «ты», и она приняла оговорку как должное.— А сказать тебе честно, я вообще почему-то считал, что гражданское население меня не касается. Пусть решают свою судьбу как умеют. Кто хочет — уходит, а кто не хочет — пускай остается. У меня тогда не было ни времени, ни возможностей решать еще и эту проблему.

— Что ж,— заметила Лида,— довольно жестоко. Но, по-видимому, правда.

— Да, жестокостей много... На то и война!

Они оба, надолго задумавшись, замолчали. Лида сидела в ногах у него на постели и все завертывала и развертывала на пальце кулечком обрывок газеты, а Сергей с показным вниманием тупо разглядывал потолок, черневший от копоти, весь в сплетении трещин, нанесенных почти вулканическим сотрясением почвы во время бомбежки. Спросил:

— Хорошо... Я ответил все честно. А теперь ты ответь. А что было самое страшное в дни оккупации?

— Предательство некоторых... очень близких людей, которым я верила. Готовность служить врагам — убивать, предавать...

— Ну, немногие же, наверное, предавали.

— Да, конечно. Немногие. А поэтому и страшней. Я-то верила всем. А эти немногие... Они ведь не сразу же, не в секунду созрели, превратились в карателей, в старост, в доверенных лиц, в полицаев. Как девочка Виктя...

— А кто это — Виктя?

— А подружка моя. Довоенная, школьная... Виктория. Что означает — победа,— объяснила с неловкой наивностью Лида.— Пока наши шли, пела им под гитару «Синенький скромный платочек». А как немцы явились — «Лили Марлен»... А сегодня, мне один рассказал, оказывается, она наводила на станцию Суховершино немецкие самолеты... Сережа, а чем это объяснить,— спросила Лида,— отчего это... если свой, очень близкий тебе человек предает, то он злее врага?

— Сам не знаю. Я как-то над этим еще не задумывался.

— Жаль...

— Да, напрасно! Надо было предвидеть и это. Как те же фашисты предвидели свое собственное отступление. Готовили

белую лошадь для Гитлера, для въезда в Москву, а сами копали окопы под Вязьмой и Ржевом...

— Я на них насмотрелась,— сказала Лида.— У нас немец стоял на квартире. Обовшивел весь где-то. Придет ночью с дежурства, белье снимет и голый давай молотком бить по швам. Разозлится... Говорит нам: «Вы, русские, в этом вам не откажешь, умеете умирать. А вот жить не умеете. Ничего, мы научим вас жить по-европейски».

— Ну и как? Научил?

— Научил.— Лида долго молчала, смотрела на дверь.— Очень скоро и научил. Сам в овраге расстреливал коммунистов, собственноручно. Один сильный такой был парень у нас, Петька Ершов, тракторист, встал над ямой. Немец выстрелил — и не убил, только ранил. А Петька кричит им: «Сволочи! Стрелять не умеете!..» Ну, наш Фридрих, как зверь, налетел с полицаем. Ногами забили...

— Как же ты уцелела?

— Сама удивляюсь. Этот Фридрих ухаживать было начал за мной. Что тут делать? Куда деваться? Хоть в петлю лезь. Отец думал-думал... До войны-то он жил на кордоне. Там домик есть, пасека. Глухомань. Только волки под окнами бродят. Ну и сплавил меня. Взятку старосте дал. Лисицу старостихе на воротник, сала, меду, баранины. А Фридриху объяснил: тяжело заболела. Мол, оспа, вся черными язвами. Ну, тот и отстал. Даже съехал с квартиры.

— А в школе у тебя много было подруг?— спросил Большаков.

— Нет, не очень. Виктория только... Я ведь летом обычно жила на кордоне, а там мы с отцом вдвоем. Лес да небо... Да звезды. Да книги...

Он подумал: а кто для нее Шерстобитов? Отчего при одном его имени Лида вся расцветает? Он же стар для нее. И женат. И мальчишки, сыны. Близнецы. Петька с Павкой, вихрастые, синеглазые. Ей и думать об этом не надо... Нельзя!

Сказал ей шутливо:

— А зачем полюбила женатого, Лида? А? Это ж будет одно только горькое горе...

Лида встала и холодно повернулась:

— Запрещаю об этом со мной разговаривать! Понимаете? Да еще таким тоном. Это дело мое! Вас оно не касается! И не трожьте!

И ушла. До рассвета у печки сидел один Капитоныч.

Потом Большаков почти целые сутки ожидал с нетерпением: вот дверь откроется и войдет опять Лида. Улыбнется ему. И — простит. И все будет по-старому.

Но почему-то вошла Санька Аралова, дежурившая накануне.

Она двинула боком табурет, гроыхнула партой, на которой стояли биксы, склянки с лекарствами, накрытые белой салфеткой, и лежали шприцы, чертыхнувшись, отбросив ногой чьи-то тапочки под кровать, откинула в сторону грязное полотенце. Уронила термометр, но осколки не собрала, а уселась на табурет и сказала с упрёком:

— Вот так-то, отцы родные! Без Саньки вы никуда! Друзья мы навек, водой нас не разольешь!— И долго сидела, сложив на коленях свои узкие, длинные руки, глядела на них.

Потом снова забегала по палате, прибираясь где швырком, где броском, гремя крышками биксов, звеня ампулами и шприцами. Подошла к майору Жигалову, лежавшему рядом с Сергеем, и стала разматывать бинт, не отмачивая, так что всегда терпеливый Жигалов даже вскрикнул от боли.

— Вы что делаете?— спросил он, негодуя.— Сейчас кровь потечет...

— Ну и что, потечет? Потечет да перестанет. Небось обойдется,— ответила Санька, нисколечки не смущаясь.— Вы ж мужчина! А она, боль, бывает тигриная, а бывает мышьяная. И еще неизвестно, которая хуже. А бывает, боль с такой ма-асенький червячок, и вот она тебя точит и точит, сперва незаметно, а потом глядишь, а душа-то вся в дырках, изъедена... Вот он, раненый, поглядит себе в душу, в эти дырья-то, и помрет. Слаб, выходит, душой...

— Глупости, право, чего вы болтаете!— возмутился Жигалов.

— Ничего, отцы родные, я не болтаю,— безунывно ответила Санька. И скорчила рожу.— Это я вас, чудаков, веселю...

— Не паясничай,— приказал ей по-учительски строго майор.— А то я тебя такой на всю жизнь и запомню.

— Ну и что?— ответила Санька, пожимая худыми плечами.— По-моему, каждый стремится, чтобы кто-нибудь его запомнил. Один матом обложит — и сам себе кажется выдающимся человеком. А другой... чем больше нас, баб, обдурит да обманет, тем и лестней ему и приятней на свете... Вон их сколько запомнят его!— И вдруг замолчала, задумалась, даже

присела на койку безрукого Мясникова.— Ну, меня вы запомните за гримасничанье, за болтовню... А Лиду за что?!

— А Лиду за ум,— ответил майор.— За спокойствие, за доброту.

— Подумаешь, есть за что помнить!— обиделась Санька.— На добрых-то воду возят!

— А на злых чего?! Знаешь?! Или все же сказать?

— Нет, не знаю. И знать не хочу!— Санька выскочила из палаты и хлопнула дверью. Но тотчас опять как ни в чем не бывало влетела обратно, большеберотая, белоберылая, в крупных рыжих веснушках на остром носу, прошлась козырем по палате.

— А я снова к вам, отцы родные!— объявила она.— Волкову любит!— И скомандовала заговорщическим тоном:— Ну, скорей признавайтесь, кому принести поильничек наоборот? Никому? Быть не может! Считаю до трех. Ра-аз...— И Санька, не дождавшись ответа, ехидно спросила:— Ну, уж так-таки никому? Это вы в знак протеста, выходит, объявляете мне забастовку? Ну я к этим трюкам привычная, я не Лидка. Я вас, миленьких, вижу насквозь, даже глубже. И пока вы лежание, я вам честно служу, все чин чинарем, а как встанете да пойдете... Ну, уж туточки не я вам, а вы мне по гроб жизни отрабатывать будете. Да-с... Вот так-то... И чего захочу, то от вас и потребую. Ну? Запомнили, отцы родные? Усекли? Уговор дороже денег.

Сергей Большаков, сидевший откинувшись на кровати, снова лег и закрылся с головой одеялом. Он готов был заплакать сейчас, закричать от обиды и горя, от обманутого ожидания. Не пришла... Что-то, значит, случилось. Может, ранило или убило? Нынче ночью летал на большой высоте, все зудил как зуд. Впрочем, если бы ранило или убило, здесь, в госпитале, уже знали бы. Та же Санька сказала бы. А она не обмолвилась ни словечком. Хотя кто узнает? Может, где и убило... И лежит на дороге неузнанная, каменеет...

Когда Санька куда-то увялась с шумом, с грохотом, он спросил у Жигалова:

— Как ты думаешь, Николаич, что с Лидой случилось?

— Я и сам уже голову ломаю, понять не могу. Заболела, наверное...

— Да нет! Тогда Санька сказала бы... А она вон дурачится, по глазам ее хитрым вижу: не знает. У нее не удержится!

— И то правда! Конечно, давно рассказала бы. Право слово, не знаю.

А тем временем Лида шла одна полем, и слезы катились у нее по щекам, намерзали на воротнике шинели, она промокала их рукавом, вытирала ладонью. Иногда останавливалась спиной к ветру, чтобы чуть отдышаться, снять ледышки с ресниц, и снова шагала. Колючая снеговая крупа жгла настегаемое метелью лицо, укалывала его кончиками легких белых летучих иголочек, как бы миллионами электрических искр.

Все пространство до горизонта дышало холодом. Ни в лесу и ни в поле ей не встретился ни один человек. И, наверное, от безлюдья, от мертвящего этого холода ее горе казалось каким-то особенным — унижающим, оскорбительным, хитрым, черным вдвойне...

Да, еще так недавно она была счастлива и спокойна, как может быть счастлив и спокоен человек, находящийся на войне и честно выполняющий свою долю тяжелой работы. А сейчас все погибло, все рушилось в пропасть. И виной тому был единственный человек на земле, которого Лида любила: Степан Шерстобитов.

Вчера вечером, когда в доме тетки Марии все уже улеглись и задремывали на промерзшем полу, дверь из сенцев раскрылась и кто-то окликнул Лиду. Голос был очень строгий:

— Буканова! На выход!

— Есть Буканова!

Лида встала с соломы, прикрытой плащ-палаткой, на которой спала, надела шинель в рукава, застегнулась, ладонью огладила щеки, снимая усталость и остатки едва подступившего сна. Часовой, маячивший в проеме дверей, поторопил ее с той же строгостью в голосе:

— А ну, быстро!

— Сейчас...

На крыльце ее ждал адъютант Шерстобитова, Венька Двойных. Он слегка посветил ей в глаза синим светом фонарика.

— Вот ты где! Обыскался! Быстро! Едем!

— Куда?

— А куда приказали... Военная тайна!

— Где приказ? Покажи!

— Да ты что, очумела?— Венька даже попятился.— Мне приказ на словах. Без бумажек.

— Не верю.

— Но, но! Арестую — и все. И вся недолга. Хорохорься тогда...

— Я должна начальнику госпиталя доложиться...

Венька сплюнул на снег:

— Ох ты господи! Вот морока... Кто с бабами свяжется, сам станет бабой!— Он слегка подтолкнул ее на дорогу, объясняя:— Я уже доложил. А приказ генерал-лейтенанта Горичева, командарма,— вдохновенно соврал он, не задумываясь ни на секунду.— Вопросы есть еще? Или нет?

— Пока нет. Но будут.

Они свернули за угол дома. Ветер влажно лизнул Лиде щеки шершавым, холодным своим языком, заворочался, заскребся в застрехах, завыл. Лида даже замедлила шаг: «Не к добру». Но Венька Двойных уже крепко поддерживал ее под локоток, усаживая в сани.

— Гони, Вася!— громко крикнул ездовому. Сам сел рядом, поерзал, усаживаясь поплотней на охапке сена, накинул на плечи себе и попутчице теплый тулуп, а ноги прикрыл меховым одеялом.

Кабы знать Лиде, что она никогда сюда больше не вернется, она обернулась бы на знакомые избы, на шлагбаум на переезде, на родную могилку, уже ставшую братской. Да; самым этим фактом безвременной смерти от вражеской бомбы ее мать и отец теперь вроде бы побратались со всеми воюющими, в том числе и с солдатами-зенитчиками, похороненными с ними рядом, и со всеми, кто завтра поднимется в бой и погибнет и кто с честью дойдет до Берлина, до полной победы. В том числе даже Лиде сейчас они были не только родители — братья.

Если б Лида знала, что ей больше не видать этой могилки, наверное, прихватила бы с собой горстку смерзшейся в камень коричневой глины. А Лида не знала, куда и зачем она едет и надолго ли, а поэтому завернулась поглубже в тулуп, накиннутый Венькой, надвинула на самые брови шапку-ушанку и даже сощурилась, чтобы снег не стегал по глазам, не слеплял ей ресницы, только слушала скрип полозьев, да топот коней, да за лесом, чернеющим на горизонте, глухие раскаты железного грома.

Там, за лесом, шел бой, гулко били орудия.

Лида впитывала в себя звуки стрельбы как нечто присущее всей этой жизни, сопричастное не кончающейся даже ночью жестокой военной работе Шерстобитова, Большакова, Жигалова, Веньки Двойных, а поэтому неизбежное, даже близкое ей. Только в заревах поднимающихся за лесами пожаров почему-то ей рисовался не обыденный, уже много раз виден-

ный деревенский пожар — обгорелые печные трубы, груды черных, обугленных бревен, запах жженого, крашенного масляной краской железа, дотлевающей ржи, — а какая-то очистительная купель, где сгорает все злое, остается все доброе. А иначе зачем столько пролитой крови?.. Ради счастья, и только. Не ради же будущих скучных будней!

— Ну? Заснула? Замерзла? Или нет еще? — окликнул ее Венька Двойных, поправляя в ногах занесенное мелкой снежной пылью и комьями снега тяжелое одеяло. — Ничего... Уже подъезжаем. Считай, что приехали. Видишь мельницу? Вон за ней и дом...

4

В большой, жарко натопленной полутемной избе, куда ее привел Венька, за столом в свете керосиновой лампы сидели трое: массивный, с широким бровастым лицом незнакоморассеянный Шерстобитов; он сидел почему-то в шинели, в папахе, снег на сером каракуле таял и каплями падал на растеленную на столе, испещренную пометками карту; рядом возле комдива, поджав под себя одну ногу и сев на нее, угнездился застенчивый кареглазый майор, круглоликий и чернобровый, с жестким ежиком черных волос; третий — длинный, сутулящийся капитан с дымящейся трубкой в руке — был морщинистый, загорелый, весь сивый от седины.

— Вот и Лида! — сказал при виде ее Шерстобитов и встал ей навстречу, снял папаху, повесил шинель на гвозде у дверей, ладонью пригладил примятые волосы.

— Аржаповича звать? — спросил капитан Шерстобитова.

— Позови... Или нет... Не надо! И так слишком много свидетелей...

— А если что случится, кто будет отвечать? — Капитан усмехнулся.

— Я отвечу за все, — сказал Шерстобитов.

Круглоликий, чернобровый майор, поднявшийся с табурета, представился Лиде кратко: «Тышкевич», подал крепкую теплую руку. Капитан промолчал, не назвался и не подавал руки. Видно, что-то здесь делалось не по правилам, и он строго глядел на вошедшую.

Двойных, помогая Лиде раздеться, незаметно ей дружески подмигнул: не робей. Но она и не робела. Она встала шагах в трех от печки, ощущая всем телом исходящее от нагретых за день кирпичей тепло, подмечая, улавливая все сразу: испы-

тующий, недовольный взгляд капитана с дымящейся трубкой, походную койку комдива, отгороженную плащ-палаткой и накрытую серым солдатским сукном, фотографию рядом на тумбочке — две ребячьих головы. И весь скудный, походный их быт: стол, скамейку возле стены, бинокль на гвозде, уставы и пачки газет на прищепке, даже голос Двойных, который, уже выходя, за неплотно прикрытой дверью в сени, тоже, видно, подмигивая, на вопрос: кто, зачем да откуда — объяснил появление Лиды словами: «Много будешь знать, плохо будешь спать!»

За стеною свистела, шуршала поземка, ветер рвал провода, стучал ими о стенку снаружи избы, завывал, с силой наваливался на стекла окон, пытаясь их выдавить.

Здесь, в дивизии, даже в этой крутящейся воющей мгле зимней вьюжистой ночи передний край ни на минуту не затихал. Как скрежещущие точила, то включались, то выключались «эрэсы», обгрызая, обтачивая в непроглядной простуженной мгле что-то темное, страшное, объедая его, — Лида сразу же отличила среди прочих коротких и длинных волнующих звуков недалекого боя дикий, воющий звук их работы. Рядом звонко, отрывисто бил пулемет, мелкой строчкой сшивали разорванный взрывами воздух автоматы. Вдалеке успокоенно, как-то вроде намеренно-добродушно гахали пушки.

Капитан спросил:

— Так вы местная?

— Да. Родилась здесь и выросла.

— Дочь Трофима Буканова? Лесника?

Лида только кивнула.

— Отвечайте мне полностью на вопросы, — приказал капитан.

Он задумчиво углубился в какие-то записи, лежащие перед ним на столе. Потом вскинул голову:

— Комсомолка?

— Да.

— Билет сохранили?

— Билет у меня.

Лида вынула из кармана комсомольский билет. Капитан его долго рассматривал изучая.

— Вы когда-нибудь были в окрестностях Александровки и левее за нею? Километров за восемь — десять... Например, в Стоколосе? Дорогу туда хорошо знаете?

— Я здесь все дороги хорошо знаю, — ответила Лида.

— Сходить туда сможете?

- Отчего же не смогу? Если нужно, схожу.
- Вы, назерное, не поняли,— сказал капитан.— Через линию фронта. К немцам в тыл.
- Нет. Я все поняла. Схожу через линию фронта.
- Проведете разведчиков. И сами посмотрите, нам пужны и другие дороги. Расспросите, где сможете, как живет население... Надо узнать, есть ли танки в районе Андроньевки.
- Хорошо.

Лида вскинула голову и долго глядела на огонь керосиновой лампы. В Стоколосе жила одна женщина, о которой в ее семье очень часто вспоминали и мать и отец. Мать с упреками, с сбидой, а отец с хитроватой довольной ухмылкой в усы. Эта женщина беззаветно любила отца, горевала и плакала, и все бегала к нему на свидания, а потом, после этих свиданий, то сходилась, то расходилась со своим старым мужем. Муж ее ревновал по-звериному, люто. Бил чем под руку попадет. Но однажды весной, в водополе, то ль по пьянке, а то ли от горя ее муж утонул — и Елена Кузьминична Свирина словно опомнилась. Стала жить одиноко, почти аскетически. Сыновей воспитала суровыми, сильными, любя больше первого — Трофима, получившего свое имя в честь Лидиногo отца. В Суховершинне поговаривали, что он Лиде не кто-нибудь — брат по отцу... Был он года на четыре постарше ее. Другой сын Свириной, Николай, погодок Трофима, слыл в округе отчаянным забнякой, шибает, охотником на приبلудных собак.

Лида сейчас вспомнила, как ненавидела Елену Кузьминичну мать, но сегодня вдруг пожалела их обеих: кто же тут виноват? Сердцу не прикажешь... А отец был красавец...

И еще она с грустью подумала: «Да... Бедная Елена Кузьминична! Сколько горя в душе ее всколыхну! А особенно когда расскажу об отце, как погиб. И как я его и маму хоронила... Но, кроме нее, все же не к кому в Стоколосе обратиться. А она мне поможет...»

Капитан объяснял Лиде уже чуть подробнее:

— Через линию фронта вас разведчики проведут, здесь вы нам не помощница, здесь у немцев засады, боевое охранение, минные поля. А дойдете до Шестопаловского леса, там уж вы будете им дорогу показывать. В Стоколосе от них отделитесь. А они подождут. Потом снова сойдетесь и пойдете на выход, но по новой дороге. О деталях с Тышкевичем договоритесь. Возглавлять группу будет разведчик Яманов. Мы вас познакомим...

— Хорошо.

Шерстобитов молчал. Он глядел не на Лиду — в запущенное инеем, непроглядное от метели окно, отчего-то растерянный, очень бледный, смущенный, словно был недоволен собой.

— Ну добро,— сказал он.— На этом закончим.

Капитан сложил бумаги и встал. При этом он вынул трубку из рта и еще раз внимательно, изучающе глянул на Лиду.

— Ну... пока отдыхайте!

Прощаясь, Тышкевич опять подал Лиде руку и крепко пожал ее. Капитан, уходя развалистым шагом, в растоптанных валенках, с негнущейся, будто стянутой болью шеей, никому не кивнул и ни с кем не простился.

5

Шерстобитов и Лида остались одни. И это обоих почему-то сковало. Скажи Шерстобитов сейчас Лиде какое-нибудь неловкое или пошлое слово, армейскую грубую шутку, и все это, накопленное в душе: неожиданность встречи, тревога, рожденная опасностью задания, и странная боль оттого, что здесь вспомнили и назвали отца,— все прорвалось бы, может, бессвязными фразами, может, даже слезами.

Но полковник молчал.

Он сидел темный, сгорбленный, недовольный, со всклоченной прядью, упавшей на лоб. И лицо его, как бы рассеченное твердой складкой на лбу, показалось сегодня значительно старше, угрюмей. Словно что-то тревожило, угнетало комдива.

Он поднялся из-за стола, крикнул в дверь адъютанту:

— Двойных! Быстро!

— Да! Сейчас, товарищ полковник...

Вошел Венька, неся графин с водкой, две стопки, тарелки, хлеб, нарезанный крупными толстыми ломтями, моченые яблоки, огурцы, все поставил на стол и почтительно вышел. Суровое, словно вырезанное из камня лицо Шерстобитова накраглось, потемнело.

Он сказал, вдруг охрипнув и не прокашлявшись:

— Ну, садись... наконец. Будь хозяйкой!

— Я не пью.

— Я сказал, будь хозяйкой.

Но заботливо сам придвинул тарелки, хлеб, налил в стопки

водку. Одну подал ей. Сказал глухо — глаза его снова блеснули знакомой уже синевой:

— Ну... Хотя и не пьешь, а надо бы выпить. Родителей помянуть... Я не знал,— пояснил он неловко.— Мне Федотов сейчас объяснил...

— Это кто — Федотов?

— А тот капитан. Который беседовал.

— А откуда он знает?

— А он все должен знать. Что положено. Даже больше того. Ну, не чокаясь...

Лида только пригубила. Степан Митрофанович выпил и снова налил:

— Ешь, Лидок.

— Не хочу.

— Ешь, тебе говорят!

Лида нехотя взяла кусок хлеба, но есть не стала, положила возле тарелки. Она даже не видела, что принес Венька в котелке. Это было не важно. Важно было другое. Шерстобитов, Тышкевич и этот больной, очень нервный, сухой человек, капитан Федотов, ей доверили дело, серьезнее и страшнее которого сейчас не было на войне. И она уже знала, что сделает все, что прикажет полковник, даже больше того.

Шерстобитов налил снова водки, спросил:

— Ну, согрелась?

— Согрелась.

Он взглянул на нее исподлобья. В глазах ледяной стоячей водой темнела тоска.

— Это я виноват. Понимаешь? И черт меня дернул...

— Вы о чем?

— Надо было бы как-то иначе... Это очень тяжелая штука — ходить по тылам...

— Представляю.

— Там не спрячешься, не отсидишься в окопе...

— Где смогу, там пройду, Степан Митрофанович. А уж где не пройду, там придется ползти. Ничего не попишешь...

— Там не выстрелишь. Враг будет рядом, будет мучить кого-то, терзать, а ты только смотри.

— Да, я знаю. Но ведь я уже слово дала!

— Понимаю.— Он тихо кивнул.— Тебя, может, еще понимаю. Себя — уже нет.— Он взглянул на нее с какой-то еще незнакомой Лиде болью: — Это я... Я один виноват в этом деле, родная! Да ведь как-то не думалось... А увидел тебя сейчас и вот каюсь, клянусь себя: что натворил! Зачем ты мне под

руку подвернулась тогда в Суховершине! А? В дивизию звал. Ну вот и дозволялся... Это Венька Двойных, черт старательный, разыскал... Найти, чтобы, может быть, вот тут же... навек потерять.

Лида тихо заметила:

— И не вы и не Венька меня разыскиали, Степан Митрофанович, а война. А войне все равно: потерять или найти. Она миллионы уже потеряла.

Он глядел на нее бесконечно усталым, измученным взглядом:

— Нет, Лидок... При чем здесь миллионы? Ты такая одна... Я, как встретил тебя тогда в Суховершине, возле госпиталя, под бомбежкой, думал: все. Увезу, украду, а потом разбирайтесь! Буду видеть ее каждый день. А оно, черт возьми, вон какой стороной обернулось!

— Если нужно для фронта, то я и отсюда пошла бы. Ведь здесь еще ближе... Вы ж не знаете ничегошеньки про меня!

— Да, теперь тебя знаю.

— Ну и кончим на этом!

Хозяйский котенок, серый, дымчатый, в темных полосках, мурлыкая, вспрыгнул на стол и пошел к Шерстобитову, как к знакомому, осторожно ступая когтистыми лапками. Но, наверное, по пути разглядел и сидящую девушку, повернулся к ней. Мягко выпустил остренький коготок, осторожно попробовал, как спуститься, не прыгая, на руки. Лида молча взяла его. Стала гладить по мягкой, встающей под пальцами шерстке.

Тот прильнул к ней, блаженно сощурил глаза.

Шерстобитов с волнением наблюдал эту сцену.

Что-то сильное, очень тяжелое, властное прмелькнуло в его загорелом лице, шевельнулось в бровях. Он встал. Упругим, но медленным шагом обошел деревенский некрашеный стол, наклонился над Лидой. Тоже гладил котенка, тот мурлыкал, чуть вздрагивая, словно где-то внутри у него чуть пофыркивал, сотрясаясь, негромкий моторчик, работал на сбалансированных оборотах.

Шерстобитов поглаживал мягкую шерстку, а сам все косился на склоненную голову Лиды, на белую кромку воротничка. Не сдержался, ладонью провел по мальчишеской стрижке. Лида молча отклонилась, ускользая из-под властно ласкающей жесткой руки.

— Ну чего ты, чего ты? — спросил Шерстобитов неожиданно шепотом.

Он прижал ее голову к себе. Она резко вскочила, заснувший котенок, обиженно мяукнув, скатился на пол.

— Лида, Лида... — горячо, торопливо зашептал Шерстобитов, пытаясь обнять ее, а она упиралась, отталкивала, повторяя:

— Оставьте, оставьте...

— Ну, хорошая... Милая...

Лида с силой, резко оттолкнула его. Отбежала к дверям, схватила с гвоздя шинель, шапку. А он вскинул голову, весь побелел. Догнал у порога, загораживая собою широкий проем, хорошо понимая: уйдет — не вернется. Вырвал шапку из рук, шинель и бросил на лавку.

— Не пущу!

— Я раздетая убегу.

— А тебя часовой не пропустит. Ему так приказано. Будет стрелять.

— Не поверила. Усмехнулась:

— Ничего. Не застрелит. Рука не поднимется.

— Вот не думал, что ты такая.

— Да, я тоже не думала...

Лида села на лавку, прижалась всем телом к беленому камню натопленной печки. Сжав губы, молчала. Ее мелко, нервно трясло.

Комдив повернулся, тряхнул крутым выющим чубом. Сказал, помолчав:

— Ну, прости... Извини! Видишь, как получается: извинения прошу. Как какой-нибудь школьник.

Он шагнул к ней, опять стиснул ее руки в запястьях, крепко стиснул и приблизил их к массивному, в резких складках лицу. Лида пальцами ощутила литую упругость и жар его чисто выбритых щек. Постоял, склонив голову в мягких ладонях. Негромко, с обидой сказал:

— Ладно. Воля твоя. Раз не любишь — иди. Не держу!

— А вы очень жестокий, — сказала она.

— Что поделаешь... Не котенок!

Когда она вышла наконец, зятая ремнями, в аккуратно надвинутой шапке-ушанке, он сидел за столом, наклонившись к тарелке лицом, но не ел и не пил. После встал, тяжело заходил по избе. Крикнул Веньке:

— Двойных!

— Здесь, товарищ полковник!

— Возьми вездеход. Догони, отвези в Суховершино.

— Сейчас... Слушаюсь!

Он угрюмо сел, свесив голову.

— Или нет... погоди. Как догонишь, сперва извинись и спроси: не надумала ли вернуться. Не спеши. Пусть подумает, поразмыслит...

— Есть!

— Гони. Без нее не возвращайся!

6

Он родился в глухой, отдаленной сибирской деревне. И служил по забытым, глухим гарнизонам. И так, может быть, и прожил бы всю жизнь, как он сам говорил, «медведь медведем», когда бы не жажда все видеть, все знать и всему научиться. И давалось ему все легко: продвижение по службе, учеба, книги, музыка, лошади, рыбная ловля, охота. И Ульяна, скуластенькая, остроглазая, бойкая вдовушка с серебряными сережками в виде крохотных колокольчиков, и она на одной вечеринке с широким застольем, с пельменями, с рыбными пирогами и душистой дурманящей пенистой брагой сама села рядом за стол, наклонилась к нему. А когда, захмелев, молодой синеглазый подполковник — он тогда был еще подполковником — вышел в сени напиться холодной воды из ковшика, Ульяна процокала вслед каблучками, крепко, сладко прижалась во тьме жарким телом.

Он потом, как очнулся под утро на чужой, незнакомой постели, пожалел о случившемся. Но назад никогда не ступал: что решил, то отрезал. И ни в это холодное утро, ни потом, спустя годы, не корил эту женщину, что сманила хмельного, не виноватил, но и нежного слова ей не сказал. Жил без радости, без улыбки, с неожиданно вызревшей в сердце насмешкой. И без легкости счастья: когда месяц на небе — и тот ясным солнышком, а падучие звезды — как венчики белых ромашек на внешнем лугу. Чего не было, того не было...

А когда родились пацаны, круглолицые да курносые Петя-ка да Павка, непохожие на него, он и вовсе замкнулся в себе, отошел от Ульяны. А война началась — приказал отвезти сыновей к своей матери, в село за Иртыш, и всю прошлую жизнь как отрезал ножом. Жил сегодняшним днем — без грядущего, без вчерашнего. Бой так бой, а привал так привал. На привале и пышки горячие.

И вдруг эта девчонка...

Он стоял посредине избы, как будто бы налетел на невидимую преграду: не хватало дыхания, кровь стучала в висках

обеззвученным пулеметом, в каждой жилке внутри шел невидимый и неслышимый этот огонь, он пульсировал быстрыми, жаркими трассами — к сердцу, к сердцу, звеня, торопя, убыстряя свой гон: «Я-а, Степан Шерстобитов. Меня-а-а?..»

Шерстобитов хотел бы припомнить сейчас, но так и не вспомнил за последние годы подобного случая, чтобы женщина, приглянувшаяся ему, не ответила обжигающим взглядом на взгляд. Чтобы в темный, назначенный час не пришла на свидание. Он ценил и лелеял в себе эту силу и властность, подавляющую других. А сегодня наткнулся на волю, подобную его воле, даже, может быть, посильней его, — и не знает, что делать, взъярен, уязвлен...

Лида, милая...

Убежала, обиделась.

Так бы взял ее на руки — и унес, как ребенка, убаюкал бы, укачал, целовал бы, не то что касаясь губами, а только мечтая коснуться. Кто же знал: на войне, под бомбежкой, а такой человек?..

Не выдержав напряженности ожидания, Шерстобитов выпил водки и снова, как маятник, заходил по избе. Наконец на пороге возник белый, в длинных космах метельного снега Двойных. Развязывая башлык и дуя на посинелые пальцы, лейтенант доложил:

— Не вернулась. Не хочет. Уперлась — и все.

— Ладно... Ясно. Иди! — Шерстобитов откинулся к стенке, мрачней. Повертел в руках карандаш и бросил его на бумагу, на стол. Взял в руки шинель, торопливо оделся. Выходя, оглянулся: Двойных стоял за некрашеной тесовой перегородкой и, вытянув шею, следил: как быть, чем помочь?

— Ну? Чего сторожишь? — закричал Шерстобитов. — Не ребенок. Проживу и без няньки! — Пригрозил строго пальцем: — За мной не ходи!

7

Он вернулся почти на рассвете, лиловый с мороза. Сидел, гесь погасший, рассеянный, темный, в расстегнутом кителе, под образами, пил чай, когда Венька вошел в избу каким-то несвойственным ему виляющим шагом. Хитровато взглянул, помял пальцами нос, подбородок, не решаясь сказать.

Полковник глядел на вошедшего слепо: дремота, усталость смыкали глаза, клонили к столешнице чубатую голову.

— Ну-у? Чего тебе?.. — хмуро буркнул, не глядя.

— Там вас девушка спрашивает... Эта самая... Лида...

Угнувшись, угрюмый, неверящий, Шерстобитов привстал, навалившись на стол, отодвинул стакан с недопитым кирпичного цвета чаем, расплескав его по бумагам. Уперся в столешницу, хрипло выкрикнул:

— Врешь?!

— Нет, честное слово, товарищ полковник!

— Зови! — Осердясь, он махнул широченной ладонью. — Или ладно... Не надо! Я сам! — Втянув голову в плечи, тяжело прошагал до порога.

Двойных все же крикнул за дверь:

— Войдите, Буканова! — И легко проскользнул в холодные сени, как только вошедшая сделала шаг через порог.

В белой шапке-ушанке, в белой, словно обшитой свисающей бахромой, занесенной метелью шинели, с красным мокрым лицом, настегаемым ветром, Лида молча стояла перед полковником, оттирая ладонью замерзшие щеки. Объяснила сухим, исключаящим примирение тоном:

— Патрули меня задержали... Я ведьехала из Суховершина без документов!

Шерстобитов стоял неподвижный, как плыба. У него было странное неприятное чувство, словно сердце споткнулось о что-то тяжелое, острое. И теперь не хватило дыхания, пусто внутри.

Он грубо спросил:

— Ну и что? Так зачем же ко мне?

Лида вскинула голову удивленно. Но сказала спокойно:

— Вы вчера приказали меня привезти. А теперь отвезите назад. Я опаздываю на дежурство... Когда буду нужна, позвоните.

Шерстобитов, не глядя в лицо ей, окликнул Двойных:

— Лейтенант!

— Я вас слушаю, товарищ полковник...

— К Тышкевичу, в полк! В Черняеву слободу. Пусть там у него и живет и готовится к выходу на задание!

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

По дороге на фронт Валентин Яманов не чувствовал страха. Их везли на машинах, взвод за взводом и рота за ротой, и ему все было внове: и прорытая в толще сугробов дорога с небольшими разъездами, на которых скапливалось и с той

и с другой стороны огромное количество грузовиков; и буксующие в рыхлом, крахмалистом сером снегу полковые пушки — их вытягивали на руках краснолицые, с фиолетовыми от мороза руками, с сырыми носами, матерящиеся бойцы; и остовы вражеских танков с разбитыми башнями, с размотанными гусеницами; и трупы фашистов, торчащие из-под снега, со скрюченными руками. Невдалеке от дороги, носом в землю, хвостом вверх, виднелся выгоревший изнутри немецкий истребитель, и кто-то назвал его как знаконца: «А-а, гляди, «мессершмитт»!» Валентин долго смотрел на этот приметный среди белого поля оперенный, сужающийся конусом кверху хвост самолета — сам себе и могила и памятник.

По армейской дороге навстречу солдатам, спешащим на фронт, шли раненые из тех, что могли еще двигаться сами, все в бинтах, в окровавленных заскорузлых шинелях. Они хмуро, как бы недовольно смотрели на новобранцев и показывали одним общим движением вверх на небо, где плыла морозные, дымные облачка, похожие на парашютики: они расширились, слегка набухая, и таяли в воздухе. Выстрелов не было слышно, но все знали: стреляют зенитки.

«Ох и бьет!» — говорили им встречные на разъездах и при этом плевали на снег темной, вязкой слюной, выражая тем самым и свое презрение к смерти, и отчаяние перед ней, и тут же просили: «Хлопцы, нет ли у вас табачку? И газетку бы дали, а то не из чего свернуть...»

Затянувшись махоркой, покачивая головами, они шли на восток, загорелые, закопченные, словно с поля во время тяжелой крестьянской работы. Впрочем, Валька приметил давно, что в солдатской работе очень много привычного, сходного с его прежней, крестьянской. Так, в дивизии, на формировании, ему, как и дома, приходилось до рассвета вставать и возиться с конем, кормить, чистить его и поить, чинить сбрую, вывозить навоз, подстилать в конюшню солому. А еще приходилось работать с землей: рыть ее саперной лопатой, а то и клинком, разгребать чуть не собственными руками, лопеща под окрики взводного окопаться. Приходилось Валентину и пилить дрова, и рубить топором, и таскать с реки воду во время дневальства. А главное, как и дома, во всякое время суток, в любую погоду: в дождь и в ведро, в пургу и в мороз, под палящим полуденным солнцем и глухой темной ночью — находиться один на один с привычной, настроенной то дружески, то враждебно, но чаще суровой родной русской природой.

И зимою и летом загорелый до черноты деревенский парнишка Валька Яманов еще с детства привык не бояться мороза, не чувствовать ветра, не прятаться от жары. Может быть, поэтому он быстрее других, городских, и втянулся в солдатскую жизнь, стал приметным во взводе. Сухощавый, подтянутый, жилистый, он ходил осторожно и мягко, как кошка, спал немного и чутко, ел мало, не досыта, как учила покойная бабка Манефа, обошедшая по России все самые знаменитые монастыри. «Где пиры да чаи, там и немочи», — говорила она и всегда за обедом осаживала Валентина, хотя тот был любимейшим внуком: «Не ешь масляно — ослепнешь». Укоряла, когда закапризничает за невкусной похлебкой: «Ну, ну, не бурчи! Не для смаку уселся за стол, а для сити!»

Нет, крестьянской, военной ли трудной работы Валентин не боялся. Он боялся себя: что под выстрелами тело станет неуправляемым, что оно инстинктивно, помимо желания, вздрогнет, душа хлипко, безмускульно обомрет, а товарищи это увидят. Оттого и помалкивал, и затаивался в дороге, только зорко высматривал, изучая: что да как?.. Отчего? Почему?..

Под Звенигородом их настиг чей-то громкий, надрывистый крик: «Во-о-озду-у-ух!» И все градом посыпались через борта автомашин, врассыпную, увязая по пояс в высоких сугробах. Впереди встали копны черного дыма. Продирая до самого позвоночника знобким холодом, выли бомбы, ревели сирены штурмующих самолетов, которые, и снижаясь в пике, и потом выходя из него, прилепляли людей к развороченным, черным сугробам уже не столько самой бомбежкой и грохотом пулеметов, сколько ревом моторов и воем сирен.

Валентин сам не помнил, как выпрыгнул из машины, как упал на снег. Только после бомбежки, оглохший, с онемевшим от взрывной волны телом, он с трудом приподнялся на локте, затем встал на колени и медленно огляделся. Всюду черными дырами зияли воронки, кое-где корчились раненые, неподвижно и плоско лежали убитые. Еле-еле ворочая шеей, Валентин обернулся в ту сторону, где стояла машина, но машины их не было. Вместо новенькой, крашенной белым полуторки на дороге дымилась обугленная рама шасси.

Валентин поглядел на дрожащие мелкой дрожью свои руки, разбитые в кровь при прыжке, потрогал плечо, на котором всегда висел автомат. Автомата его тоже не было. А ведь он, принимая присягу, давал смертную клятву хранить и беречь врученное ему командиром оружие. Мысль о том, что он в суматохе бомбежки потерял автомат, поразила его; по щекам

двумя струйками текли слезы, он не смахивал их, а только размазывал по лицу окровавленной, грязной ладонью.

Потрясенно, обиженно хлюпая носом, Валентин приподнялся и встал на расслабленных взрывом ногах, побрел к догорающей на снегу машине искать автомат. Может, где впопыхах уронил не заметив.

Но и возле машины оружия не было.

Подошел лейтенант Самофалов, из соседнего взвода, воронежский родом, с расцарапанным чем-то острым лицом, кровь на этой царапине выступила тяжелыми крупными булинами.

— Солдат, что плачешь?— спросил сиплым голосом Самофалов.

— Автомат потеря-ал,— прошептал, задыхаясь, давясь своим горем, Яманов.

— Автома-ат?!— поразился лейтенант.— Это плачешь об автомате?!— Он прошелся вокруг их сожженного грузовика, показал на валяющиеся на снегу, разможенные взрывами трупы.— А об этих не плачешь?!— И вдруг строго прикрикнул: — А ну... Перестань! И — следуй за мной!

Теперь они оба, лейтенант и Яманов, друг за другом обходили воронки, разбитые, покалеченные грузовики, разглядывая и пересчитывая тела убитых, и, кого было можно узнать, поворачивая кверху лицом, узнавали: Ершов... Замараев... Манышин... Кривенченко... Тропкин...

— На тебе автомат!— сказал лейтенант и поднял с земли новенький ППШ. Валентин взял его, проверил мушку прицела, осмотрел ложу, приклад и вдруг крепко прижал оружие к груди. Это был его собственный ППШ, он узнал номер.

— Надо же!— удивился Яманов находке, как чуду.

Взвод медленно собирался.

Шестерых закопали тут же, сбоку дороги, человек восемь тяжелораненых отправили на попутных в тылы. Легко раненый, Самофалов, взяв на себя командование, всех построил, пересчитал, рассадил на оставшиеся в целости автомашины, приказал поспешать: нужно к вечеру быть на фронте. Там, за кромкою леса, на северо-западе, война громыхла отчетливей и отчетливей, и бойцы напряженно, с глубоким вниманием слушали этот сбивчивый, механический грохот, лишь теперь хорошо понимая, что именно он означает.

В лес въехали уже ночью.

Солдаты прыгали через борт на дорогу на ознобленных, занемевших ногах и тотчас же оступались, натыкаясь на спины спрыгнувших раньше, нетромя ругались. Все одергивались, отряхивали от снега шинели, стараясь не лязгнуть котелком или автоматом. В темноте неразборчиво, как бы на ощупь, построились, потом долго шли, оскользаясь на льдистой дороге, пока не уперлись в высокую стену из нарезанных снежных плит. Сбоку этой нехитрой, но все же заслоняющей от колючего ветра огорожи темнел вход в землянку. Из проема дверей, занавешенных плащ-палаткой, наносило запах пригорелой овсянки, отволглых портянок, махорки. Солдаты, сбившись в кучу, утрюмо молчали. Всем хотелось хотя бы недолгого отдыха после дороги.

Но откуда-то из темноты появился опять Самофалов, белея бинтом. С ним пришел незнакомый человек в полущубке и в белой ушанке. Он скомандовал тихо: «За мной!» — и солдаты пошли, ковыляя от воронки к воронке. Потом из-за тучи выглянула луна, и идти стало легче: среди елок и вмятин от мин и снарядов, темнея, вилась тропинка.

Где-то совсем неподалеку с гулким выпуклым треском взрывалась вражеская мина.

— Подтянись! — скомандовал Самофалов, оглядываясь. Солдаты по одному вступили в отрытую лишь по щиколотку снеговую траншею. По ходу траншея слегка углублялась, свернула уступом, и колонна по ней растянулась так, что стало не видно ни хвоста ее, ни головы.

— Значит, скоро, — сказал Никифор Овчинников, земляк Валентина, тамбовец, уже воевавший, приехавший после ранения.

Скоро ход сообщения, прорытый в снегу, стал глубже, почти в рост человека, но сузился: они терлись плечами о стальные стенки. Запахло вонючей взрывчаткой, уборными, аммиаком. Стук множества ног о мерзлую землю был услышан и здешними часовыми и немецкими, потому что, как будто прислушавшись, вдруг раскатисто, цепью дробно нанизанных звуков застрочил пулемет.

— Эй, пехота! Потихе! — кто-то шикнул на них, весь облепленный снегом.

Траншея раздваивалась.

Самофалов, пригнувшись под кромку заметенного снегом бруствера, простуженно просипел:

— Овчинников и Яманов направо, Петрухин и Деребазв налево!

Не простившись друг с другом, солдаты, стараясь не топтать, расходились в разные стороны, может быть, навсегда. Но подумать об этом никто не успел.

Лес стоял вокруг грозный, пугающий, с черно-серыми теньями, с хищно выгнутыми, как у готового броситься зверя, короткими спинами белесых сугробов. Ком ли снега обрушится с елки, потечет сухим, словно пенящимся потоком на землю, спланирует ли ветка, косо срезанная осколком снаряда или мины, — Валентин весь замрет. Тогда все заглушает чей-то громкий, настойчивый топот в ночной тишине. Валентин все оглядывался, слушая его. Он еще не догадывался, что в такой тишине, прерываемой время от времени звуком выстрела или разрывом снаряда, так топочет, стучит только собственное, еще не видавшее боя солдатское сердце.

Почувяв в состоянии Валентина что-то схожее со своим собственным чувством, уже пережитым летом сорок первого года под Смоленском, Никифор Овчинников, деловито шагавший вразвалку, бросил тихо, через плечо:

— Валюха, не дрейфы!

— Да не дрейфлю я, дядя Никифор...

— Ну то-то, смотри! Не подгадь нам, тамбовским!

Но доподлинный, леденящий страх, он все же пришел. Он пришел на рассвете четвертого дня, когда все так зыбко качалось в полутьме зимней ночи: ветки сосен и елей, обшитые ивеем, розоватая мгла над седым, белым полем, небольшая лощина в кудрявых, в морозистой выпушке белых кустарниках.

Валентин и Никифор угнездились у края лощины, в воронке, — полк повыбило в предпоследних боях, и прибывших солдат назначили где на пост часовыми, а где к пулемету. Им, тамбовским, привалило то ли счастье, а то ли злосчастье: стеречь левый фланг в боевом охранении.

Лейтенант Самофалов, отправляя их с Никифором на пост, озорно подмигнув, с подковыркой сказал:

— Тамбовские воронежским три миллиона лантей задолжали. Так что, други, не спать, а лыко вязать!

— Да навязем, товарищ лейтенант, за то будьте спокойны, — отозвался басовито Никифор. — Ништо!.. Не уснем!

И вот они оба сидели в воронке и, может быть, сразу же и задремали бы с устатку — днем рыли окопы, намаялись, — кабы не голод. Он томил их всю ночь, в кишках даже что-то

попискивало и урчало, и к рассвету Яманов уже ни о чем, кроме хлеба, не думал. Он тарашил глаза на кусты, окаймляющие ложину, на купы молоденьких елок-подружек, на старые, сросшиеся стволами дубы — прежде очень прямые, отдельно возросшие и нетолстые, теперь они как бы слились воедино и виднелись одним мощным деревом, и так не одно и не два, а целая роща. Валентин даже несколько отвлекся мечтанием от еды, разглядывая эти большие деревья как загадку природы.

Но потом голод взял все же свое, и Яманов поскреб по шершавому насту, чтобы выгребсти из-под заледеленой корки горсть снега почище, но Никифор вдруг рассерженно, с силой толкнул его локтем в бок и чужим, неожиданно резким голосом приказал:

— Тихо, дьявол степной! Сиди! Не шурши!

Они оба приныкли к кромке воронки, и Яманов не только услышал, но даже увидел немецких солдат. Их, наверное, было немного, но он не успел сосчитать, потому что в нем все вдруг онемело, ослабло, он даже почувствовал что-то горячее под собой, на снегу! Все! Конец... Их вон сколько, мордатых да ражых, все идут с автоматами. А как важно идут! Даже каски фашистов, рогатые, с покатыми лбами, показались ему очень грозными, страшными, как и этот размеренный шаг, как и шацеренные черные дула рогулек.

— Ну мы им сейчас, га-адам, дади-и-им,— прошептал вдруг злорадно Никифор.

А Яманов опять ужаснулся тому, что ему предстоит: «Это я-то? Это мы-то с Никифором им дадим?! Да молчать надо, тихо-тихо сидеть, замереть...» Но Никифор спокойно приладинился к автомату и, казалось, уже не шепнул, а крикнул, завопил на весь лес:

— Да стреляй же! Стреляй... твою мать-перемать!

Они оба нажали на спуски. Звуков выстрелов Валентин почему-то не слышал, но он видел, как падают немцы, как нелепо выдергиваются вверх и в сторону при падении руки фашистов, как бежит, оскользаясь, напрямик к их воронке ефрейтор, самый важный и толстый — он шел замыкающим в группе, — вот он рядом, уже подбежал, рукой можно тронуть, огромный, лобастый, с автоматом, приставленным к животу, и вот под прицелом Яманова вдруг споткнулся и выбросил правую ногу вперед, еще, может быть, в беге, а сам откатнулся назад, спиной, левым боком — и рухнул на снег перерезанным некрасивым коротким движением.

Наступила внезапная тишина. Удивительная, оглушающая больше выстрелов и разрывов снарядов.

«Как странно,— подумал Яманов,— после стольких смертей — и так тихо...»

Он привстал, прижимая к себе автомат, и пошел к чернеющим трупам фашистов, не веря себе. Никифор Овчинников, поднявшийся следом, шел сзади, отплевываясь и ругаясь: рикошетом от пня пуля брызнула ему прямо в лицо мерзлым, горьким корьем и ледышками снега. Они оба переходили от одного убитого к другому и считали: «Один, два... четыре, шесть... семь...» Вот так! Семерых! Ну и дали им, гадам!

— А ты поначалу, я видел, струхнул,— заметил Никифор.

— Да не-е, дядя...— Валентин, весь зеленый и бледный от пережитого волнения, ни за что бы сейчас не сознался в том смертном, уничтожающем страхе, который он чувствовал поначалу.— Это я... просто так!

— Ну и врешь, гусь тамбовский!— сказал, усмехаясь, Никифор.— А то я не знаю, какой ты бываешь!— и поднял ладонь.— Ну ладно уж, ладно... С кем смолоду не случается!— И как старший уже рассудительно приказал:— Подбирай автоматы, вынимай из карманов документы... Сумки там аль планшет — все с собой забирай! Начальнику штаба сдадим — и за милую душу...

На звук их стрельбы, словно только проснувшись, кто-то рядом откликнулся, щелкнул раз-другой карабин, потом твякнули по-собачьи невидимые пулеметы, потом рывкнула пушка, но, не видя причин для дальнейшей стрельбы, тут же быстро умолкла. Над полями, кустарниками, перелесками, над белеющей в предрассветном тумане ложиной опять повисла предутренняя тишина.

— Ну теперь скоро сменят,— заметил Никифор.

Но они еще долго просидели в воронке. Налетел непроглядный метельный заряд, зашуржило, завьюжило, ни зги не видеть, лишь белые дымные космы вокруг. Яманов сидел терпеливо, сторожко — теперь он не спал и не чувствовал голода. Чтобы руки его не подрагивали от волнения, он их время от времени прятал за пазуху: будто грел. А когда налетел жгучий ветер, поразмыл в низко мчащихся облаках веселую нежную голубизну, Валентин потянулся, разминая затекшие руки и ноги, прошептал изумленно:

— Гляди, дядя... Солнце!

Никифор Овчинников, с осторожностью озирая ложбинку и группу дубов, черпеющих в прелых листьях, оставшихся на

ветвях, а также зеленые ежики маленьких елок в белых шапочках снега, спросил с суховатым коротким смешком:

— А ты что ж, Валя, думал, нам вечная ночь?.. Ну, не робь, мы с тобой доживем до теплой весны. А вот эти... раззявы... уже, видишь, не доживут... Война!— объяснил он, пахмурясь угрюмо.— Приучайся помалу. Не будь лопухим!

3

Как-то так получилось, что исподволь, незаметно, познавая войну час за часом, Яманов стал лучшим солдатом в полку. Его взяли в разведку, во взвод, и он через месяц привинтил к гимнастерке медаль «За боевые заслуги», потом «За отвагу» и теперь уже вроде бы не поглядывал бегло, с улыбкой на собственную, далеко не богатырскую грудь, когда все это позванивало на ходу: попривык. А первое время глаз не мог отвести, любовался.

Он окреп и как будто подрос, хотя, в сущности, если б делал зарубки на двери, новой отметины делать бы не пришлось, просто сила пошла в матерую жилу, как заметил Никифор. Коренастый, курносый, с широкими крепкими скулами, ходил чуть расслабленной, вялой походкой, неуклюже угнувшись, склонив голову набок. Он мог идти без отдыха целые сутки, а то даже и больше: как потребует обстановка. Мог не есть и не спать, мог неделями жить на морозе, говорить очень тихо, а двигаться осторожно.

Он уже научился не бояться обстрела, подниматься в атаку с винтовкой наперевес, ночью молча, а днем с громким криком «урра-ааааа!» прыгать в зябкую неизвестность немецких траншей, быстро действовать где штыком, где саперной лопаткой, а где просто тяжелым солдатским ударом в висок или в челюсть.

Он уже полюбил этот холод опасности, риск и собственную, появляющуюся как бы из ниоткуда находчивость, позволяющую упредить то летящий снаряд, а то плоский немецкий штык, направленный на него, хотя понял: умение упреждать приходит, конечно, не из ниоткуда. Это делает кто-то сидящий внутри, какое-то неизвестное ему существо, просыпающееся лишь в минуты опасности и уверенно действующее в соответствии с обстановкой, то второе, а может быть, первое его «я», о котором он прежде не знал и не думал. Опыт множества поколений солдат и крестьян, деревенских охотников, отпечатанный где-то в мозгу, он проснулся и ожил сейчас на войне, отстранив все ненужное в данный момент, подчинив себе весь

организм, нервы, мускулы, душу и придав всему облику Валентина эту дерзкую щеголеватость, в то же время небрежность: шапка на ухе, автомат на ремне на сгибе руки, в углу рта изжеванная сигарка, глаза чуть сощурены. Ни девчонка-дружинница из проезжего медсанбата, ни солдат-пехотинец, еще не обстрелянный новичок, ни штабной офицер, от которого на три метра разит тройным одеколоном, не пройдут теперь мимо, чтобы с завистью не оглянуться: «Родила меня мама, не примает и яма!»

За время декабрьского наступления под Москвой Валентин вместе с группой захвата раздобыл четырех «языков», таких «мя-аконьких, те-епленьких», как рассказывал он командиру взвода разведки. И имя Яманова уже стало известным. Но сам Валентин никогда не хвалился своими заслугами. Он уже понимал, что у каждого человека хватит храбрости, чтобы идти на войну, но далеко не у каждого найдутся терпение, выдержка, чтобы всю ее пережить до конца. Для того чтобы всю такую войну пройти, перечувствовать, наверное, нужно иметь не одно только мужество или храбрость, а еще и умение видеть в себе на какое-то время то самого главного на войне человека, чтобы встать и пойти на стреляющий дот, а то самого малого, незаметного в общем ряду, уступая какое-то благо товарищу, защищая его, заслоня своим собственным телом. Вот из этого небольшого умения — знать всегда свое место, находить безошибочно нужный тон, нужный довод — в Яманове и рождалось достоинство человека, бойца: его высшая проба.

4

Из похода на Шестопаловский лес — Стоколос Яманов вернулся один, уже в полночь. Он ввалился в землянку разведвзвода в Черняевой слободе весь иззябший, продрогший и сел у порога, не в силах снять верхней одежды, стряхнуть с себя снег. Разведчик был бледен до желтизны, и Никифор Овчинников, быстро вставший с соломы на нарах, спросил осторожно:

— Ну, пришел?.. А где остальные?

Валентин ничего не ответил.

Их группу — Яманова, разведчика Степана Пяткова и девушку в старой, заношенной кацавейке и клетчатом домотканом платке — в полку у Тышкевича ждали всю ночь и весь день, а они не явились ни в назначенный час, ни позднее.

И все жили в тревоге до нового вечера, до темноты, не зная, что думать.

— Водки выпьешь, а, Валь?— спросил снова, заботливо хлопоча, неловкий Никифор.

— Он не ко-от, моло-ка-а не пь-ет,— пошутил было тонкошейей длиннорукий новичок из Рязани по фамилии Шкода.

Но Никифор его осадил:

— Цыц! Ш-шанок... Помолчи, покель старшие говорят!— Овчинников теперь был при Яманове добровольным помощником, охраною, нянькой, сам учился уже у него, а поэтому относился с большим уважением. Он негромко спросил:— Валь, а Валь? Ну ты... что?

Тот провел по лицу почерневшей, негнувшейся рукой, словно снял с себя лишнюю паутину, стер ее, плюща губы и нос, оглянулся, как будто бы возвращаясь не только физически, но и душой из неведомого далека, хрипло выдохнул воздух:

— Ничего-о... Та-ак! — отрезал ладонью.— Пройдет...

— А Стяпан? Где Стяпан?— Пяткова любили в разведке за добрый, веселый, открытый характер.

— Нет Степана... И больше не будет.

— Та-а-ак.— Никифор вздохнул. Повторил, словно эхо:— Нет Стяпана...

Идти с Валентином должен был он, Овчинников. Командир не пустил. Сказал: «Ты, сержант, посиди! Вперед батьки в пекло не суйся!» «Так батька же я, а не он, товарищ старшой!» — возразил было Никифор. Но старшой, почему-то озлясь, грубо, резко ответил: «А знаешь хорошую поговорку, что... старого кобеля не батькой звать? Батька тот, кто умеет...» Никифор обиделся, повернулся и ушел, по-стариковски сеутулясь. И вот нет Степана, здорового, крепкого сибиряка. И больше не будет. А мог бы вот так не вернуться Никифор.

— Ну выпей,— опять предложил он Валентину.

Тот, не глядя, взял кружку из рук, выпил залпом, вытер губы рукавом запятнанного кровью маскхалата, помолчал. Объяснил не спеша:

— Фрицы, погань... Ребеночка, во-от такого, распяли... Вот гады! Смерти им, сукам, мало!

В землянке, где сидели, лежали и двигались, разговаривая, десятки людей, стало тихо. Никифор Овчинников тоже смолк. Он вертел в руках только что свитую из сыромятных ремней узорчатую плетть со свинцом на конце — Валентин упрямился поскорее сплести для поездок на лошади — и глядел себе под

ноги, на затоптанный глинистый пол, неподвижным, сощуренным взглядом. Кто-то тихо сказал:

- Вот сволочи! Нехристи, будь они прокляты!
- Ну, фашисты, и все! — гомонили в землянке.
- Давить их, поганцев, живьем...

Никифор взглянул на Яманова. Тот снял кашпошон, стряхнул капли талой воды у порога. Когда-то густой, просяной его чуб, круто выющийся, непокорный, сейчас липнул ко лбу свалывшейся прядью.

— Эх, Валюха, — заметил Никифор, вздыхая, — покамест дойдешь до Берлина, будешь серый как волк... А? Белеешь кудрями-то, а мордой темнеешь!

На что Валентин незнакомо, угрюмо ответил, едва разжимая сведенные судорогой губы:

— Ничего, дядя-а... Я им это припомню... Без волос, без зубов — а дойду... Кровь из носу, дойду!

И он лег на нарах, отодвинув Никифоров вещмешок, запищавший ему же, Валентину, особое, лучшее место, закинул за голову руки. Но глаза не закрыл, молчаливо с тоскою глядел в потолок, вспоминая ту ночь и гибель Степана. Кто из них в этой гибели виноват? Да и есть ли вообще в этом случае виноватые?

Через лес, сельцо Манино, к Стоколосу, разведчики вместе с девушкой шли быстрым ходом, минуя немецкие огневые, сперва по оврагу, потом по замерзшему руслу реки с крутыми отвесными берегами. Потом снова зашли в густой лес, уже с запада, с тыла; лес большой, Шестопаловский, знаменитый своей недоступностью для разведчиков. Здесь, как им говорили, укрывались от наблюдения с воздуха немецкие танки, а наверное, находились и ремонтные базы, и склады, и сам штаб этой танковой части. И Яманов с Пятковым и Лидой сторожко, по-лиси проползали кустами в двух-трех метрах от часовых, и Яманов все высмотрел, все заметил, запомнил. А потом они вышли молоденьким ельником к хутору Яблонному, где Степан и Яманов остались одни дожидаться разведчицу, а та проскользнула во тьме мимо старых ометов и скрылась. Пошла по какой-то невидимой, известной лишь ей одной тропе в Стоколос.

Нет... Нельзя вспоминать... Все равно никому не расскажешь, как сперва все валил и валил мокрый снег, а потом в темном небе промылась, протерлась луна, снег заискрился, заблестел — ведь бывает же эдакая напасть! — и они со Степаном Пятковым увидели одновременно: на стене небольшого

амбара, стоящего сбоку дороги, смертным белым крестом обвис головой, уже весь застылый, распятый мальчонка лет пяти, с проткнутыми ржавыми гвоздями ладонями рук и ступнями. И Степан не сдержался, он юлой закрутился на узкой тропе, взявшись за голову, задыхаясь и чуть не крича, закачался, пока Валентин не свалил его с ног, не повлек за собой чуть не силой, подталкивая то кулаком, а то автоматом...

И теперь никому не расскажешь, как лежал перед ним на снегу подорвавшийся на mine Степан, и как будто не раненый, а оглушенный, только длинные ноги в белых чистых портянках почему-то уже оказались без валенок, и Яманов нагнулся пощупать, живой ли, скорей найти рану, перевязать, но когда наклонился, то вспомнил слова военфельдшера Тягунова: «А такого не трогай, уже не жилец.. Сапоги отлетели.. Было несколько случаев. Всем приметам примета», — говорил Тягунов.

Не расскажешь и этого: как тащил на себе неподвижное тело товарища, как попал под огонь пулеметов своих же солдат, потому что сигнальный фонарик остался лежать на снегу, у амбара. Как сверлит и сверлит теперь одна главная мысль: а где же та девушка, с которой они проходили в тылы? Отчего не вернулась?.. Прямо хоть голову отрезай и клади ее рядом с собою на нарах, столько в ней беспокойных, тревожащих мыслей!

5

— Сатаненок твой спит? — спросил рано утром, быстро входя в землянку, дневальный.

— Какой сатаненок? — удивился Никифор.

— Ну, дружок твой, Валюха Яманов.

— А он, паря, свойский, тамбовский. Не трожь! Ишь придумал чего: сатаненок!

— А пошто он такой? Ничего не боится, прет всегда на рожон, ровно дьявол.

— А уж это тебя не касается, не замай! Чего надоть?

— В штаб к Тышкевичу вызывают. Срочно! Бегом!

— Валь, а Валь? — осторожно коснулся плеча Валентина Никифор. — Ты не спишь?

— Ну... не сплю...

— Слыхал? Вызывают!

— Ну... слышал... — отозвался Яманов и встал с неохотой. Закричал на дневального: — Чего ждешь?.. Иду!

Как всегда, когда собирался идти на задание, натянул поверх телогрейки и ватных стеганых брюк заготовленный загодя белый стираный маскхалат, весь в заплатках на локтях и коленях, прихватил рукавицы, осторожно заткнул за голенище наточенный до тонины паутины длинный нож — им Яманов снимал часовых у немецких штабов, — взял привычно тяжелый, обоюженный на руке автомат и, не простившись ни с кем, пнул ногой молча дверь и пошел по Черняевой слободе своей неуклюжей походкой, загребая носками растоптанных валенок слишком рыхлый, податливый снег. Он не знал, зачем именно вызывает Тышкевич. Но опять был готов ко всему: красться, прятаться, перебегать, пробираться ползком через линию фронта, снимать часовых, тащить связанных «языков», добывать документы, выслеживать, нападать, не щадя своей жизни. Впереди был Берлин, до которого он поклялся дойти. Отомстить. За ребенка. За Степу. За ту девушку. И он верил — дойдет. Обязательно доберется.

Тышкевич стоял у порога избы в одной меховой безрукавке, несмотря на мороз, с пистолетом на животе, в сбитой на ухо кубанке с малиновым верхом, как-то сладенко, полусонно улыбался, покачиваясь на носках. Увидев Яманова, он не то указующе, не то предостерегающе поднял палец в ответ на приветствие:

— Тихо, Валя, отставить! — и как будто проснулся, обернулся к нему: — Ну, славное воинство? Всех нынешней ночью порастерял, и живых, и мертвых? А?.. Отставить! Отставить! — Он, по-видимому, чем-то был все же доволен. Приглашающе сделал жест: — Топай в хату! Сейчас мы с тобой побеседуем... Тут один человек поджидает тебя!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Шерстобитов стоял у стола и держал телефонную трубку, не зная, что делать, пока связист Ахметзянов не вынул ее из каменно стиснутых рук. Но и после этого он еще долго не мог шевельнуться, шагнуть, сесть на стул, а стоял и молчал потрясенно. Как будто бы сделай он небольшое движение, скажи слово — и то, что он только что услышал, будет истинной. Жизнь закончится, оборвется не от мины, вдруг грохнувшей под окном. А от слова.

Телефонный звонок... А ведь он его одного и боялся. И сухо-

го, короткого сообщения: не пришла. Не вернулась. И еще не пришел, не вернулся Пятков. Но Пяткова товарищ принес, хоть и мертвого, протащил через все заграждения. И сейчас они, немцы, и бесятся, понимают, что кто-то у них проскользнул через линию фронта, чего-то унес... Всю землю готовы изрыть, а достать, уничтожить. Может быть, и ее вот таким точно взрывом...

Шерстобитов наконец очнулся от дум. Оглядел свою комнату, освещенную мертвенным светом гаснущей лампы, стол, заваленный сводками и уставами, свою койку, прикрытую плащ-палаткой, а на ней — комиссара дивизии Алексея Диденко. Тот вернулся с передовой, крепко спал, и разрывы снарядов и мин под окном не будили его, а только заставляли ежиться, корчиться на постели, словно кто щекотал. Потом он повернулся лицом к стенке, натянул на ухо шинель и затих, погрузился в такие глубины солдатского сна, что, наверное, разбудить его сейчас мог бы только единственный возглас: «Танки! К бою!» — как было однажды.

Шерстобитов дотронулся до плеча комиссара, но не крикнул: «Танки! К бою!» — а тихонечко долго тряс его за плечо, пока тот не привстал с закрытыми глазами.

— Алексей! А, Алеша! Дид! Вставай, останешься в штабе. Я еду к Тышкевичу в третий полк. А потом к Подкорытову в первый. Говорят, немцы лезут, как с цепи сорвались.

Комиссар, белокурый, худой, узкоплечий, привстал, ничегошеньки не понимая, посидел с полминуты лицом в ладони, как будто досматривал сон, потом поднял голову:

— Хорошо, Митрофаныч, иди!

Небритые его скулы темнели щетиной, он поскреб ее ногтем, вынул бритву из сумки. Попросил Шерстобитова:

— Только в пекло не лезь.

— Хорошо. Не полезу.

У крыльца командира дивизии ждали Венька Двойных и ординарец, держали заседланных лошадей. Шерстобитов вскочил на поджарого дончака Орлика; тот сперва чуть спружинил на задние ноги под тяжестью ноши, потом повернулся легко и привычно пошел на Черняеву слободу. Шерстобитов подумал и поправил коня, подтянув левый повод, — нет, сперва в первый полк, к Подкорытову. К Тышкевичу после.

Вокруг все пустынно белело — и небо, и поле, и лес, и недавние пепелища разрушенных деревень. Теперь немцы при отступлении не только сжигали деревни, но в бессилии злобы разрушали и основу основ обгорелых жилищ — толстостенные

русские печи, бросая в них связки гранат. В эту ночь, истекающую тусклым, словно невымытым, рассветом, и обломки обугленных кирпичей тоже были в снегу.

Впереди чуть придавленное облаками небо подрагивало, клубилось, возвещая невидимые за чертой горизонта пожары. Артиллерия у Подкорытова грохотала не переставая. Навстречу комдиву по дороге шли раненые, поддерживая друг друга, опираясь на винтовки. Бинты были в кровавых расплывшихся пятнах.

— Что там?— спросил Шерстобитов, осаживая оробевшего Орлика.

— Головы не дает поднять, товарищ полковник, аж пыль над траншеями, ничего не видать!

— И чего он попер?— удивлялся солдат с забинтованными руками.— Тихо-тихо сидел. А сейчас ровно бешеный, с глузду.

Пожилой длиннорылый боец с завязанным глазом пожаловался огорченно:

— Эх, товарищ полковник... До каких же это пор мы будем терпеть? Ни праведнику венца, ни грешнику конца! Это что же такое?— Помотал головой, посоветовал Шерстобитову:— Вы, товарищ комдив, пешочком бы, без лошадки. Здесь, на взгорке, не дай бог заметит — убьет...

На востоке чуть брезжило, когда Шерстобитов под разрывами мин пробрался наконец на КП батальона Коровина, где разведчицу ждали и где не дождались ее. Серо-желтое, бурое зарево на западе слегка шевелилось, дышало, росло, то сжимаясь, а то разжимаясь, словно там занималось другое, холодное, лживое солнце. И полковник поежился недовольно, подумав при этом угрюмо: «Это мне наказание. Я прощал себе что-то черное, нехорошее. А война не прощает. Перед ней нужно быть чистым, прозрачным как стеклышко. А иначе расплата. Расплата за все...»

Почему-то он вдруг ужаснулся: что подумает Лида перед смертью о последней их встрече?.. Ей хорошего и припомнить, к сожалению, нечего.

За военное лето, военную осень и первую половину зимы Шерстобитов немало их повидал, самых разных девчат. И веселых. И грустных. И робких. И отчаянно смелых. И уже различал чуть заметный и вроде бы даже малящий оттенок трагизма в их манерах, в движениях, даже в голосе, в умении по-особому ловко сворачивать самокрутку, в том, как девушки пели свои песни в землянке, у печки, или ночью в лесу, у кост-

ра. И этот оттенок был тем привлекательней и безнадежней, чем смелее, красивей, беспашабней девчонка.

А к нему почему-то такие и льнули. Иногда с сожалением замечал за какой-нибудь самой бравой и ловкой: эта больше ничем уже не дорожит. Даже близкими. Даже собой. Ни о ком не заплачет. А иная, возможно, и заплакала бы, да оглянется: всюду только мужчины, суровые, неуклюжие люди; а она только женщина. Вот и тянется быть почти что мужчиной. А они, накипевшие, но не пролитые, горевые женские слезы, огрубляют и женщину, не заплакавшую при всех, и того, кто находится рядом, и не сразу же зачерствевшего...

Глядя вдаль, на чернеющую кромку леса, Шерстобитов ушел на мгновение в глубь слонстых от времени воспоминаний, как уходят нырком в глубину прозрачной воды: все видеть на песчаном, пронизанном солнцем, гофрированном волнами дне, каждый листок и камушек.

Великое множество отмелей и омутов на родной его, никому не известной речушке Листвянке, у села под названием Мокрая Чалка. Много заводей с тинистым дном и без дна, с берегами, поросшими купырями, кугой, остролистой осокой; бочагов, пробирающихся до костей смертным холодом родников, сонных плесов, густо, слепо обметанных по краям водяною гречихой и ежеголовником.

В такие глубокие заводи и омуты, в ледяные бочажки для купания лучше с берега не заходить, осторожно ступая по илу ногами, а подальше да побыстрей разбежаться — и прыгнуть с разбегу вниз головой, сложив лодочкой руки, чтобы там, в глубине безвоздушного мира, оттолкнуться каким-то звериным или рыбьим движением от воды и вынырнуть наверх, на зеленое водное зеркало. А потом бултыхаться уже и плескаться на разводье, среди блесток разросшегося рдеста и ниточек водокраса.

Вода в таких бочагах бывает и теплая, прогретая солнцем — но тогда она гуще, кофейного цвета от настоя на торфе, на корнях многих трав, на плавающих созвездиях белых лилий, — и холодная, светлая, с короткими прочерками серебряных невинных пескариков.

Он припомнил такой бочажок, в белых лилиях, и прикрыл ладонью глаза, улыбаясь и в то же время нахмурясь: дочь объездчика, Анка. Тощеватая, черноглазая, с двумя косками на затылке. Не девчонка, а бес, сама сатана, со звонким голосом, с неумейной веселостью вечных выдумок, забавлявших и мучивших окружающих, в том числе и Степана.

Был июльский, безоблачный день, весь дымящийся от полдневного солнца. Анка сбросила с себя платье и скользнула в зеленую воду, забила ногами, плывя по-собачьи. А потом оглянулась и крикнула: «Степ! А ты-ы? Отчего не купаешься? Прыгай скорей!»

Степан, по-мальчишески не заметивший тогда Анкиной голизны, тоже бросился следом. Он с размаху, желая ее припутнуть, поднырнул под девчонку и скользнул длинным телом по телу — и тотчас отпрянул, словно варом ожгло. Незнакомое и неясное еще чувство стыда охлестнуло его от макушки до кончиков пальцев. Он растеряннo оглянулся на Анку — и саженками выплыл к берегу, выскочил на нагретую солнцем траву, в лопухи, весь сведенный неловкостью своего и ее обнаженного тела, удивляясь чему-то в себе и пугаясь.

А девчонка, оказывается, и не заметила ничего...

Хохоча и плескаясь, она все юлила вдоль берега перед ним, все вертелась в воде, извиваясь ребячески тонким, бесплечим, безбедрым, но смуглым и радостным телом, повторяя движение вьющихся над головою стрекоз, все смеялась, пока он не заплакал...

Анка, глупая и счастливая, как теленок, отвязавшийся от кола, резво взбрыкивающий на лужайке, — что она понимала тогда?.. А Степан ее понял — и запомнил, запрятал в душе. Хотя, в сущности, не было ничего. Только это одно. Только странная теплота проскользнувшего длинного, тонкого тела, да колючий, уже не ребяческий стыд за нее, за себя, за волнение вдруг ударившей в голову крови. После он никогда уже ничего не стыдился. Может быть, потому, что всерьез и души-то никто не затронул: ни одна из увиденных, а потом ставших близкими — и далекими — женщин.

Лида, может быть, по неведению, тоже чем-то коснулась в душе его теплой струны, как Анка когда-то... Он подумал об этом неожиданно для себя и застыл потрясенно: значит, он-то, выходит, еще стоит чего-то, не пропащий совсем человек! Значит, есть чистота и живая прохлада... А ведь как горевал о себе по ночам. Думал: все, никогда уже больше в его жизни не будет ни солнечных бликов, ни белых кувшинок, ни теплых песков, золотых, словно счастье. А они все же есть? Существуют во тьме, в глубине, несмотря ни на что?

Шерстобитов стоял на НП у Коровина и сперва без бинокля, а потом в окуляры рассматривал лес, распадки, лощину, нейтральную полосу, передний край немцев, проходящий по

гребню высоты. В тусклом свете холодного зимнего утра чуть угадывалась занесенная выюгами Александровка: над ней и в кустарниках, прилегающих прямо к переднему краю, то и дело взмывали осветительные ракеты, уже блеклые, еле видные на размытой, размазанной лихорадочной красноте отдаленных пожаров.

Шерстобитов вздохнул, сдвинул набок папаху: никого, ничего... Да и поздно уже. А Коровин, услышав этот сдержанный вздох и по-своему истолковав его, поспешил объяснить.

— Это если бы не луна, товарищ полковник,— сказал он оживленно, словно радуясь происшествию.— Не луна, а рентген. Когда надо, так нет ее, а сейчас, понимаешь, залезла на небо и вот безобразничает... Наверное, аж до Смоленска видеть все насквозь. Ну, вот девушка и попалась, наверное...

Шерстобитов с волнением, с гневом на него оглянулся: чего раньше времени хоронить? Тоже... выискался прорицатель! Но сказать ничего не сказал. Его мучило то, что послал Лиду сам, сам все это придумал, никто не навязывал. И опять возвращался к единственному решению: а кто лучше ее провел бы разведчиков?.. Тут другого и не придумаешь...

Он рывком повернулся, пошел по траншее. Командир батальона шагал за ним следом.

— Если будут какие-нибудь изменения в обстановке, доложите Подкорытову,— приказал Шерстобитов Коровину, неотрывно смотря в белизну занесенного снегом широкого луга: все еще ждал чего-то, надеялся.

— Есть, товарищ полковник!

— Прикажите продолжать вести наблюдение.

— Есть, вести наблюдение!

Проводив командира дивизии, Коровин вернулся к себе на НП и встал рядом с солдатом, молча стынувшим у пулемета, понимая: не зря Шерстобитов приехал. Что-то есть для полковника важное в этом поиске, не один только выход разведчиков на наши позиции в двадцать ноль-ноль. И зевнул приглушенно, протянул вдруг с тоской:

— Эх, Андрюха! Какие усушки... Какие утруски-и-и... А, Андрей? Ты, товарищ любезный, понимаешь, не спи!— предупредил он наблюдателя жестко. И опять с хрипотцой, с хрустом в челюсти громко зевнул, не прикрыв рукавицею рот.— Доживем до победы, кто спросит меня о войне, скажу: это было давно и неправда... Ну? Чего ты молчишь?

Но солдат отвернулся, ничего не ответил.

У Тышкевича в штабе сумрачно, душно, темно. На полу спят связисты, повозочные, санитары, автоматчики из комендантского взвода. Сам Тышкевич, прикрывшись шинелью, лежит в гимнастерке и сапогах на хозяйской кровати. На столе среди пачек бумаг и газет, рядом с сумками и планшетами, в медной гильзе качается фитилек. На чайнике, на печурке, при каждом близком разрыве снаряда дребезжит и подпрыгивает жестяная помятая крышка.

Если в избу войти со свежего воздуха, дух шибает такой, что дышать нечем. Но для Лиды и эта застоявшаяся духота, и ключющий носом дневальный в дверях, и стук крышки на чайнике показались сейчас таким чем-то милым, домашним, что она в лад с мигающим светильником тоже быстро сморгнула.

— Ты? Живая? — откинув шинель, приподнялся с кровати Тышкевич. — Ну-у, пропавшая грамота... Да ты что? Опаздывать так, на целые сутки? Нет! Не верю. Ей-богу, не верю. Это надо же! Как же так получилось? А?.. — И он обнял ее, прижимая к себе, занесенную снегом.

Лида только смущенно, рассеянно улыбнулась, отряхнула свою кацавейку. Оглянулась на приведших ее автоматчиков:

— Товарищ майор, это им вот спасибо... поддержали огнем...

Тышкевич кивнул:

— Спасибо, ребята! Возвращайтесь к себе! — И Арсентий Михайлович, пригладив торчащие на макушке вихры, толкнул в спину уснувшего связиста, упрекнул его: — Дмитро, да ты что? Вызывай штаб дивизии.

Гот очнулся, испуганно вскинув руки, поправил наушники, что-то сонно забормотал, потом начал размеренно повторять заунывное:

— «Рассвет»! «Рассвет»! Я — «Заря»! Я — «Заря»!

Обернулся, довольный:

— На проводе, товарищ майор!

— Пусть попросят хозяина. Самого.

— Хозяин у Подкорытова, звонить надо туда.

— Вызывай...

После долгого ожидания наконец связист доложил:

— Полковник слушает...

Тышкевич взял трубку, поставил ногу на табурет, на котором сидел телефонист, рукой уперся в бок. Доложил тихим дрогнувшим голосом:

— Товарищ второй? «Береза» вернулась. Да. Сейчас. Да. Спусти почти сутки. Живая...

Трубка что-то заговорила в ответ неразборчиво. Тышкевич почтительно выслушал. Но позы не изменил. Лишь слегка наклонился вперед, объясняя:

— Не могу. Нет. Должна отдохнуть, обогреться. Я все понял. Да, сейчас прикажу.

Положив трубку, о чем-то долго раздумывал, потом обернулся к разведчице, приказал:

— Ну, сперва отдохни, отогрейся. Залезай-ка на печь да поешь что-нибудь...

Лида, сидя на лавке, безучастно, без аппетита пожевала кусок черствого хлеба, посыпанного крупной солью. Положенные командиром полка на хлеб розоватые, нарезанные соломкой кусочки сала она сдвинула на обрывок газеты, положила с краю стола. Попила из кружки невкусного, теплого чаю, посидела в задумчивости, приходя в себя, отдыхая. Затем скинула мокрые, обледенелые валенки и полезла на печь. Дневальный, сидящий у двери на лавке, тотчас встал, поднял валенки и, обстукав их один об другой, засунул в печурку сушиться. Туда же он по-хозяйски запрятал и ее шерстяные носки, еще маминой вязки, и портянки.

— Ну, ну, отдыхай,— сказал он почему-то ворчливо.

На жарко натопленной печке крепко пахло сушеной калиной. Лида с грустью вдохнула ее аромат. Это было запах детства, чудесного лакомства, приготавливаемого матерью лишь зимою по праздникам: вместе с солодом и мукой заваривались и спелые ягоды красной калины, сушеные груши, яблоки, вишни. Миска ставилась посредине стола, на наглаженной вышитой скатерти, и они с отцом ели эту пареную калину деревянными ложками, переглядываясь, улыбаясь, оба радуясь сладкому так, что мать незаметно уменьшала свою собственную порцию: «Ешьте досыти, я еще подложу...» Но сейчас этот терпкий, лесной запах калины в сознании Лиды жестоко мешался с другими: с пресным запахом снега и удушливой вонью тротила при разрыве снаряда. Он запомнился ей теперь навсегда, равно как и пугающий, резко щелкающий и словно бы даже пустотный звук вдруг лопающегося металла, и белая кость, вся в изломах, вылезаящая из разорванного рукава у убитого немца в воронке, где ей удалось запрятаться и пробыть целый день, а потом проползти незамеченной через линию фронта.

Лида все еще жила боем, его неудачей.

Да, наверное, это была неудача, если немцы обнаружили ее на обратном пути. Если на хуторе Яблонном грохнул взрыв и по всей широте обозначенного разведчиками прохода в минных полях затрещали, забились, пульсируя, пулеметные трассы, а после повисли, фосфорически излучаясь, зрея жуткими мертвыми сгустками, осветительные ракеты. Лида многого ожидала на обратной дороге, но только не этого взрыва, вдруг вставшего в небо багровым столбом, и не этих коротких перепархивающих автоматных и пулеметных очередей, отсекающих путь.

Сейчас каждый нерв ее тела болел, трепетал, а в глазах еще плыли огнистые трассы; в них, казалось, навек отпечатались, разветвляясь, длинноватые прочерки реактивных снарядов, похожие на летучее пламя электросварки: словно кто-то упорно хотел соединить в одно целое несоединимое — небо и землю, и это ему не удавалось, и он тут же опять и опять начинал все сначала. И зарницы работающих батарей... Да, «катюши»... Сказать. Не заспать. Когда, «отыграв», умолкали «катюши», немцы сразу выскакивали из укрытий и бункеров. Лида это отчетливо видела из воронки, в которую рухнула при начале обстрела. Только-только смолкали последние дробные, убивающие разрывы, немцы тут же выскакивали и развешивали по небосклону истекающие белым магнием «фонари». И высматривали, где стоят установки, где взблеснет пулемет, дальнобойная батарея. А потом, в свою очередь, открывали огонь: залпом били орудия, минометы, так, что весь горизонт передергивался, словно вздетый на нитку, и на фоне затянутого дымом неба прорисовывались, как на фотографии, обрезанные снарядами безлапые стволы деревьев, кресты кладбища на околице хуторка, одиноко торчащие среди сугробов тут и там обгорелые, черные печные трубы. Вот на кладбище и за трубами фашисты и прячутся в бункерах. Это надо отметить...

Лида, словно проваливалась, засыпала в тепле — за весь недосып — и опять просыпалась. Где-то рядом с избой, на задах, в огороде, рвались мины: немцы били по площади наугад. И она всякий раз при разрыве возвращалась из теплого темного далека, механически отмечая сперва однозвучное лопанье мины, потом хруст сминаемой от удара осколочной оболочки. Спустя миг после взрыва что-то с шелестом рассыпалось, а она уходила опять в недоспанный сон...

Среди сна перед ней, как в кино, то мелькали картины обратной дороги до хутора, то дорога туда, в Шестопаловский

лес. Следы многих машин и гусеничных траков на снегу. То опять вдруг расширившиеся глаза еще очень красивой, нестареющей женщины с сединой в волосах, отворившей ей дверь: «Лиди?... Дочка Трофима? Ко мне?... А чего это он вдруг надулся?...» И как женщина тихо осела на лавку со скорбным лицом в беззвучных струистых слезах, когда Лида сказала: «Нет, папа убит. И мама погибла. А я к вам по делу...»

Потом, уже успокоившись, выслушав Лиду и вытерев слезы, Елена Кузьминична тихо сказала:

— Да ведь немцы за это вешают, убивают. А дворы жгут, облив керосином... Но я сделаю все, что ты просишь. Раз надо, так надо. Только в следующий раз поостерегись ко мне в дом приходить: старшой у меня в партизанах, а младшенький-то, Николаша, стакнулся со старостой, вместих самогонку пьют. Каб не выдал. И сегодня вот тоже куда-то подался: то ли к бабе, а то ли в набег с полициями. Любит страху нагнать, показать свою власть...

— Хорошо. Я учту. Немцев много в селе?

— Нет. Немного. Они сейчас все на строительстве. Оборону готовят. Гоняют и нас на работу: рвы, окопы копать, бункера. Лес пилить на завалы. А после нас выгонят километров за сорок. А здесь уже будет запретная зона, одни только немцы... Так мне Николаша сказал. Он-то знает...

— Ясно...

Под окнами кто-то прошел, проскрипел по сугробам валенками. Громко брякнул щеколдой. Елена Кузьминична так и застыла на месте. Она приложила палец к губам, схватила свой теплый платок, лоскутное одеяло с постели, кусок хлеба и сало, все сунула Лиде в руки, показала на дверь и наверх, на чердак:

— Торопись, я открою...

Они вместе шагнули за дверь. Елена Кузьминична, как бы невзначай, уронила корыто, опрокинула его еще на бок, а за ним и ведро, пока Лида лезла по лесенке вверх, а там осторожно зарылась в трухлявое сено.

— Ну-у, спи-и-ишь?— Пришедший пьяно ругнулся за дверь, затопал ногами, сбивая налипший на валенки снег. Потом чертыхнулся, повернувшись, оттесняя кого-то другого, вошедшего за ним следом в сени.

И женщина, обмерев, отступила назад, слабо ойкнув, всплеснула безнадежно руками:

— Ой, вы двое! Сынки... Николаша! Да зачем же вы вместе? Да в этакий час?..

— Тебя не спросили! — отозвался все тот же молодой пьяный голос.

А второй человек виновато вздохнул:

— Ничего, мать, иди! Мы печаянно с ним... столкнулись. Одни-то скорей, без тебя, разберемся... — Он дышал тяжело, запаленно, все постукивал валенком о валенок. Наморозившись на ветру, ледяные полы овчинного полушубка, цепляясь за что-то, издавали сухой металлический звук.

— Трофимушка... Да чего же в сених-то, здесь ведь холодно, व्यюжно...

— А нечего ему делать в избе! — сказал младший, а старший опять попросил:

— Ладно, мать, без свидетелев... Так сподручней, иди!

Елена Кузьминична, всхлипывая, ушла в избу.

Эти двое остались в сених. Наверно, стояли друг против друга, притихнув. Лиде не было видно, она затаилась, чтобы и дыхания ее никто не услышал, слабо дрогла под лоскутным, изношенным одеялом — в избе-то с мороза отогреть руки-ноги еще не успела.

— Ну, чего тебе? Что пришел? — спросил младший, трезвея.

— Не к тебе пришел. К матери, повидаться.

Николай глухо выругался.

— Небось жрать в лесу нечего, вот и приперся.

— Ну и это, конечно. Хлеба, салца, махорочки взять. От еды и тепла совершенно отвыкли...

— А кто ж тебе виноват? Сиди дома...

— Кто-кто! Не знаешь, что ль? Немцы...

— А чего тебе немцы сделали, что ты бегаешь от них, ровно заяц? Небось пальцем не тронут.

Тот, старший, Трофим, наверное, был жестоко простужен, он закашлялся бьющим в уши надсадным, сухим кашлем. Огдышавшись, сказал немного скрипуче:

— Полно шутки шутить, Николай! Ты с луны, что ль, свалился? Мало ль наших убили?

— Убивают одних коммунистов, а тебе-то чего?

— Что ты брешешь, сопляк! — рассердился пришедший. — А Подгузов старик? А Аксютка Полунина? А мальчонка на Яблонном? Они что, коммунисты? Да если и коммунисты, что же им теперь, погибать на родной-то земле?

— Надо было новым властям подчиняться, а не выпендриваться. Хоть тот же Подгузов. А то ишь... все за Красную Армию да за Советы...

— А ты против Советов? Ох, смотри, Николай, ошибешься... Пожалеешь, да будет поздно,— сказал тихо Трофим.— Как погоним фашистов, тебе вместе с ними каюк.

— Не погоните...— усмехнулся презрительно младший.— Кипшка тонка, чтобы гнать. Так, померзнете, поголодаете — и придете с повинной. Ишь, какие погоньичи! Тоже мне... Ваша власть до весны. А весной — у них танки. Рванут — и в Москве.

— Они были уже у Москвы. А теперь видишь где.

Они замолчали. Николай с тоскою вздохнул.

— Нет, Трофим,— отозвался он.— Я решил. Я иду в полицаи. Мне коровку дадут, земельный надел...

Старший сухо закашлялся, в его легких ходили тяжелые и свистящие хрипы.

— Ну, уж если коровка...— сказал он наконец,— то продайся, продайся! Но только запомни, судьба всех предателей одинакова: все утрачивать до конца. И чины, что получены, и тот сладкий кусок. Все, что дали враги. А останется только позор. Народ, он тебе никогда ничего не простит...

— Хватит! Будя!— с угрозой сказал Николай.— Стращай, да не очень. Я, ты знаешь, не из пужливых. Меня на хапок не возьмешь. Сам прищучить могу... И вообще... ты со мной по-тише...

Трофим встал с сундука, запахнул полушубок, тронул пальцем щеколду. Сказал тихо:

— Ну что ж... Хорошо же, браточек, запомни! Пугать я тебя не хочу и не буду. А только заплатишь за все. Своей собственной кровью... И вообще... Будь ты проклят, подонок!

И он, хлопнув дверью, сбежал по ступенькам крыльца, постоял, размышляя, потом, скрипя валенками по снегу, пошел — один — в ночь, в пургу, без махорки, без хлеба, не согревшийся возле печки, больной, даже с матерью не простившись, слова ей не сказав. Чуть визжащие звуки шагов его вскоре стихли вдали.

Николай еще долго стоял в сенях, думал что-то растерянно, напряженно, потом выдохнул, не разжимая зубов: «Н-ну, г-гляди! Береги-ись!» — и пошел в избу, там грохнул какой-то железной об пол, закричал и затопал ногами. А Елена Кузьминична плакала, причитала.

Лида долго ждала, когда в доме уснут. Но там не уснули.

Почти до рассвета Николай, грузно шаркая, все ходил по избе, все бубнил злобным голосом, выходил опять в сени и подолгу стоял у наружных дверей, но не открывал их, а лишь

только к чему-то прислушивался. Может быть, не хотел, чтобы мать потихоньку снабдила Трофима продуктами и куревом, а может, боялся подосланных партизан. Возвращался и снова топтался по комнате. Так что Лида в назначенный час не пришла на условленное место, опоздала. А придя, увидела лишь желтые выбросы газа и дыма, вдруг вставшие на тропе. И упала лицом в мерзлый снег. Почти целые сутки она пряталась в занесенной сугробом воронке, рядом с трупом убитого немца. Его руки торчали из снега, одна целая, стиснутая в кулак, а другая обрубленная осколком. Эта белая на изломе, уже обескровленная, оледенелая кость, вылезавшая у убитого из рукава, оказалась у Лиды перед глазами, совсем рядом. Зазубренная по краям, заостренная на конце, она словно бесстрашно грозила своим и куда-то звала, все указывала помертвевшей разведчице. Ни угроза эта, ни зов Лиде не были понятны.

3

Сейчас, у Тышкевича, лежа на печке, Лида медленно приходила в себя. Отогнав вязкий сон, она с удивлением думала: почему не окликнут ее, не разбудят. Осторожно нагнулась с печи и глянула вниз — Тышкевич не спит. В плохо стиранной бязевой нижней рубашке, он сидит, подперевшись рукой, за столом, что-то пишет. И вид у него самый мирный, простецкий. Сбоку, рядом, на лавке примостилась толстуха военфельдшер Маруся Селищева, в ватных брюках и свитере, с остатками перманента на волосах, уложенных на висках причудливыми фестонами. Губы ярко покрашены. Маруся по-мужски, неумело, размашистыми стежками пришивает к гимнастерке команди полка свежий белый подворотничок. У порога в углу все побряхтывает и покашливает тот же самый дневальный, который запрятывал в печурку Лидины валенки.

После близкого, прямо под окнами, взрыва мины дверь в избу распахнулась. Вместе с клубами пара вошла стройная женщина в меховой безрукавке, затянутая ремнями, с очень белым, холеным, красивым лицом. Она бросила перед Тышкевичем пачку бумаг и сказала:

— Все! Я больше не буду сегодня печатать!

— А что? Война разве кончилась? — удивился Тышкевич. — Не слышал об этом...

— Не война кончилась, а я кончилась! — ответила женщина и пожаловалась дневальному: — Тоже люди... Нашли себе лошадь...

Женщина не выговаривала «л», у нее получилось смешно: «вошадь».

Она повернулась, тряхнув желтыми локонами, громко хлопнула дверью и выскочила на мороз.

Маруся, поджав губы бантиком, осуждающе покачала головой:

— Вот это характерец у нашей Анюты... И когда перебежится?

— Маруся,— заметил Тышкевич,— зачем осуждаешь? — Он взглянул на нее очень строго, заслоня ладонью глаза от конящего света гильзы.— Ты мне тоже однажды сказала, что такая уж родилась... А Анюта, что ж, не такая?..

— Да ведь я на людей не кидаюсь, раз такой родилась,— возразила Маруся. Она отложила в сторону гимнастерку с непришитым воротничком и долго сидела в сомнении, закусив свои полные, нежные губы, раздумывая. Ее круглое лицо затуманилось от какой-то совсем молодой, но уже неизбежной печали.

— Мать-природа-а,— потянулся у двери солдат, разминаясь и хрустнув корявыми сцепленными пальцами, покачал головой.— Не каждого эта мать приласкает... Кому — мать, а кому — мачеха! Небось хоть Анюте, хоть нашему Шерстобитову крыльев ангела не приделаешь!

Лида даже привстала на уже остывающих кирпичах. Сон ее отлетел.

Тышкевич, уставший от писанины, тоже с живостью повернулся, встал из-за стола, прошелся по горнице, среди спящих бойцов. Он ладонью взъерошил свои черные жесткие волосы, пропустил их меж пальцев, пригладил и опять пропустил.

— Вы сказали, Николай Николаевич, крыльев ангела не приделаешь...— обратился Тышкевич к дневальному, а сам заходил взад-вперед по едва освещенному пятачку возле печки.— А вот я так решительно не согласен... Да, природа, конечно, мать, а не мачеха. Но не добрая мать и не злая. Для нее все едины. И все ею создано в мире с удивительным смыслом. Только мы, к сожалению, этого смысла не знаем... И ни я, ни вы, ни Маруся... Много в ней неизбежного.— Он взглянул в занесенное снегом окно. Обернулся на яркие губы своей собеседницы, притулившейся на скамье и сложившей большие, тяжелые руки.— А все же у каждого человека есть не только плохой, но еще и другой, лучший выход.— Он спросил у Селищевой:— Ну хоть ты вот,

Маруся, скажи... Ты хотела бы красоты?.. Совершенства?..

— А? Конечно хотела бы... Кто же не хочет? — обидчиво отозвалась Маруся, наверное, полагая, что такая искомая командиром полка красота у нее уже есть.

Но Тышкевич, как будто не заметив ее уязвленного тона, продолжал с увлечением:

— Ну, бывает: природа обделит дарами. Мы не очень красивы и не можем вовеки изменить свою внешность. Уж такая дана... Так зато есть характер, душа! Вот и дело тебе: возмись, переделывай свою душу. Зависть есть в ней?.. Пожалуйста, избавляйся от зависти. Грубость, жадность? От жадности и от грубости. Научись быть внимательной, доброй к людям, терпеливой, веселой. И будешь милей, чем Анюта...

Маруся сидела и, чуть приоткрыв рот, следила за двигающимся то в полосе света, то в черной тени оживившимся, увлеченным Тышкевичем.

— А скажите, Арсентий Михайлович,— вдруг спросила она,— а можно стать нежным? Ну, себя научить?..— И она вдруг запрятала заалевшее толстошее лицо, склонив голову к самым коленям.

— Можно, девочка! Можно... Все можно! — убежденно ответил Тышкевич, не оглядываясь на нее и продолжая ходить по какому-то установленному им самим для себя круговому маршруту.— Почему же нельзя? Это нужно. И это возможно.

— Я, как война кончится, буду нежность в себе вырабатывать,— сказала Маруся, мечтательно глядя на подпрыгивающий в гильзе огонь.

Тышкевич крутанулся на каблуке, стоя к ней вполоборота, засмеялся:

— Постой! А зачем же откладывать?

— Так война ж...

— Ну и что, что война? Война с немцами! А к своим-то никто тебе не препятствует быть внимательной, нежной... Например, хоть ко мне...

— Ха! Ха! — громко, сухо и внятно, деревянным смешком рассмеялся дневальный, которого командир полка уважительно называл Николай Николаевичем.— Не-ет, Арсентий Михайлович! — закричал он обрадованно.— Эта нежность не вам, а Сереженьке Большакову! Вот кого ожидаем с тоской, даже песенок не поем, как бывалоча, на весь полк.— И дневальный залился тихим, дробным смешком.—

Как же, как же, Маруся! — закричал он опять громко, радостно, объясняя с восторгом: — Для Сереженьки нежность — самый первый продукт! Вырабатывай... Расстарайся! Авось и проймет!

Лида вскинула голову. Что такое? О чем они говорят? Большаков? Этот раненый капитан — теперь он майор — Сергей Большаков из палаты нетранспортабельных... Это, значит, о нем? Вот не думала! Большаков и Маруся! Как-то даже не вяжется. Он такой настороженный, тонкий, чуткий — и глупенькая Маруся. Нет... смешно!

А внизу уже спорили, перебивая друг друга.

— Ну и что, что Сергей Александрович не глядит на меня! — кричала Маруся. — А когда-нибудь глянет. Я для этого и живу... А на вас уже больше никто не посмотрит, — сердито сказала она, намекая на возраст дневального.

Тот, совсем не обидевшись, усмехнулся в усы. Посоветовал совершенно серьезно:

— Ты давай поскорей переделывай свою душу... Приспосабливай поудобней. А то эта твоя никуда не годится! Вот тогда он и глянет! — И он встал с привычного места от двери, обратился к Тышкевичу: — Не-ет, Арсентий Михайлович, не скажите... Вам я верю, конечно... Может быть, Маруся себя переделает. Это так... Но не каждый же... И не во всем. Это как-то, по-моему, невозможно. А особенно грязное — в чистое. Тут уж кто замарался душой, больше чистым не будет. Природа, она штука хи-и-итрая... Безвозвратная. Все хорошее ею дается на раз. А чего не сберег, извините, пожалуйста, уж того не воротишь. Ровно в прорубь какою...

В той же позе, на тех же камнях остывающей печки Лида молча лежала и слушала, ощущая на губах от слов Николая Николаевича вкус горечи, как от полыни. И думала о себе, о Сергее, о полковнике Шерстобитове.

Может быть, и Степан Митрофанович сейчас тоже не спит... Тоже мается, вспоминает. Только гордость не позволяет сесть в санки, приехать: перед Венькой стыдно. Да еще перед мальчиками-близнецами: у него перед койкой на тумбочке фотография. И жена есть — Ульяна. И еще были женщины, «много хороших и разных».

«Отчего это так получается, что хорошее, настоящее в жизни дается на раз? — с тоскою подумала Лида. — А если ошибся? А если по глупости, по незнанию, словно бабочка на огонь? И уже не вернешь ничего? Нет, нет, он не прав,

Николай Николаевич. Только время одно невосвратно. А все остальное — в руках человека. Можно пасть — и подняться. И душу сберечь. Я не верю, не верю в губительность опыта... Не хочу в него верить».

Лида вспомнила: вчера в полдень в шести километрах восточнее Стоколоса, в лесу, когда отдыхала в овраге, ветер стих, облака разошлись, и лицо ее на мгновение чуть пригрело совсем по-весеннему солнцем. словно кто-то невидимый, не таясь, очень нежно касался губами ее щек, бровей, щеко-тал ей ресницы теплым, добрым дыханием. И лежащий на сердце мертвящий комок немного оттаял. Лида даже рас-сеянно улыбнулась тогда двум примчавшимся снегирям. Они прыгали по промерзшей земле, по валежнику, щебеча и насвистывая звонко, радостно, возбужденно, словно не было ни войны, ни фашистов, ни тайных, ни явных убийц, ни предателей, ни бесславных, безвестных смертей, ни забы-тых могил... А сейчас на душе снова были холод и мрак, круговая зима — во все стороны света, без конца и без края.

4

Рано утром, когда Лида встала, Тышкевич вручил ей измятый, затертый конверт. Лида вскрыла его. Почерк был незнаком.

«Лида, здравствуй! — писал ей какой-то неизвестный че-ловек. — Ты, наверное, не ожидала письма от меня, а я вот пишу тебе, дорогая. Вчера в госпиталь прибыло много ра-неных, в том числе и из нашей болотной, непромокаемой. И от них я узнал о тебе. Что ты в подчинении у Тышкеви-ча, что учишься под началом Яманова. Горжусь тобой! Как хотелось бы повидаться опять! Посидеть поздней ночью у пылающей печки, послушать тебя, поболтать... Санька пер-вое время так просто бесилась, а теперь улыбается непонят-ной улыбкой, когда мы говорим о тебе: «Это Лида-то? А-а. Далеко пойдет... пока милиция не остановит!» А в общем, по-моему, она девка хорошая, только любит представиться чем-то особенным, из ряда вон выходящим. Мы уже приви-каем к ее «афоризмам». Однажды сидит и говорит: «Вы, мужчины, бываете двух сортов: одни — волки, другие — со-баки». Это в том смысле, что одни к женщине относятся как хищники, им бы только урвать, а другие готовы слу-жить: защищать и любить по гроб жизни... Так вот, Лидоч-

ка; я — собака. Простой, верный пес, дворняга. Брось мне кость: напиши, что простила. Я от счастья и радости буду даже рычать...

Твой *Сергей*».

Лида раз перечла и другой, усмехнулась. Простить! Да она его просто забыла, столько было всего пережито за прошедшие дни... И какая смешная эта Санька Аралова...

Лида положила письмо на припечке, пошла умываться. А когда возвратилась со двора, в одной нижней рубашке с закатанными рукавами, умытая снегом, веселая, свежая, на пороге столкнулась с ненавидящим, косым взглядом Маруси Селищевой. Та подчеркнуто, даже презрительно дернув плечом, отвернулась.

— Ну, садитесь скорей, будем завтракать,— примирительно обратился Тышкевич к Марусе и Лиде.

— Не хочу! Я не буду! — сказала Маруся.

— Это как: «Я не буду»? Безответственное заявление,— усмехнулся Тышкевич, хлебая из миски и поглядывая на Марусю и на Лиду смеющимися, понимающими глазами.— Ну, не будешь, тогда оставайся голодная.

— И останусь! У вас не спрошусь!— дерзко, гневно, сквозь слезы сказала Маруся и бросилась к двери, схватив с вешалки телогрейку.— А вы тут подавитесь!— уже сквозь рыдания прокричала она.

— Гм... К Анюте пошла! Вырабатывать в себе нежность,— заметил Тышкевич.— Для нее это очень полезное дело. А ты, Лида, ешь, не расстраивайся. Жизнь — явление сложное, как гласит диалектика. Все рождается в напряженной борьбе... Между прочим, тебе самый теплый привет.

— От кого? — Лида глянула недоуменно, но сразу же догадалась. Ее сердце забилося насгойчиво, учащенно.

— Это... как бы точнее сказать,— протянул осторожно майор. Он сейчас улыбался ей не глазами, не ртом, а какой-то суровой морщинкой возле губ.— Скажем так... Ну, из штаба дивизии.

Сложив на коленях лодочкой руки, Лида долго сидела безжизненно, без движения. Грустно, тихо спросила:

— А зачем мне... привет?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю,— сказала она.— Мне не нужно приветов.

И потом, отвечая на вопросы Тышкевича и Федотова —

он приехал тотчас после завтрака, — разговаривая с Ямановым — как прошла через линию фронта, по каким неизвестным ему, незнакомым тропинкам, Лида мысленно всякий раз возвращалась к комдиву с его неуклюжим приветом. Неужели Степан Митрофанович не осмыслил, что этим ее оскорбил? Всего-навсего только привет. Как ничтожно, как мало! А ей нужен он весь и вся его жизнь и любовь — до конца...

— Вы встречались с Еленой Кузьминичной Свириной? — спросил, снова вернув Лиду на землю, Федотов. Он дымил своей трубкой, кутал в сизые кольца посиневшие губы и нос.

— Да. Она обещала во всем помогать.

— Хорошо. Это нам пригодится. Еще раз пойдете?

— Если нужно — пойду.

— Ну, пока отдыхайте. Мы скажем тогда...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Принесенные Лидой и Ямановым сведения заставили Шерстобитова и весь его штаб глубоко озаботиться. Враг почти повсеместно начинал укрепляться, и как следует, основательно. Однако наступления на Александровку никто не отменял. Наоборот, командарм, выслушав по телефону доклад командира дивизии, подтвердил свое решение: «Степан Митрофанович, приказ есть приказ! Надеюсь, вы поняли?..»

Штаб дивизии ходит с утра ходуном.

«И-эх, закружилось, а-завертелось...» — безнадежно фальшивя, напевает на кухне, у печки, Венька Двойных, начищая свой новенький ППШ, а полковнику Шерстобитову — трофейный «шмайссер».

Беспрерывно звонят телефоны. Вбегают посыльные и связные, к крыльцу подъезжают коннонарочные с пакетами, офицеры связи. Отряхивая с шинелей и полушубков хлопья снега, в дверь входят с дубленными стужей лиловыми лицами командиры и политработники из полков, начальники служб, танкисты, минометчики, саперы, артиллеристы. Они сипло, простуженными голосами докладывают Шерстобитову о прибытии, жмутся к печке, снимают с бровей

и усов, с седых в куржаке нечесанных чубов капли влаги, вытирают ладонями планшеты и сумки и закуривают, хотя дым и без того висит в избе непроглядной, слоистой пеленой.

— Что? Война продолжается?

— Выходит, что так.

— А Гитлера-то не поймали?

— Споймают, браток, обязательно кто-нибудь да споймает. У нас, из Семеновских болот, мы Берлин уже наблюдаем...

Побывавшие не в одном бою плечом к плечу командиры подразделений рады встрече, хотя бы и такой — деловой, очень краткой, — подшучивают друг над другом.

— А ты что это, Витенька, вроде опух? — допытывается за спиной у старших молоденький рыжеусый гвардеец-танкист, обращаясь к тяжелому, косая сажень в плечах, то и дело прикрывающему зевотку лысеющему саперу. — Много спишь на хозяйской перине, а? Ты хоть опытом поделился бы, чего видишь во сне?

Тот смущенно разглаживает ладонью измятую щеку:

— День рождения справлял...

— А меня и не позвал! И другом еще называешься!

— Да чего там! — Сапер вяло машет рукой. — Так, восприняли по сто грамм перед ужином... От чоху, от гомозу и от жениной журбы... Рассказывать не о чем!

— Оно и видать, что рассказывать не о чем!

— Сроду не брехал... А тем более насчет выпивки и закуски.

Получив приказ командарма, Шерстобитов, комиссар дивизии Диденко и временно исполняющий обязанности начальника штаба подполковник Смирнов не день и не два сидят над картой, изучая ее, раздумывают, вызывают по очереди командиров полков: Тышкевича, Подкорытова, Огольцова и «бога войны» Хамидуллина, человека спокойного, умного, дерзкого. Надо спешить, исхитриться, чтобы выманить немцев на лютый мороз, а потом гнать и гнать их с высот, с лесистых холмов на равнину, в глубь болот, пока строящиеся фашистами окопы, укрытия для батарей, капониры для танков, жилые бункера для солдат и офицеров еще не завершены, а лесные завалы еще не заминированы, а отдельные узлы сопротивления еще не увязаны общей

системой огня. Гнать и гнать. Пока не раскисли дороги, не тронулись реки... Вот тогда уже все. Тогда с пушками, с танками да с обозами без авиации никуда уже не пройдешь. Даже если прикажут...

— Я спланировал артподготовку очень мощную, но короткую,— доложил на одном их ночном совещании подполковник Смирнов. На что Шерстобитов откликнулся утомленно.

— Ну, Павел Иванович! — сказал он, чуть растягивая слова, с большим недовольством. — А откуда вы возьмете такое количество орудий, чтобы сделать артподготовку короткой, но мощной? А главное: боеприпасов? — Он взглянул в подготовленные Смирновым бумаги, протянутые ему, и мрачно нахмурился, пояснил свою мысль: — За то время, какое вы отводите артиллеристам на артподготовку, огневые точки противника останутся неподавленными. А потом вы, по-моему, уже знаете, что фашисты опять отведут от переднего края солдат в глубину обороны. А когда пушки смолкнут, снова выведут к пулеметам и минометам. Ну и что это будет? Вы подумали? Это будут большие потери у нас, наступающих. — И он пошутил без тени улыбки, только косо взглянув: — А ведь нам и так... терять нечего... Вот ваш план! — Шерстобитов умолк и долго молчал. Начал снова, спокойней: — Нет... Я думаю, планировать нужно иначе. Обмануть немцев. По-моему, нужно тоже начать укреплять оборону. У них на глазах. На виду. Пусть немножечко успокоятся. Боевое охранение у них, как разведчики говорят, не везде одинаково бдительно. Вот мы и спланируем наступление ночью, без артподготовки. Одной частью войск. А другой частью войск... — И он снова задумался, поглядел на Диденко с глубокой серьезностью. — То есть тут нужно крепко подумать.

И он встал с табурета и, заложив руки за спину, долго расхаживал по избе в нереальном, химическом свете карбидной лампы. Ремни, туго стягивающие его плечи и узкую талию, при каждом движении чуть поскрипывали. Старший батальонный комиссар и подполковник внимательно, зорко следили за каждым его поворотом.

— А другой частью войск? — спросил осторожно Диденко.

— А другой частью войск... — Шерстобитов опять повернулся, наклонился над картой. — Понимаешь? Нам нужно создать сильный сводный подвижный отряд. Из лучших бой-

цов, из разведчиков, из саперов. Оборудовать специально волокуши, полозья для орудий и минометов, лотки для снарядов. Дать всем лыжи и автоматы. И хоть с тем же Ямановым...— Он подумал о Лиде, но ее не назвал.— И хоть с тем же Ямановым двинуться через линию фронта, шевельнуть их с тылов. Но так, чтобы не было окружения, дать им все же какой-то проход. Окружать мы не можем, силенок не хватит, а так... отожмем их подальше, на запад...

— Что ж...— сказал комиссар.— Идея что надо.

Он задумался и, легонько, как школьник, покусывая карандаш, долго глядел на карту.

— А кто будет командовать этим... сводным отрядом?

— Если б не был ранен Сергей Большаков, послал бы его. А так думаю: Марухненко.

— Ну что ж. Этот справится...— согласился Диденко.— В целом можно принять. Кое-что, правда, трѣба еще разжуваты... Так ведь времени нет!

— Поднатужимся... Как всегда... И еще нужно взять «языка». И немедля,— сказал Шерстобитов.— И разведать проходы в овраге, рассекающем Александровку. Пусть включаются в это все полки, вся разведка... Понимаешь, Алеша,— сказал Шерстобитов, обращаясь опять не к Смирнову, а к комиссару,— немцы-то вон как... спешат! Боюсь, не успеем.

— Ну что ж... Как ты говоришь: поднатужимся... раз другого выхода нет!

— Завтра съездим, доложим Горячеву: как он отнесется. А вдруг чем-нибудь да поможет? У него же есть возможность и на флангах нас поддержать отвлекающими ударами. И пушчонок подбросить...

— Да, конечно...

Полковник сел мрачный за стол, склонил голову. Долго скорбно молчал. Потом обернулся к Смирнову:

— Ну ладно. До завтра. А потом вызывайте людей, как я приказал.

— Слушаюсь, Степан Митрофанович!

— Спокойной ночи!

А когда подполковник ушел, усмехнулся:

— Ему-то ночь спокойная! А вот нам...

Комиссар сложил свои книги, брошюры, блокноты, спросил:

— А ты, Степа, здоров?

Тот откинулся к стенке, слегка удивился:

— Ты... о чем это? Совершенно здоров!

— Так... А мне что-то кажется, ты изменился за последнее время. Нет былой искрометности. Ведь я тебя помню, ты же бил как фонтан, сыпал шутками, все смеются вокруг, а сейчас чуть не плачут.

— Это я даю отдохнуть фонтану.

— Ладно, брось. В самом деле: ты что?

— Ничего.

— Ну?.. Скрываешь? А ведь был товарищем. Другом.

— А, ладно! — озлился Шерстобитов. — Жив, здоров. Всем доволен. Еще чего надо? Отстань!

— Хорошо. Я отстал. — Комиссар бросил в голова телогрейку, снял сапоги, расстегнул портупею. — Я, Степа, ложусь на часок. Советую и тебе. Хоть немного, а поспи. Нервы будут спокойней.

— Ты как врач-психиатр... Или поп.

— Я и то и другое.

— Ну, на исповедь не пойду. Обойдусь без тебя.

— Хорошо. А я все равно тебя, Степа, люблю. Понимаешь? Вот это запомни.

— Запомнил.

Оба легли. Диденко уснул, как ребенок, мгновенно. А Шерстобитов лежал мрачный и строгий. И мрачны и строгими были его командирские думы. Он хотел бы сейчас охватить своей мыслью этот сложный, живой организм, называемый стрелковой дивизией, и найти в нем себя навсегда, а главное — Лиду. Увидеть ее. Помириться.

Он — полковник, комдив, а она — рядовая. Между ними не только пространство от Каршина до Черняевой слободы, но и все, что готовится к предстоящему бою: все надежды и муки штабов, замышляющих операцию, все расчеты и могучая техника артиллеристов, минометчиков, черный, грозный металл танков, бессонные ночи командиров полков, комиссаров, парторгов, комсorghов, и лиловые всполохи над горизонтом, и тревожное зябкое ожидание пехотинцев в окопах. Он хотел бы увидеть ее в этот час — и не мог.

С появлением Лиды в разведке полка у Тышкевича и хождением ее в Стоколос неожиданно в дело включились и теперь неизменно влияли на них обоих какие-то до сих пор неизвестные Шерстобитову центробежные силы. Война, как гигантский засасывающий механизм, со своими порядками и особенностями, не зависящими от отдельного человека законами относилась ее от него, как ни странно, все дальше

и дальше, проводя по этапам служебного подчинения, отделив и разводя и его и ее по разным местам дислокации, овээсовским¹, пэфээсовским² и начфиновским спискам и различного рода приказам и ведомостям. Так что Лида, как будто бы находясь в подчинении у командира дивизии, уже вроде бы и не подчинялась ему, а являлась частицей того механизма куда меньшего круга, где важнейшим начальством был Валька Яманов, или вечный философ Арсентий Тышкевич, или маленький рыженький Аржанович, командир взвода разведки.

Шерстобитов даже завидовал им, Аржановичу и Яманову: они видят ее ежедневно, а он нет. Она даже спит где-то рядом с ними, на нарах, в землянке. Ест с Ямановым из одного котелка, разговаривает, смеется, рассказывает о себе... А он вдалеке. Он один. Хотя хорошо понимает, что живет уже двойственной жизнью: все в нем прежнее, и вся жизнь вокруг прежняя, но все это горестно, сладко и больно освещает какой-то невдомый ему свет. В этом свете видно все, что было недоброго, некрасивого в нем самом, в его мыслях, поступках, и так хочется поскорее отрешиться от прежнего, быть моложе, умней, простодушней. Может, даже наивней, смешней.

Он поднялся, прошелся по комнате в одних теплых носках, заглянул в затемненную боковушку: там на лавке, согнувшись, в неудобной позе спал Венька. Осторожненько тронул его за плечо:

— Вень, а Вень?

— Да! Сейчас.— Тот еще не проснулся, но уже тер глаза и натягивал на себя гимнастерку, а на ноги валенки.

— Собирайся... Я — в полк...

— Хорошо...

В эти дни больше всех доставалось не кому-нибудь — Веньке. Он теперь и во сне, наверное, мог рассказать, где у немцев подлинный передний край, а где ложный, где позиции батарей основные, а где запасные. И где вражеским снайпером простреливаются все тропинки, а где можно ходить во весь рост, потому что не раз и не два, павернос, сотни раз побывал с Шерстобитовым в батальонах, знал посты боевых охранений, знал сугробы, овражки, заснеженные кусты на всем протяжении линии фронта дивизии. И хотя ничего не боялся, случалось и кланяться пролетающей пу-

¹ ОВС — обозно-вещевое снабжение.

² ПФС — продовольственно-фуражное снабжение.

ле. Но то, что когда-то вызывало у комдива угрюмые замечания, теперь вызывало веселую шутку.

— А какому это ты молишься богу, товарищ Вениамин? Что-то я не пойму. Богу Марсу? Богине Беллоне?

На что пробиравшийся вместе с ними Федотов замечал с улыбкой:

— Он, товарищ полковник, Морфею. И богине любви.

— А чего же Морфею-то кланяться в пояс?

— От усердия! Веня без лени

2

Часов в восемь утра они с Шерстобитовым уже были на КП Огольцова, и полковник был весел, даже голос звенел. Не попивши чайку, не согревшись, он схватился за трубку:

— «Туча»! «Туча»! Ты слушаешь? У тебя там скопление транспорта на дороге. Да, есть такие сведения... Разберись, пока с воздуха не расчихвостили. Подними весь свой штаб на расчистку. Да, сейчас же... Еще передай всем повозочным и шоферам, выезжающим на армейскую трассу: ввиду сильных заносов иметь при себе лопаты для расчистки дорог...— и кивнул молодому связисту:— Теперь Кухтаря!.. Кухтаря! Это ты? А чего это ты хрипишь? Простудился? К девятнадцати тридцати чтобы мой КП был в квадрате... Взгляни-ка на карту! У тебя есть рядом карта? Да, квадрат сорок восемь — пятьдесят шесть... Будь здоров. Чтобы все было как положено... А теперь Агафоненко! — Наклонился пониже:— А ты, Агафоненко, за бездеятельность пойдешь под трибунал! Тебе ясно? Что такое?! А ты брось это... ныть. Перестань быть просителем. Требуй! Это нужно для дела. Не можешь проехать на машине, езжай на лошади! Не можешь проехать на лошади, иди пешком! Вызывай из полков, пусть солдаты в мешках на себе переносят, а чтобы полностью были огурчики!

Подкорытова на провод! Михаил Николаевич?! Приветствую, друг. Как работа идет?.. Аж землю роешь? Ну рой, рой, хорошо. Укрепляйся! Пусть хлопцы погромче стучат топорами, как следует изобрази переход к обороне... Да накатов побольше. Блиндажей тут и там... Чтобы трубы дымились в полосе наблюдения. Ну, действуй, действуй! Впотьмах и гнилушка засветит!

И опять они ехали по лесистым тропинкам верхами, а где пробирались ползком...

Возвращались они в штаб дивизии уже к вечеру, ком-

див и Двойных, оба сильно замерзшие и голодные, в индеевских черных бурках и малиновых башлыках. А навстречу им — всадник. Шапка сдвинута на затылок, конь идет бодрым шагом, хотя не спешит. И вдруг перед всадником, метрах в пятнадцати, длинным черным столбом, чуть пружинясь на толстенькой, пухленькой ножке, взметнулся и постоял, качаясь как пьяный, весь грохочущий, набитый осколками и оранжевым пламенем выброс земли. Лошадь странно присела на передние ноги, мотнула оскаленной мордой и кинулась в поле, одолев одним махом придорожный сугроб. Всадник резко привстал на стременах, одной рукой схватил за луку седла, а другой, наклоняясь все ниже и ниже, попытался поймать оброненный повод. Но лошадь неслась, натываясь на все новые и новые черные выбросы осколков и дыма.

— Эх! Убьет же его, чудака! — крикнул Венька и спросил Шерстобитова: — Товарищ полковник, догоним? А? Как? Тот только кивнул.

Они понеслись по сугробам враскачку, карьером, обходя поровистую молодую лошадку; видно было: поджарая, очень горячая вороная.

Наконец после долгого резвого хода, зайдя по дуге и справа и слева, они перед самой мордой лошади замкнули спасительный круг. Шерстобитов, тот даже успел быстро, резко нагнувшись, ухватить болтавшийся повод.

— Трр... Стой! Испугалась! Какая пугливая... — успокоил он кобылу, похлопывая ее по тонкой, изогнутой шее.

В седле, чуть откинувшись, с белым лицом, без шапки, сидела Лида. Распирившимися глазами она молча глядела на них и медленно заливалась алой краской стыда. Шерстобитов от неожиданности тоже молчал.

Наконец он не выдержал. Глядя прямо Лиде в глаза, сдвинув набок папаху, спросил:

— Может, мы... поздороваемся?

Но Лида как будто бы онемела.

Тогда, не дождавшись ответа и все еще крепко держа в руке повод от ее вороной, он легонько притронул своего дончака, чтобы встал стремя в стремя со всадницей. Усмехнулся победно:

— Ну вот так-то, гордячка! Судьба, она знает, кого мне спасать. — И вдруг обернулся к почтительно приотставшему Веньке: — А ты, Вениамин, езжай один в штаб! Я приеду позднее.

У лесов на войне человеческая фронтальная судьба.

Ледяной порывистый ветер, несущий поземку, рвет вершины деревьев, гнет их, крутит, ломает, а они упираются, как живые, упрямые существа, отпихиваются — кто оголенными ветками, кто пушистыми лапами, трепеща сверху до низу от обиды и гнева.

Вот утих на мгновение напор ветра, и они стоят снова как ни в чем не бывало, спокойные, гордые, на своих шишковатых, чешуйчатых курьих лапах, утопая корнями-когтями в сухой, мерзлой корке сугробов, важно шепчутся о чем-то друг с другом.

Здесь можно увидеть и деревья-калеки — боевых ветеранов и молоденьких новобранцев. А вот выстроились по ранжиру, как сверхсрочники на вечерней поверке, непоклонные, молчаливые, отслужившие службу... и попавшие на войну.

Иногда от живого, зеленого дерева остается одна только черная пика обугленного ствола, и не верится в будущих птиц по весне, в развернувшуюся листву из посеченных этих веток, из обугленных крон. Вон стоит большая береза, устремив в золотое вечернее небо обожженные ветки. Ей уже не ожить. Может быть, наплывут на коре грубоватые наросты, но ветвей и плакучих развесистых кос уже больше не будет. Вот пенек от сосны, размноженной снарядом. Вот изрезанная осколками, вся искромсанная осина. Ее сучья легли по земле полукругом: как ударил снаряд, так с осколками и летели почти радиально. И еще долго-долго на черной от гари поляне будет пахнуть свежим соком земли, истекающим вместе с душистой смолой и посеченной хвоей, горьковатой и терпкой.

Там, где землю изрезали траки танков, все кустарники полегли, как пехота во время атаки: не зеленые — серые холмики, уже смешанные со снегом. Лес, застывший над ними, не стонет, не плачет: он стоит в онемении. Только изредка под порывами ветра зашумит, завздыхает да равняется куда-то бежать. Но куда убежишь?..

Под одним таким деревом, в полутьме зеленеющих сумерек, стоит двое: молодая высокая девушка в красноармейской шинели, подпоясанная комсоставским ремнем, в серой шапке-ушанке, белолицая, сероглазая, и с измученным лицом темнобрый полковник в черной бурке, в папахе. Две

лошади стоят рядом, низко свесив к земле свои головы: вороная и рыжий дончак; иногда они осторожно хватают губами лежащие на сугробе зеленую хвою и ветки, лижут снег.

Где-то рядом стреляет орудие — возникает медлительный свист. Дальнобойный снаряд не летит, а сановно уходит, шелковисто, старательно шелестя и при этом как будто распарывая, разрезая собой туго стянутый стужею воздух. Прислушавшись к его шелесту, к свисту, девушка говорит:

— Ну, что делать, Степан Митрофанович... Я не знаю. Война!

Наверное, уже с час они кружат по лесу, по забытым тропинкам. Иногда натываются на укрытые снегом землянки, на зазябнувших часовых, на бегущие по деревьям, а потом по шестам разноцветные нитки бесчисленных проводов и тогда опять забираются в чащу леса, под низко нависшие сосны и ели. И подолгу стоят, не могут расстаться. Усталые лошади то шагают за ними, понурясь, а то ждут терпеливо, пофыркивая у них за спиной, ожидая, когда эти двое опять побредут по заветному кругу: лес, поляна, землянки, дорога, овраги, разрытый окопом сугроб...

Шерстобитов с осторожностью, бережно держит в руках, согревая дыханием, огрубевшую, темную руку Лиды.

— Никуда от себя тебя больше не отпущу!

— Почему же? Отпустите... Аржанович прикажет, вот вы и отпустите,— грустно шутит с улыбкой Лида.

— Лида, милая...

— Не просите, не надо. Я сама из разведвзвода никуда не уйду. Вы же знаете это.

— К сожалению, знаю.

Он берет ее с силой за плечи, поворачивает к себе и глядит ей в лицо иступленным, ласкающим взглядом. Говорит почти шепотом:

— Не могу без тебя. Будь женой мне... Люблю...

— А Ульяна?

— Что Ульяна?! Ульяна чужая давно. К ней возврата не будет.

— У вас сыновья...

— Да, детей жаль. Ты права. Сыновей не брошу... И у нас с тобой будут дети. Девчонки. Там были мальчишки, а ты нарожаешь девчонок. Сероглазых... в тебя...

— Нет, Степан... Митрофанович.

— Скажи просто: Степан...
— Не могу. Не привыкла. Для меня вы — полковник.
А потом уж — Степа. Милый, очень хороший... Дурной...
— Ты сперва отвечай: да или нет?
— Степа, нет.
— Никогда?
— Только после победы...
— Ну, значит, не веришь.
— Нет, верю, люблю... Только — после победы...
— Ну, прощай! — Он качнул головою. — Значит, будет счастливец другой!

Взвизгнул снег под ногами полковника. Дончак чуть присел под тяжестью его тела, рванулся в карьер. А Лида шагнула с дороги к коню, и что-то толкнуло ее в грудь грубо, жестоко, дым и пламя ударили заревом прямо в зрачки. Захлебнувшись, как будто рыдая, как будто тонула, она все хватала, хватала ртом, горлом этот горький, вонючий, обжигающий легкий воздух, пока не упала ничком, задохнувшись совсем...

4

Большаков шел по улицам Суховершина с чуть кружащейся, даже звенящей от свежего воздуха головой. Он сейчас был, как в юности, счастлив каждой клеточкой тела. И все радовало его: и холодная резкость ветра, несущего пену поземки, и свинцовое небо, и наезженная, вся в изрытых извилистых колеях фронтовая дорога.

Он так рвался на фронт, что извел и себя, и врачей, и сестер бесконечными просьбами поскорее отправить «домой», так он звал дивизию Шерстобитова. В результате Георгий Антонович, сжав в ниточку синеватые губы и сощуриив глаза за толстыми линзами очков, наконец подписал документы на выписку и сказал на прощание с большой сухостью в голосе:

— Молодой человек! Если свалитесь где-нибудь по дороге — виноваты не мы. Пеняйте тогда на себя. Я вообще не умею справляться с такими упрямыми. — При этом Гусев сощурился с неожиданно проглянувшей в глазах веселой улыбкой. — А стремления ваши между тем разделяю. — Он встал с табурета, пожал на прощание руку, добавив при этом: — Да, при случае... Передайте полковнику Шерстобитову мой нижайший поклон и почтение и что зол на него,

аки пес меделянский... Ну уж ладно, идите. Ни пуха! И будьте здоровы...

И сейчас Большаков улыбался добытой свободой как чуду. Он стоял на бугре и глядел на изрытые улицы Суховершина, на следы пепелищ, на коричнево-серые кубики уцелевших, разбросанных по огородам амбаров и риг, удивляясь: черт возьми, а красиво... Чуть волнистые, гофрированные сугробы вдоль домов и заборов сейчас словно тлели от вьюги, дымились. И они тоже были частицей огромного счастья. Сергей радостно улыбался и им.

По улице, от эшелонов, вели пополнение.

Кривоногий, приземистый старшина шел чуть-чуть позади своего неумелого, еще робкого строя. Старшина был немолод и некрасив, глазки маленькие, нос приплюснут широкой нашлепкой, брови рыжие, и каждая свернута чуть лохматящимся узелком. Но все двигалось в этом человеке как-то очень ритмично, картинно: руки в черных перчатках, кривоватые ноги в черных хромовых сапогах, несмотря на мороз, широченные плечи и узкая, тонкая талия, перетянутая ремнями, — все исполнено чувства силы и собственного достоинства, даже больше того, какого-то скрытого смысла. Словно он, старшина, знал великую, неизвестную людям военную тайну, но нигде никогда ее не рассказывал никому — не имел на то права.

Он прошел мимо Большакова, скользнув искоса, ласковым, понимающим взглядом, и так молодо, хорошо козырнул, что Сергей невольно ему улыбнулся: нет, каков молодец старшина! Просто даже завидно...

Замыкающий в их колонне, пожилой новобранец в длиннополой шинели, с разъезжающимися на льду колеи неуверенными ногами, на мгновение остановился, отбившись от строя, оглянулся назад, на вагоны товарняка, что-то горестно пробормотал себе под нос, потом безнадежно махнул вялой рукой.

— Рядовой Буслава, а ну встать на место! — крикнул старшина, углядев его самовольство тем особенным, боковым, незаметным для окружающих зрением, которое свойственно лишь наблюдательным, еще смолоду вышколенным служакам, и скомандовал весело, бодро, хорошо понимая, что солдатик не смел не послушаться и уже догоняет свой строй, закричал: — А ну, н-ножку! Буслава, выше н-ножку! Ну, гляди веселей! Запевай, песню!

И чей-то молоденький, дребезжащий, но верный, настоя-

чивый тенорок потянул и приподнял знакомую строевую солдатскую песню, увлекающую за собой и солдат-новобранцев, да и всех окружающих:

Кома-анди-ир товарищ наш Буде-е-енный,
Он все время-а вне-ре-еди-и...

«А что, молодец старшина!» — подумал опять Большаков удивленно, растроганно. И пока шел к развилке дорог, размышлял не о собственной службе — как примет у Тышкевича полк, как начнутся бои, — а об этих идущих на фронт новобранцах. И печальный солдатик, оглянувшийся на оставленный эшелон, на свой дом где-то там, в глубине необъятной страны, и грозно окликнувший его старшина были чем-то решительно связаны с жизнью Сергея давней внутренней закономерностью, о которой он прежде не знал и не думал.

Нет, наверно, это правильно, размышлял Большаков, что весь смысл нашей нынешней жизни и всего совершаемого на войне заключается в том, чтобы человек шел в бой, не оглядываясь на свое, отвлеченное от других. Чтобы ему просто не было времени оглянуться. Ну, хотя бы на первых порах. В этом больше гуманности, чем во всем о гуманности сказанном и написанном.

Поэтому он, новобранец, и шагает к переднему краю не один, а в строю. И одет он в такую же точно шинель, как и идущий рядом товарищ. И несет на плече такую же точно винтовку. И не будет ему в походной колонне возможности, как и многим другим, уклониться, свернуть с дороги, обернуться на только что оставленный разбомбленный состав, на воронки в сугробах, на коричневые поздравятые и уже стеклянные пятна крови.

Все, что делает новобранец сейчас с принуждением, через силу, очень скоро станет для него привычкой, единственно правильным поведением, нормой. И когда он задумается наконец, обернется на прошлую мирную жизнь, то поймет: если выживет, будет жить до конца своих дней с сознанием честно исполненного долга. А уж если погибнет, то погибнет не просто Иваном, Петром, Михаилом, Сергеем, а защитником и героем, бойцом — гражданином великой Советской страны. Кто как мерит это святое, смертельное, трудное дело.

Это, может, жестокая, но единственно верная в жизни наука. Без нее никакому народу на земле не прожить.

И Сергей тоже очень старательно обучался этой строгой, суровой науке уже несколько лет, а теперь не может представить себе, как бы выжил хоть день на войне без нее. Без такой беспощадной военной науки человек не осмелится встать под огонь пулеметов. А уж если не встанем ни ты и ни я, кто же встанет тогда защитить нашу Родину?..

На развилке дорог Большаков не дождался попутной машины, решил по-солдатски топтать пешком. Авось по пути кто-нибудь подберет. Он промерз на ветру, а в плече снова ныло, наверное к непогоде, и он шел с осторожностью, уставая натужливо перемешивать валенками сухой, тертый копытами и полозьями рассыпчатый снег. Пока не наткнулся на встречные сани.

— Стой! Стой! Тпр!..— закричал уже было проехавший, а потом обернувшийся рыжеусый возница, сидевший нахохлясь на мешках. Сказал: — Ой, товарищ майор! Да це ж вы? А я не признав! От так встреча-а...— Это был его собственный старшина Федоровский, родом из степного села Курской области.— Вы куда? К нам, до дому? — Федоровский, как все, называл своим домом дивизию, полк, батальон.— А чего же пешочком?

— Да уж больно соскучился,— объяснил Большаков и спросил:— А машин из дивизии, что же, не будет?

Федоровский махнул плетью в сторону линии фронта:

— Как же! Будут, обязательно будут! К нам теперь много транспорту ходить.

— А что? Ожидается что-нибудь?

— Да, опять... Сами знаете... Александровка...

— Ну, понятно. А ты куда?

— На станцию, приказали кое-что получить...

— Ну, давай получай,— согласился Сергей. И спросил:— А что нового в батальоне?

— Да что нового? Ничего! Жизнь идет...— Федоровский надвинул ушанку на самые брови, поскреб черным пальцем в нестриженном сизом затылке, усмехнулся, показывая редкие и глубокие, извилистые морщины на обветренных, загорелых щеках. Чуть прищурил глаза:— Все по-старому. Мы их бьем. Они — нас...

— А полковник здоровый, живой?

— Шерстобитов-то? Да... Ничего... Правда, было беда получилась.— Федоровский даже привстал, объясняя.— Он с девчонкой одной, говорят, очень долго ходил на свиданки,

их хлопцы видали. Ну, девчонка-то разведчица, Лидкой зовут. Разошлись, а у ей была лошадь с собой верховая, ну, вот немец и кинул меж ими снаряд, девчонку не то оконтузило, не то об землю швырнуло, а он далеко уже вроде отъехал... Ну, бегом назад, схватил ее на руки: «Лидка, Лидка...» А потом себя эдак за сердце-то хватить. И вроде не дышит. Ну потом ничего... Говорят, оклемался...

Сергей выслушал молча. Не знал, что сказать. Он почувствовал мятный, знобящий, чуть колющий холодок на губах, отвернулся. Ветер выл по-сиротски в бегущих вдоль поля столбах, гудел, чуть засвистывая в проводах, нес какие-то вести, может быть, и страшней и опасней этой, да только не трогали они пока сердце, те, а вот эта затронула, холодила теперь губы, щеки...

— Да-а-а,— сказал Большаков. Поднял взгляд на притихшего, угнездившегося на мешках Федоровского. Обреченно подумал о Лиде: «А я так и знал...» И кивнул на прощание:— Ну, давай поезжай, очень холодно, я пошел.

— До свиданьяца,— сдвинул шапку назад Федоровский, удивляясь: а чего это майор как бы вроде слинял на глазах при рассказе о девке-разведчице? Он потом еще несколько раз оборачивался и глядел ему в спину: тот шагал неторопко, угнув голову, сдвинув плечи.

«Молодежь!» — укоризненно подумал в пути Федоровский.

В Каршине Большаков взмошел на крыльцо без улыбки, без бодрости, ожидая увидеть знакомое, когда-то дорогое, а теперь неприятное, даже почти ненавистное лицо командира дивизии. Он боялся, что встретится взглядом с Шерстобитовым и найдет в этих синих нетающих льдинках, усгребленных на него, суровость, жестокость, уверенность в своих силах, даже может быть, торжество. Или вовсе насмешку над младшим, над слабым — над ним, над Сергеем.

Как ни странно, Степан Митрофанович был единственным для него человеком в дивизии, которого он по приезду не мог обойти, и единственным, кого он не хотел бы увидеть сейчас. Но служба требовала доложиться, сообщить о своем возвращении.

И Сергей быстро, резко, размашистым неуклюжим движением рванул на себя обшитую иномеем дверь, вошел, не обстукав в сенях валенки.

В штабе было все то же. Дым слоями под потолком. Коптящая лампа: окна выбиты при обстреле и заткнуты разным тряпьем — дневного февральского света в избе нет, нет и свежего воздуха. Стол накрыт, словно скатертью, картой. Над картой полковник, суровый, худой, с постаревшим лицом. Он скользнул по вошедшему быстрым, режущим взглядом и как будто не понял, зачем здесь находится этот бледный, усталый, серьезный майор в изжеванной дезинфекцией шинели, но внимательней пригляделся и, раскинув вдруг руки, закричал на всю комнату:

— О, Серега! Пришел? Ну вот, ну здорово! — И он обнял Сергея так, что у того хрустнули кости, припал на мгновение щекою к щеке. — Ты, словно бог, мои мысли читаешь! Скучал по тебе. — И он, щурясь нацеленным, умным глазом, оглядывал Большакова, поворачивал его то спиной, то лицом, улыбался ему. — Ну, каков молодец! Подзаштопали, подзашили — прямо новенький, да и только...

Эта радость комдива заставила Большакова на мгновение отвернуться, осторожно сглотнуть соленый комок: «А, черт... Нервочки. Как девчонка...» И не мог удержаться — улыбнулся прежней доброй, широкой улыбкой. Возвращенное, дорогое ему неизменное чувство не тронутой временем и расстоянием мужской верной дружбы, да и дружбы-то не простой, а солдатской, растопило обиду, она показалась ему такой мелкой сейчас, такой глупенькой, пошлой, что он отмахнулся и с радостью — с прежней радостью — ощутил в себе: Шерстобитов и Лида — это разные сферы его внутренней жизни. Он не будет их смешивать. Жизнь прекрасна, огромна. А он еще молод. Еще время покажет, что он, Большаков, тоже стоит любви...

— Дел много, по горло, — сказал Шерстобитов. — Принимай у Тышкевича полк. Сразу. С ходу. На раскачку нет времени. Да к тому же тебе не знакомиться, ты все знаешь и сам!

«Черт возьми! Все же здорово жить! Я живой... — думал он. — Хорошо быть живым. И верным всегда. Неизменным. И во всем возвышаться над мелким, над пошлым. И прощать обязательно нехорошее, что может возникнуть на какое-то время, улыбаться друг другу открыто. Он-то, видно, обо мне и не знает. Это я обо всем догадался. А он нет. Пусть же будет счастливым. От меня — о моей неудаче, о горе — Митрофаных теперь никогда не узнает...»

Стоя в кузове загруженной бочками с солидолом полуторки и придерживаясь рукой за валящиеся на ухабах ящики и мешки, Большаков уже где-то за Каршином обогнал новобранцев, ту самую роту, которую вел приземистый, кривоногий старательный старшина. Это было уже в головатом лесу, где росли только чахлые небольшие березки, да осины, да кустики краснотала. Неуютные, беззащитные проплеши — то ли место пожарищ, то ли место побоищ сорок первого года — тут и там изъязвляли лесок, оставляя в душе впечатление чего-то до горечи бедного, робкого, но такого родного, что Сергей со смятением в сердце оглянулся на них. Неуютной и робкой тянулась по распаханной танками грязной обочине и колонна бойцов, направляемая тем же самым коренастым, подтянутым старшиной. И тот самый солдатик, окликнутый своим командиром, Буслава, тоже шел позади, неуклюже подпрыгивая и размахивая руками. Он глядел на далекую дымную пленочку горизонта и чему-то застенчиво, затаенно, растерянно улыбался, словно радовался, что приближается к фронту как к некой заветной, загаданной с детства черте.

Большаков с интересом разглядывал его странное, немолдое, потрясенное близостью боя лицо.

Он не знал и не думал, что вот с этим солдатиком Буславой в длиннополой шинели, с кривоногим, картинно шагающим старшиной ему и придется идти штурмовать Александровку в лоб, то есть делать то самое трудное на земле дело, из которого и складывается слово «война».

Да, спустя долгие годы Сергей вдруг припомнит с ослепительной ясностью, будто в кадре цветного кино, как солдатик, бежавший по полю в большой не по росту, долгополой шинели, с винтовкою наперевес, в щетине отросшей за эти секунды серой трупной бородки, вдруг на полном бегу вскинет радостно руки, потом разведет их, держа в правой винтовку, как будто приветствуя приближающихся немцев, как бы даже заранее их, с трех шагов, обнимая, — и рухнет на снег, подгребая замерзшие комья глины ногами.

Оя, наверное, еще будет жить какой-то короткий, единственный миг, потому что вдруг дернется, а может быть, новая пуля ударит и шевельнет уже мертвое тело, и солдат не успеет ничего почувствовать, ни о чем-то подумать, он уже не увидит в своей неподвижности потускневшими небольшими глазами ни того, как фашисты убегают по полю,

отстреливаясь, ни того, как весной на большом этом хлебном клину стает снег и крестьяне из ближней деревни еще долго не начнут пахать, а все будут собирать оттаявшие и разбухшие трупы да разбросанные по полю нераззорвавшиеся снаряды и круглые, плоские, как кастрюли, немецкие мины — их здесь понапихано в землю за дни отступления и дни наступления целая уйма. Он уже не увидит и не услышит сквозь проросшую колосом землю, как дивизия после этого входила в горящий Смоленск, воевала под Витебском, под Могилевом, как прошла через всю Польшу, от края до края...

Он уже не увидит и еще очень многого из того, что увидели те, бежавшие следом.

Не увидит святого, великого Дня Победы; ребят, уезжавших на целину, чтобы мокнуть и мерзнуть, как мок и мерз он сам на войне. Не увидит ни первых ракет на военном параде, ни чудесной улыбки Гагарина, ни новой весны, ни новой зимы, ни молоденьких женщин в узких брючках или юбках, коротеньких до предела, не прочтет в газете и не услышит по радио о войне во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, а ведь он погибал, чтобы не было войн... Никогда не узнает, что какие-то неизвестные ему люди пройдут по Луне и вернутся на Землю. И что прах его военного собрата, безвестно погибшего под Москвой, безымянный, неузнанный, будет с почестями похоронен у Кремлевской стены и над ним загорится невидимый днем, в свете солнца, а ночью пылающий, ясно видный и издали, негасимый огонь...

Нет, он так ничего и не узнает о нашей сегодняшней жизни, до которой всего-то пустяк не дожил: один сантиметр. Вот прошла бы та пуля левей на один сантиметр, и он жил бы и жил, гулял по бульвару в смешном, неуклюжем дешевом пальто и фетровой шляпе. По праздникам надевал бы свои ордена — у него за войну накопилось бы их предостаточно, — а вернувшись к обеду домой, выпивал бы неполную рюмку сухого вина, не солдатские боевые сто грамм, а так, капельку желтой кислятины, разрешенной врачом.

Нет, солдат, бежавший по полю, в тот короткий, невысказанный миг, когда налетел на визжащую пулю, ни о чем не подумал. Он мгновенно, без мысли о людях и о себе, погиб, возвращая стране ее землю, а чьим-то, быть может, еще не родившимся детям — их извечную Родину: по овражек — до первых немецких траншей; по обдутые ветром, иссечен-

ные осколками бугры — до вторых. По синеющий за большим снежным полем шерстистый лесок, поднимающий к небу набухшие соком вершины своих сосен и елей, — до третьих.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Солдату никто не объясняет предстоящий маневр. Никто не показывает ему для наглядности карту-трехверстку с нанесенной на нее разноцветными карандашами боевой обстановкой — у рядового стрелка есть взводные, ротные, батальонные командиры. Но бывалый вояка и сам, своей собственной шкурой, чутьем, верхним нюхом, дарованным ему опытом, заранее угадывает, и притом с доскональнейшими подробностями, и ту обстановку, в какой предстоит ему действовать в данном бою, и тот самый маневр, от которого будет зависеть успех общего дела, да и всей боевой операции фронта, и унюхает, разузнает заранее день и час, как узнал его Валька Яманов, как узнала и Лида.

День был серый, угрюмый и весь как бы мчащийся от несущихся поверху, по небу, туч, а внизу, по полям и дорогам, — полосующей щеки колючей поземки. Не развидневшись, не рассветая, этот день почти сразу же после полудня ушел в бледные лиловатые сумерки. От непогоды, от сумерек на душе мрачно, угрюмо.

Лида с Валькой лежат на краю перелеска, зарывшись в снег, в сотый раз изучают оборону противника, все овраги и взгорки на той стороне и крутые глубокие склоны речушки, сбегавшей сперва с севера на юг, а потом уже выходящей самым затейливым образом с востока на запад. Яманов дотошно расспрашивает замерзшую Лиду:

— А дальше, правей, овраг тоже глубокий?

— Нет, отложе. Там низина, она заболочена, летом можно увязнуть по пояс, а то и по горло.

— А овраг далеко этот тянется?

— Верст, наверное, на пятнадцать. До Присухи. А дальше мелеет, дальше только кустарники, а потом уже ровное поле. — И вдруг спрашивает, перебивая его, с какой-то несвойственной ей нелогичностью: — Валь, а долго искали вчера «языка»?

Тот шарит биноклем по еле заметным тропинкам на той стороне, от землянки к землянке. Там никто не выходит,

труба на ближайшей землянке не дымится. Он сразу же оживляется:

— «Языка»?.. Да нашли его сразу, а взять не могли. Уж крутились, крутились...

— Чего так?

— Здоровищий, черт! Как колхозный бугай.— И он вдруг примощается рядом локтем в сугробе, смеется:— С нами Пашка Костенкин ходил, мастер спорта по вольной борьбе. Ну, ты знаешь его... Он за орденом аж к Горячеву ездил. Мы толкаем его: мол, Пашка, бери! ~~Сами~~ следом ползем. Аж не дышишь, не брякнешь, не стукнешь, светлый ангел, и только! Ну, добрались до бруствера, немец рядом, рукой можно тронуть. А тут из-под Пашкиных рук комок снега вниз: «Фрр-рр...» Мы аж взмокли от пота. А тот ничего. Не услышал. А может, не понял, не придал значения. Ну, тут Пашка ка-ак кинется на него — и за горло: зажать, чтоб не пикнул. А тот не дается. Упирается, вертит задом так и эдак, никак не прижмешь. Потом оказалось, тоже ихний какой-то особенный чемпион. Трое держим его, а он все катается, кляп не всунем. Ну все же скрутили, голубчика, хотя и боялись: или вовсе задушим, или он заорет. Потом новое горе: не идет, да и все. Пришлось стукнуть по кумполу: знай, мол, дело, шагай! Шаг сделал — стоит. Ну, тут дали раза. Он подумал, подумал, башкой покрутил, все, наверное, не верится, что в плену, и потопал. Привели его в полк, к капитану Кузовкину — на Кузовкина выходили, — развязали, а немец-то так поводит плечом, цедит: «Кофе мне!» Ну, Кузовкин по-ихнему понимает, обошел, обглядел бугая со всех сторон и так говорит: «Ко-офе тебе? Ишь чего захотел! А дулю не хочешь?» — и показывает ему. Ну, вражина, видеть, очень важный, куда там...

Лида слушает, с удивлением запоминая какие-то очень важные для нее, непредвиденные подробности: комок снега, упавший в траншею. И потом этот кофе. И грубую шутку Кузовкина. И вдруг ясно, с какой-то особенной трезвостью понимает, что война — это нечто такое огромное, чего ей никогда не постигнуть, — вон она как запутанно соединяет в себе и мелочи, от которых порою зависит успех всего дела, и нелепости, странности человеческого поведения, его душу, в том числе хорошее и дурное. Тот же самый Яманов, например, ведь он как ее встретил тогда, перед выходом в Стоколос? Чуть не плюнул под ноги: «Это с бабой? За линию фронта?.. Да будь я холера, если пойду...»

А сейчас Валентин объясняет, как будто ровне, весь свой тонкий и сложный разведчицкий опыт, не утаивая даже стыдных своих недосмотров и явных ошибок.

Он, посмеиваясь, говорит:

— Да! А самое главное и забыл рассказать! Фриц, пока мы увязывали его как дитяню, зацепился ногой за спираль Бруно. И вот прем его, а он по снегу ногой шорк да шорк витком этим. Я от страха дышу аж не глоткою, а желудком, а никак не додумаясь отодрать ее к черту, эту самую проволоку. Финкой, что ли, обрезать ее. Так его и приперли к своим. В землянке он сам ее снял, барин наш... Глядит себе на ногу и тоже, видать, не поймет, откуда взялась.

Лида слушает, думает о предстоящем походе: как-то сложится там. Она ждет его и немного боится, а поэтому внутренне подгоняет, торопит померкший, безрадостный день.

— Что-то долго нас держат. Пора бы идти!

— Значит, нет еще часу! Наше дело терпеть...

Да, терпение — это то самое главное, чего ей не хватает. Ее опытность наблюдения почему-то еще не совпала с опытностью ожидания и поступка. Пока все то, что ей кажется таким мудрым и смелым у других, у нее получается очень наивно, а то и досадно по-детски, смешно.

Лида время от времени дышит на руки, согревая их собственным теплом, тело сводит усталость: надоело лежать на снегу, она делает небольшое движение — и тотчас же над ее головой свистит пуля.

— Ты что?! Ведь снайпер же,— шипит Валентин.— Быстро, быстро! Ползком... Не туда, уходи за кусты, а я в эту сторону.

«Да, терпение в самом деле — это главное на войне,— рас-терянно, самокритично думает Лида.— Как глупо вообще... Погибнуть сейчас, до выхода с Марухненко...— и тут же задумчиво поправляет себя:— Ну а если погибнуть потом, это что же, умнее?»

2

В землянке у Марухненко тесно, темно от множества набившихся людей. Здесь холодно, сыро, печь не топится: немцы бьют по дымящимся трубам. Плащ-палатка, висящая вместо дверей, отодвинута в сторону. Снег заносит к порогу. Все разговаривают громко, возбужденно:

— У вас сколько с собой пэтээр?

— Пять.

— Возьмите еще.

— А кто понесет? У нас радия, боеприпасы, продукты, медикаменты... Пулеметы, ленты к ним... Мы и так как верблюд.

— А Попченко где?

— Военфельдшер? Не знаю. Спит, наверное, как сурок. Майор Марухненко — стройный, ладный, скуластый блондин с очень светлыми, чистыми, улыбчивыми глазами. Он только что побрился, умылся, а теперь сидит чистит ТТ, заряжает его и ставит на предохранитель, кладет в кобуру.

— Пуля не дура, — говорит майор, улыбаясь. — Дурак тот, кто выстрелит да промахнется...

В душном, тесном углу, отгороженном ящиками, связистка, курносенькая, с кудряшками, Катя Слепнева, нарушая все правила связи, возбужденно кричит в телефонную трубку:

— Ой, Пашечка, миленький, да ты что? Разве можно так? — и вдруг радостно заливается смехом: — Нет, правда? О, Пашечка! — Вдруг минута молчания. Она оборачивается к сидящим в землянке и сердитым, грубым голосом говорит: — Фу, какие! Опять накурили! Дышать уже нечем... — И снова грудным, голубиным, воркующим голосом в трубку: — Пашечка! А ты будешь? Ой, Пашечка, как мне скучно здесь, ну я просто умру... Ты придешь к нам? Да? Скоро? Вот здорово будет!

Лида, сидя на ящичке из-под снарядов, хлебает с Ямановым из одного котелка, подставляя под ложку корку мерзлого хлеба, отрубленного от буханки топором. Она молча презрительно шурит глаза, с нетерпением ожидая конца разговора с неведомым Пашечкой. А Яманов старательно обгрызает молодыми зубами огромную кость, высасывает ее, потом облизывает пальцы и весело шутит:

— Вот так и становишься людоедом... — Минуту спустя он кивает на Катю Слепневу: — Это с Пашкой Костенкиным. Я о нем и рассказывал. Вишь, как Катька рисуется... Завлекает. Не парень, а золото.

Лида, досыта похлебав вкусных щей, в духоте и покое землянки почти засыпает. Ее пробуждает влетевший ногами вперед, спиною считая ступеньки, боец в сбитой на ухо с красным верхом кубанке, в телогрейке с обтерханными рукавами. Он кричит, обращаясь к сидящему у светильника Марухненко:

— Это шо же таке деется, товарищ майор? Хомут и дугу з-пид рук прямо сперли. Хиба ж можно так? Да я усих цуциков, диверсантов, поубиваю на мисде!

Спокойно, не оборачиваясь к нему, прервав разговор с начальником штаба полка Грубенковым, Марухненко приказывает:

— Гарпенченко, не напрягайтесь!

— Шо?!

— Спокойнее, говорю!

Тот растерянно, недоуменно пожимает плечами, сдвигает на лоб и без того похилившуюся кубанку и обидчиво говорит:

— Та шо вы прикажете...

— А то прикажу, что ступайте во взвод и ищите дугу и хомут и, пока не найдете, сюда не являйтесь. Вам ясно?

— Та... Ясно.— Он нехотя поднимается, отряхивает телогрейку, штаны.

— И мне тоже ясно. Ступайте!

Майор улыбается, глядя на огонь в гильзе задумчивыми глазами, прикуривает, пускает под потолок целое облако дыма. Ветер снова заносит в землянку колючие космы поземки.

— Мете-ет... Хорошо... Это на руку нам!

Сидящий с ним рядом начальник штаба полка Грубенков продолжает ему что-то доказывать.

Марухненко спокойно отмахивается:

— А-а, бросьте вы каркать, ей-богу!

— Да не-ет, вы не поняли,— говорит Грубенков.— Вы когда-нибудь слышали былинку про Святогора? Как он силой своей похвалялся, говорил: «Как бы тяги я нашел, так я бы всю землю поднял». А нашел маленькую сумочку в степи, попытался поднять — не поднимет. Ухватил сумочку «обеими руками», поднял сумочку повыше колен — и сам по колена в землю угряз...

— Ну и что? При чем тут еще Святогор?

— А при том, что это образ нашей дивизии. Как задача большая, она с ней справляется, вытянет, ей для этого, вот как вы говорите, и напрягаться не нужно. А как малое, незаметное дело, бои местного значения, так мы тут вроде того Святогора — все начисто и угрызаем... Вот поэтому я и не любитель малых дел...

— Так разве же это малое?

— Да, конечно, по-моему, небольшое...

— И вы что же, не верите в правильность замысла?

— Почему же не верю. Я верю... Наш Степан Митрофанович боевой командир. Только сумочка и ему где-нибудь приготовлена в чистом поле...

— Мда-а, загадки вы мне загадываете почище сфинксовых, товарищ Грубенков,— растягивая слова, замечает Марухненко. На что тот с усмешкою говорит:

— А какие же тут загадки, Андрей Николаич? Война!.. Она и загадка, она и отгадка... Прямой-то напорется, а кривой обойдет! Вот так зачастую оно и бывает...

3

Нет такой темноты, к которой бы ни пригляделся внимательный, настороженный глаз солдата. Это только со света все кажется угольно-черным. Потом начинают проступать, высвечиваться еле-еле заметные очертания сперва ближних предметов, а потом уже отдаленных. В серовато-серебряном излучении неба сквозь мельчайшую дымку рассеянных звезд уже можно угадывать и все самое темное, что казалось почти нераздельным, плотно слитым с землей.

Земля глухо вздрагивает, успокаиваясь после неожиданной перестрелки, возникшей на фланге.

Тут и там еще время от времени разрываются одиночные мины и снаряды. Иногда всполошенно зальется прерывистой трелью пулемет — и опять всюду тихо.

Лида зябко поежилась на ветру, потопталась на месте, шевеля онемелыми пальцами в меховых рукавицах: лют февральский мороз. Если кто упадет не убитый, а раненый, и то можно считать, что погиб.

— Живо, живо! Разбирайтесь по одному,— командует негромко, но внятно Марухненко.— Копылов, ты чего? А ну стать на место! Повторяю: на марше не курить, не разговаривать, ничем не бренчать, подгоните все плотно заранее. С лыжни не сходить: разминирована узкая полоса, глядеть в оба. Вот так... дышать можно!— шутит он.— Стрелять даже нужно, но только в минуту опасности: демаскировать нашу колонну раньше времени нельзя.

Лида тоже проверила, не бренчит ли на ней снаряжение, затянула потуже ремни, поправила капюшон, огляделась: все ли ладно, на месте.

— Отря-ад, сми-ирна-а! — Голос Марухненко звенит. Он шагает к двум темным фигурам, стоящим на фланге.— То-

варищ полковник! Отряд особого назначения под командованием... к выполнению задания... готов!

Лида делает шаг вперед, выступая из шеренги бойцов, и всматривается изумленно: «Шерстобитов? И с ним Большаков?»

Большакова она уже видела нынче. Нос к носу столкнулись у входа в штабную землянку, и Сергей сделал вид, что не знает ее, прошел, как-то холодно оглядев, чуть не боком. Так, что Лида не выдержала, у дверей задержалась. Не узнал?... Нет, узнал, но прошел.

А с полковником Шерстобитовым она не встречалась с той самой минуты, как ударил снаряд и взлетела ее ворона, а сама Лида силою взрыва была далеко отброшена на кусты. Он тогда подбежал, наклонился над ней, поднял на руки, все повторял: «Лида, Лида...» А когда подоспели бойцы, положил ее снова на снег, задохнувшуюся, измятую взрывом, и сразу же отошел, приказал: «Скорей врача... Пусть посмотрит... Жива!» И ушел. И вот все это время, прошедшее с той минуты, мысль о нем в ней живет помимо сознания, она не зависит уже от желания позабыть, разлюбить. Это выше всего остального, выше будней и выше похода отряда. И что самое непонятное, несмотря ни на что, сама мысль о Степане Митрофановиче неизменно приносит какое-то неподвластное ей чувство радости, счастья: словно все еще впереди... Словно все это только начало... Словно не было позади ничего: ни обиды, ни боли, ни насмешливо-ледяного спокойствия, ни улыбок, ни взрыва.

Шерстобитов шагает размеренно, тяжело вдоль застывшего, неподвижного строя бойцов; Большаков идет следом. Командир дивизии и командир полка, через линию обороны которого разведчики нынче перейдут, останавливаются перед каждым солдатом. Шерстобитов о чем-то расспрашивает, смеется.

Возле маленького, головастого, усатого крепыща Василия Ляха комдив стоит долго, им обоим есть что вспомнить: вместе шли от Смоленска к Москве и обратно. Шерстобитов допрашивает его:

— Лях, как будете в темноте выдерживать направление?

— По азимуту, товарищ полковник!

— А сумеете?

— Так точно, товарищ полковник! Меня же учили. Товарищ майор, он до каждого доходил...

— А если вас ранят, сумеете ли сами себя перевязать?

— А чего же не сумеешь? Знамо дело, сумею.

— Ну, добро...— И он движется дальше.— А вы, Копылов, все проверили: лыжи, крепления?

— Так точно, товарищ полковник!

— Ночью действуют только смелые, очень опытные солдаты. Я надеюсь на вас. Вы идете на риск, но и рисковать нужно тоже с умом,— говорит Шерстобитов.— Там никто не поможет, вся надежда на собственную смекалку, на хитрость бойца.

Он подходит к Яманову, но молчит. Потом наклоняется к Лиде. Она замерла. Голова еще кружится, все плывет, как в тумане.

— А ты зачем здесь? Тебе кто разрешил идти... после контузии?

— Без меня не пройдут, Степан Митрофанович.

Помолчал. Попросил:

— Береги себя, слышишь? — И голос его оборвался.— Ты мне столько беды причиняешь...

— Да,— растерянно, еле слышно отвечает она.

Лида смотрит ему прямо в синие, нет, сейчас они черные в темноте, в длинных черных ресницах глаза. Они как-то теперь сняты ей, то насмешливые, то такие задумчивые, то озабоченные, но всегда дорогие.

Шерстобитов молчит. Он смахнул с бекеши нападавший мелкий снег, белеющий пятнами, постоял еще миг, повернулся — и пошел уже в голову строя, постаревший, согнувшийся. Сергей Большаков с майором тоже двинулись следом. Марухненко все так же спокойно, легко, а Сергей Большаков как-то скованно, деревянно, как чужой человек.

«Он все слышал,— подумала Лида.— И понял о нас. Ну и что? Ну и что?! Я могу это крикнуть сейчас, и пусть каждый услышит... Нет, я, если живая вернусь, я к Степану приду... сама. Первая. Пусть незваная. И не уйду. Потому, что люблю его, больше жизни люблю. Никому не отдам...»

Лыжи скрипнули на снегу. Строй рассыпался, растворяясь во мраке: люди, лошади, сани, пулеметы, орудия. Все бесшумно, но быстро во тьме двигалось ощупью, еле слышно, от вешки до вешки — в направлении к линии фронта.

— До свидания, братишка! — сказал часовой на выходе из слободы, приняв Лиду за парня.

— До свидания, сестренка! — с насмешкою в голосе откликнулась Лида.

Тот остался стоять с открытым ртом,

В белых маскировочных халатах, в капюшонах поверх шапок-ушанок, с автоматами за плечами солдаты скользят по сквозному, изреженному снарядами лесу. Тропинка узорчато обвивает деревья и то припадает левее, к оврагу, а то поднимается выше, правей, к вершине пологого склона, поросшего березняком и осинником. По ходу движения то и дело чернеют воронки — следы отгремевшего утром огневого налета.

К вечеру стало сильно морозить, и мины, которые изредка разрываются неподалеку, то одна, то другая, гулко стучаются о землю, которая, кажется, вся внутри пустотелая, и эхо назойливо, жутковато удваивает и утраивает отскочивший от этой промерзшей пустотелой земли такой же безжизненный и пустотелый звук разрыва.

Все молчат. Слышны только скрип лыж, да шуршание палок, да потрухивание лошадей в уже старенькой упряжи, глуховатое перетакивание копыт, с цокком, с клекотом надрубających наст, да шорох ветвей, нависающих над тропой, потревоженных почти каждым прошедшим; они еще долго подрагивают, качаясь, как будто сердясь, угрожая. От раздробленных, размочаленных взрывами пней пахнет внешними соками. Лес готовится встретить весну и тоскливо вздыхает, отряхая с вершин примерзшие комья снега, осыпает сухой пеленою идущих. Лида жадно вдыхает этот запах летящих снежинок, пропитанных то хвойным, то лиственным лесным ароматом. Но думает не о лесе и не о весне, а опять о прощании с Шерстобитовым.

Она вновь и вновь представляет себе, как он подошел к ней, что сказал. Как глядел на нее. А может, опа... не права? В самом деле... Может, счастье и заключается в том, чтобы все человеку отдать сегодня, сейчас, не рассчитывая на какой-то певедомый, солнечный завтрашний день? Не задумываясь о других? Да, но как же не думать о них — о других? Разве это возможно?

Лида скатывается на лыжах с бугра и оборачивается, окидывая взглядом растянувшуюся колонну: эта ночь роднит ее с Шерстобитовым куда больше, чем та, за столом, в Каршине. И она с благодарностью и сочувствием смотрит на лица идущих бойцов, улыбается им.

— Ну что, дочка, замерзла? — спрашивает ее какой-то усатый боец, весь красный от мороза, весь в инее, в белой опушке у ворота и на бровях.

— Нет, пока ничего,— откликается Лида.

— Ну, и ладно, коль так...

Перед линией фронта колонна замедлила шаг, скрип полозьев и лыж постепенно затих. Отставшие подтянулись. На копыта лошадей ездовые наворачнули мешковину, а морды их всунули в торбы. Шли с большой осторожностью в предбоевом положении. Потом снова втянулись в походный, размеренный ритм.

Небо выяснилось и сверкало огромными звездами, которые двигались, шевелились в ночной глубине, как живые, разумные, но далекие существа. Их дыхание слабо реяло в ледяном вечном мраке волокнистыми прядями. И Лида подумала: а сейчас и на небе война. И далекие звезды тоже движутся, как солдаты, поротно, побатальонно. И когда в сневе сорвалась и упала звезда, прочертив в небе огненную траекторию, движение остальных не замедлилось, не приостановилось. Они так же уверенно и беззвучно, как и лыжники здесь, на дороге, текли и текли, огибая во тьме неприметные для постороннего глаза преграды. И огромные, крупные — верно, звездные командиры — поторапливали булавочно-мелких, еле видных отсюда, наверное рядовых.

За плечами у Лиды кто-то кашлянул, догоняя ее. Она чуть замедлила шаг. По обочине подошел Марухненко. Он сказал:

— Сейчас будет Манино. Надо думать, как двигаться дальше к Андроньевке.

Лида вышла из ряда и встала сбоку дороги, опираясь на палки.

Подсвечивая себе синеватым лучом карманного фонаря, майор развернул планшет и еще раз сверился с картой.

— Лях, Курчавый, Яманов, вперед! — приказал Марухненко. — Извините, и вы... Ничего не поделаешь, — пояснил он застенчиво Лиде, выдыхая тепло на замерзшие пальцы. — Покажите, пожалуйста, путь. — Он как будто стеснялся давать ей задание.

Лида, выслушав, усмехнулась.

Деревню Манино решили обойти по задам, широко огибая ее полукругом. Левей оставались и хутор Яблонный, ныне очень опасный, и густой, вековой Шестопаловский лес с прилегающими лугами. В этот поздний час февральского предвесеннего вечера оттуда до лыжников доносились то натужливый вой и ворчание мощных двигателей, то грохот и лязг кувалды по наковальне. Здесь у немцев ремонтная

база для танков. Видно, очень спешат, даже ночью работают.

Ночь уже потихоньку повертывалась над застывшей в сугробах землей, когда лыжники подходили к Андроньевке; и тревожное настроение нарастало в рядах. Лида чувствовала: здесь сам воздух насыщен опасностью, как электричеством. Она вся напряглась, остро всматриваясь в темноту, в занесенные снегом деревья, в силуэты кустарников. Враг совсем где-то рядом. Он дышит, таясь, словно волк. Он глядит на тебя... А тебе он не виден.

5

Нет, откуда опять этот свет, обжигающий душу, и боль? Где Яманов?.. Куда удаляется верещание автоматов? Они загрохотали сверлилами, как дрелью, морозную ночь, громко, властно дудел пулемет: «Ду-ду-ду» — бестолковый железный дудак! Обливая бегущих трепещущим светом — Лида это помнила твердо, — осветительные ракеты зорко, нагло всматривались на земле: кто такие? Откуда? Убить, непременно убить... А ответно взлетали высокие трассы, звонко щелкали мины, глухо рвался снаряд. Лида бежала, пока не наткнулась на черные веретена деревьев, порубленных и поваленных на обочине, у шоссе. Что-то ледяное, чужое было в этих поваленных черных деревьях, лежащих тяжелыми круглыми комлями на высоких, в человеческий рост, пнях. В их раскинутых, словно распяленных, тушах, наверно, тоже гнездилась опасность. «Лида, стой, не ходи!» — закричал ей Яманов и тотчас упал, остался лежать неподвижно.

Притаившаяся засада вся ощерилась, расцветилась огнистыми трассами. На снегу затемнели фигуры убитых. Кто-то громко стонал, пытаясь ползти. Кто-то скребся ногтями о корку наста. Что-то жаркое, острое с силой толкнуло Лиду в плечо, и она закачалась, хотела упасть, но сперва не упала, а только осела на снег, но сейчас же прикинула к сугробу, даже вжалась в какую-то вмятину. То немислимое, невозможное, что свершается на войне, свершилось: немцы их обнаружили раньше времени и рассекли на две части, а теперь отжимают одну половину отряда от другой, разводят их врозь. Ни ямановский трезвый опыт, ни Лидины знания здешних мест, ни спокойная рассудительность и отвага Марухненко теперь ничему не помогут. Им к Андроньевке не пройти.

После долгой, усиленно быстрой ходьбы Лида разгорячилась, а сейчас, ощутив стылый холод земли, начала коченеть. Сперва потеряли чувствительность пальцы ног, потом рук. Потом само тело. При падении Лида неловко задела плечо: рана ныла, горела.

Где-то шел еще бой, но он удалялся.

Лида слушала его звуки, прикрыв даже глаза. Ей казалось, что, если лежать и глядеть, немцы сразу заметят ее изучающий взгляд. Нужно было немедленно что-то придумать. Сперва, сторяча, она не сообразила, а сейчас поняла, что и долгая зимняя ночь когда-нибудь кончится, а тогда, на рассвете, к ней и к рядом лежащим убитым придут из засады фашисты, начнут переворачивать трупы, искать документы, трофеи, оружие. Сами фрицы одеты легко, шинелишки у них хлипкие, значит будут сдирать с убитых одежду: шапки, валенки, полушубки.

Мысль об этом заставила Лиду опять и опять перебрать в лихорадочно обострившейся памяти всю окрестность, припомнить рельеф этой местности. Есть ли там, позади, у нее хоть какие-нибудь бугорки и лощины, хоть кювет, хоть забытый окоп. Или нет ничего?

Ничего утешительного ей не припомнилось.

Она повозилась в своей мелкой вмятине, пытаясь содрать с ног крепления сломанных лыж, сбросила вещмешок: сейчас главное — снять все тяжелое, неудобное, приподняться. А потом и бежать, наклоняться, петляя, и падать, а после катиться по снегу и опять привставать...

Небо стало светлеть, снег порозовел, отражая еще не взшедшее солнце, предвещая его.

Очень хитро, расчетливо Лида быстро вскочила и бросилась в сторону, повернулась, упала и снова метнулась по снегу. «Добежать бы скорее. Но нет! Сперва снова упасть... Кóтом, кóтом... Они не поймут...» Что-то ударило ее в локоть, опять обожгло, но не сильно, совсем не прибавило боли. Лида даже не оглянулась на этот толчок.

Она быстро вскочила и бросилась за пенечек у края кустарников. Когда-то колхозники здесь расчищали покос, но пенечек не выкорчевали, он остался чернеть среди зарослей бересклета и терна. Полежав, отдышавшись, Лида, прячась, развязала кашушон, сняла шапку-ушанку и выставила ее на пенек. Пуля тотчас впилась в искусственный ворс, сама Лида при этом швырком перебросила тело вправо, в ложбину: есть здесь ход, под навесом из снега, надо только

бежать и бежать, не жалея дыхания... Пока не догнали... Пока не замкнулось вокруг нее смертным ободом исступленное в своей ненависти огненное колесо.

6

Шерстобитов стоял на крыльце и смотрел на притрушенную соломой дорогу, на пятна навоза на ней, на прикатанные до блеска, светящиеся в полутьме колес.

Сейчас, когда все было сделано, приготовлено и люди ушли — одни в тыл к врагу, а другие на огневые к орудиям, в батальоны, — оставалось одно: ждать условленного сигнала. Но бездеятельное ожидание для него было нестерпимым. Он сперва закурил и ходил по избе, заложив руки за спину, потом засвистал. Потом погляделся в туманное, пожелтевшее от старости зеркало, надвинул папаху и вышел во двор.

Здесь в ночной суете автоматчиков из охраны, ездовых, писарей, связистов, штабных кашеваров, копошащихся возле кухонь в ожидании переезда на новое место, было что-то житейское, будничное, отвлекающее Шерстобитова. Их заботы и мелкая суета словно грязною тряпкой стирали с души какой-то светящийся жаркий налет, напряженное ожидание боя, заслоняли и главную мысль об ушедших, и ту, тоже важную, единственную, одну, — о Лиде. А он уже не мог, зная Лиду и гордость ее, слушать пошлые шутки своих управленцев, анекдоты о женщинах, грязные сплетни. Но такой достаточно громкий разговор уже шел у Двойных на конюшне при распахнутой двери.

— Хорошо, — говорил чей-то голос с упреком. — Но только не надо быть холуем!

А Двойных отвечал:

— А я, к вашему сведению, не холуй, а подчиненный...

— Нет, холуй! — Кто-то громко, злорадно настаивал на своем. — Подчиненный, он выполняет приказы начальства, а холуй их угадывает, предупреждает...

— А это смотря чьи желания и какие, — не сдавался Двойных. — Чтоб твои угадать, так действительно нужно быть холуем. А полковника...

«Вот так так!» — Шерстобитов растерянно постоял и, как будто слегка оглушенный, вернулся назад, к себе в избу.

И снова минуты бежали, а время как будто не двигалось. Он нашел на припечке какую-то книгу без обложки, без первых страниц — по ночам, дожидаясь полковника, ее все

перечитывал Венька Двойных — и скользнул по затоптаным сапогами страницам невидящим взглядом. Но сразу же, словно с разбегу, погрузился в старинную русскую речь с причудливым употреблением слов и забытыми чопорными оборотами. Сперва — после чтения боевых донесений, приказов и свежей сегодняшней дивизионки — эта речь показалась ему не очень приглаженным переводом или даже подстрочником. Но потом Шерстобитов по привычке, пригляделся и даже втянулся во фразы, когда автор спокойно и важно писал: «Дороги были непроезжны». Или, словно не смущаясь своей архаичности, говорил о ребенке: «маленький годовой князь Николай». Или вскользь замечал у героев «опухлые лица». Все, к веселому удивлению Шерстобитова, становилось по мере чтения не только понятным, но даже прекрасным и очень уместным.

Он погладил рукой измазанные страницы — книга тоже побывала под бомбежкой — и припомнил: когда-то давно, еще в юности, он читал ее, но совсем по-другому. Тогда с непонятной тоской, с замиранием сердца выискивал среди прочих только главы о «мире», торопливо пролистывая «войну». А сейчас эти главы не то что померкли, а как-то немножечко отодвинулись, отошли от него: Пьер, Наташа, Элен... — а на яркое, освещенное место вышли Петя, Кутузов, солдаты, идущие по дороге, князь Андрей, та далекая, грозная битва — с барабанами, с пиками, с одноглазым седым фельдмаршалом, с молебнами перед сражением. Она так глубоко захватила сознание Шерстобитова, что он даже на мгновение заслонил лицо этой книгой, приблизив к себе и как будто вдохнув всю живую реальность ее и всю вещьность тех давних военных тревог, расставаний и бесконечных утрат.

Граф, писавший: «опухлые лица», был, оказывается, великим солдатом.

«Через полчаса выстроенный эскадрон стоял на дороге, — читал в упоении Шерстобитов. — Послышалась команда: «Садись!» — солдаты перекрестились и стали садиться. Ростов, выехав вперед, командовал: «Марш!» — и, вытянувшись в четыре человека, гусары, звуча шлепаньем копыт по мокрой дороге, брэнчаньем сабель и тихим говором, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за шедшею впереди пехотой и батареей.

Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось все светлее и светлее. Яс-

но виднелась та курчавая травка, которая засекает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра и роняли вбок от себя светлые капли. Яснее и яснее обозначались лица солдат. Ростов ехал с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом берез».

— Нет... Нет... Не могу! — почти вслух проговорил Шерстобитов и, захлопывая книгу, вскочил с лавки, прошелся по комнате взад-вперед, склонив голову и хрустя пальцами. В нем внутри что-то нервно ходило. Душа, потрясенная воспоминанием, узнавала себя и теперь хорошо понимала, что когда-то, давно, ее уже раз убивали, там, на старой дороге, между двойными рядами берез, а теперь вот опять, вероятно, убьют, убивают в этой новой войне, но о ней-то никто никогда не расскажет.

Он опять сел на лавку и долго глядел на свои руки, на сцепленные пальцы, как будто не видя их. Потом взялся за книгу, раскрыл на первой попавшейся странице и снова начал читать, но теперь с каким-то усилием, как будто бы заново вылепляя из каменной неподатливой тверди тяжелые, словно камни, слова:

«Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики; а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые Горы и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? никогда больше не будет! Его нет! Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьет — и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет».

Шерстобитов отложил от себя прочь эту злую, волшебную книгу, отражавшую, словно в зеркале, его собственные, еще не рожденные мысли, постоял, засунув руки в карманы, покачался на мягко пружинящих сапогах, опять посвистал, походил, не заметив, что на улице все засинело в свете юного месяца. Он не думал теперь ни о чем. Мыслей не было, они словно уплыли куда-то, ушли. Было только одно чувство жжения в сердце, одна только боль.

Он подумал с тоскою: «А я?.. А что будет после меня?.. Даже Лев Николаевич вон тоже не знает, как ответить на этот вопрос. Трепещет. Беспокоится, что грядущая, новая жизнь без него будет хуже. Или станет иной, совершенно иной, незнакомой ему, непривычной. А вот мы-то живем этой новой, иной, непривычной ему, завоеванной жизнью — и нам ничего... Хорошо! И мы любим ее, эту жизнь! Ну конечно, не сразу наладилось и у нас. Были голод, разруха. Зато накануне войны все пошло хорошо. Так что не из-за чего старику беспокоиться. Хотя все же, если подумать всерьез, очень многое показалось бы графу и странным: наша резкость в манерах. Грубость женщин. Их моды, прически. Их смелые речи и смелые лица. Наша «пшенка», «даешь!». Разве это — вернись он из прошлого — не смутило бы, не резануло бы по сердцу? Уж конечно, не сразу поправилось бы, привилось...

Он и сам, нетерпимый старик, тоже был уже в чем-то иным, непохожим на тех, кто жил раньше его, — на Болконского, на Кутузова, на Ростова... И мы, нынче живущие, не такие, как он. Говорят, это вечный и нерушимый закон, ничего не попишешь. Хотя, видимо, если вечный, то вовсе не значит, что он очень хороший, может, очень плохой. И еще неизвестно, действительно ли он такой нерушимый и вечный. А наверное, допустимо и какое-то другое отношение к жизни, а не только тупая покорность перед вечно текущим, неуловимым, уходящим. Может быть, человеку и не нужно спокойно стоять и смотреть, как уходят в небытие какие-то важные, нужные вещи: чистота, тишина, верность давнему чувству, настойчивость, цельность. Задержат, уловить, сохранить, пронести через годы, уберечь для потомков все самое лучшее, в том числе и надежду на лучшую жизнь, — разве это так плохо? Где ученый, который придумал бы, как бороться с убивающим бегом времени? С никому не известным, загадочным «завтра», с таинственным «послезавтра», отрицающими наше сегодня?..»

Шерстобитов вздохнул от возникшего вдруг сознания ответственности за все им увиденное и пережитое на войне: а ведь тоже утратится, уничтожится вместе со смертью. К сожалению, не уложишь в коробочку как драгоценность, внукам, правнукам не передашь...

Он хотел бы сейчас передать им по наследству лишь одно бесконечно счастливое чувство победы, но уже был в тревоге. Уже вроде бы беспричинно, но всерьез заполнялся

жестокой тоской. Потому-то, наверное, и не сиделось на месте. Мысль сама, помимо его воли, уходила в движение ночи: а ведь что-то случилось у Марухненко...

Хмуро, с мрачностью Шерстобитов наклонился над картой. Враг был опытен, осторожен, как большой хитрый зверь. И петлял, словно зверь. И таился. И главное, зорек был, и силен, и коварен.

Когда-то в дни отпуска Шерстобитов, бывало, охотился на лесного или болотного зверя. Брал свирепого кабана-секача. Сам ходил, в одиночку, ничего не боясь. Мог преследовать сутками даже подранка. Мог свалить и медведя в таежных чащобах над извилистой, с детства любимой рекой. Но чаще бывало, в светлом, сладком смятении перед тихой, задумчивой красотой глухоманного края, безо всякой корысти одиноко бродил с ружьем за плечами над заросшей пушицей и рогозом рекой, по осенним полям. И тогда не стрелял ни лисицы, ни зайца, ни рябчика, ни глухаря, а глядел на примерзшие листья капусты, на заброшенные на зиму огороды, на ржаное жнивье. Просто жил и просто дышал растворенным в сиянии солнца настоем целебного воздуха в молодых сосняках. Любовался низинами, перелесками, поглядывал то на траву, на кустарники, на каемчатую осоку, поднимающуюся среди листьев калины и колючего ежевичника, а то на ромашку, на синий цикорий.

Он умел понимать и крик птицы, и след на траве, знал, что именно означает надломленная над норой камышинка или кем-то оброненное рябое перо. Отчего пузырится вода в дни холодных дождей, отчего дым из труб поднимается прямо, а потом, словно хвост серебристой лисы, вдруг отойдет косо по едва ощутимому ветру и слегка загибается вниз на конце. Этот мир был чудесный, огромный — мир его единения с жизнью, с природой.

Но такое же единение было с войной — на войне.

Потому что окраска снегов, и деревьев, и неба, и выбросов торфянистой земли говорила ему тем же внятным, понятным всегда языком. Птица вскрикнула, например, потому, что поблизости угнезвился разведчик противника. Или просто шагают чужие солдаты. Красный отсвет зари на снегу означает, что нужно теплее одеть часовых, наблюдателей, ездовых и шоферов. Что нора за рекой, на бугре, не кротовья, не волчья, не лисья и не просто проталинка, а укрытие вражеского корректировщика. Нужно будет отдать

приказание уничтожить снарядами эту «нору», обезвредить ее.

Но сейчас Шерстобитову эти знания ничего не давали. Это все было слишком известно, слишком твердо заучено, плоско.

Для того чтобы выкурить из норы того самого зверя, что сидел в Александровке, нужно было другое. А вот что оно, это другое, Шерстобитов не знал. Не нашел еще хода. Все продумано и рассчитано, все угадано, только это... не то!

Для того чтобы после него, после Лиды, Тышкевича и Большакова жизнь была не иной совершенно и менялась бы не совсем, не во всем, а была бы естественным продолжением его собственной жизни, чтоб включала в себя, в свой сияющий, согревающий свет и все раны, и кровь, и всю сырость солдатских землянок, и вот эту метель, и мороз, и идущих во мраке разведчиков, пробирающихся сейчас по тылам врага, он и должен решить что-то главное, очень важное, надломить своей мыслью — ну, хотя бы на карте, на трех сантиметрах, — эту грозную силу — войну.

Он решительно встал, положил на стопку бумаг так потрясшую его страшную мудрую книгу, осторожно расправил замявшийся грязный верхний листок и, как был в телогрейке и солдатской ушанке, сбежал по ступенькам крыльца, сел в вездеход. Сигналами вызвал водителя. Венька бросился следом, неся теплый овчинный тулуп, автоматы, планшет, фляжку с крепким подслащенным чаем — в минуты сражения, сколько бы оно ни длилось, двое суток и больше, Шерстобитов не ел и не пил ничего, кроме крепкого чая.

— На КП!.. — приказал Шерстобитов.

7

В холодной, большой, низковатой землянке КП уже много народу. Все ждут. Все волнуются. Здесь начальники служб, Тышкевич, уже утвержденный начальником штаба, его заместитель Смирнов, командир батальона связи Кухтарь, лысеющий, вяловатый Аверин, сапер, представители прочих служб, в том числе незаметный спокойный майор из штаба фронта, «громовержец» — потому что Горячевым были обещаны даже залпы «катюш».

— Большакова мне! — приказал командир дивизии телефонисту.

— На проводе, товарищ полковник!

— Девятый? Как живешь-поживаешь? Волнуешься? Ну я тоже. Слушай, друг. Значит, сделаешь так, как решили. Разведчики подожгут... Надо немцев сперва ослепить и выкурить на мороз, а потом уже разговаривать как с большими... А вестей еще нет оттуда? Что слышно? Еще не стреляют? Ну, ну... Доложи.

Стрелки прыгнули на часах, передвинулись чуть поближе к назначенной им самим, Шерстобитовым, грозной минуте. Полковник нахмурился в том же тягостном ожидании: стреляют у немцев в тылу или нет? А ведь должен, давно уже должен начать Марухненко!

Он не выдержал, позвонил Подкорытову. Тон, которым он начал говорить с командиром полка, самому Шерстобитову показался сухим, неприятным, но он уже ничего не мог поделать с собой.

— Кажется, я вам ясно приказал каждый час доносить обстановку,— сказал командир дивизии раздраженно.— Почему вы молчите? Не отсиживайтесь в штабе, выезжайте вперед. Может быть, уже начали, а вы просто не слышите? Что? Пожары?.. Огонь? Выясняйте, я жду.

Ночной бой... Смерть — и страшный невидимый враг, увеличенный в своих силах, может, только незнанием наступающих, непроглядностью ночи. Здесь действительно побеждает только бесстрашный и ловкий боец, специально обученный, подготовленный к этому бою. А в дивизии и готовились, обучались форсировать по полному бездорожью глубокую реку, небольшую, но с очень крутым правым берегом и отлогим, плешивым болотистым левым, за которым вдали поднимались поросшие лесом высоты. Солдат обучали взбегать по такому же скату высоты, окапываться, падать, перебегать. Наблюдавший тогда за ходом учений Шерстобитов сказал подчиненным ему командирам, что в атаке погибнет не тот, кто ворвется в Александровку первым, геройски, а тот, кто устанет окапываться и перебегать, кто не будет ползти по-пластунски, а лишь только пригнетсся. И не пуля сразит его, а усталость. А поэтому требовал тренировки, закалки солдат.

Подкорытов, волнуясь, растерянно доложил:

— Беспорядочная стрельба и пожары правее условленных ориентиров...

Шерстобитов в сердцах отшвырнул телефонную трубку. План, который был выношен им с Тышкевичем и Диденкой, разработан с Сергеем, бестрепетно принявшим на себя са-

мый сложный и самый рискованный ход... неужели он рушится?!

Он хотел побережь своих, в общем, не очень-то ловких и не очень-то хитрых «усатиков» из запасных — вся дивизия формировалась из людей старше среднего возраста, и у каждого дома были дети, семья, каждый жил не одними лишь только военными, боевыми делами, но еще и домашними, полевыми, оставаясь и в оледенелой от вьюги шинели в неглубоком окопе в том же круге привычных забот крестьянина — сеятеля, кормильца, отца, — в каком находился всю прежнюю жизнь, до войны.

Он хотел побережь этих тихих людей, чтобы им удалось научиться чему-то, накопить в себе опыт войны, опыт хитрости, ловкости, злости, который бы им пригодился потом, ну хотя бы затем, чтобы дойти до Берлина. Но ведь как это сделаешь? Бой жесток, он идет не по нотам...

Да, сберечь человека... Это тоже была бы победа — сохранить для страны землепашцев, отцов. Даже очень большая победа... Но не та, о которой спешат доложить по начальству, добывая любую победу, любой ценой... Впрочем, честно сказать, было время, и сам Шерстобитов тоже опрометью мчался в штаб, поспешал со всех ног доложить о победе: взял трех пленных, отбил две-три пушки. А сегодня, наверное бы, не смог, даже если бы взял Александровку. Слишком много всегда отдаешь своей крови, и нервов, и жизней других, чтобы радоваться таким робким, еще неуверенным страшным шагам: через реку, по скату высотки.

Шерстобитов еще не успел разобраться, отчего его прежняя лихость изживала себя, уходила куда-то. Наверное, уже сказывался самый ценный — не возрастной, а военный, и значит, единственно верный, поучительный опыт.

Да, сегодня ты с каждым убитым или раненым бойцом принимаешь не одну лишь удачу, не одну лишь победу, но и собственный командирский недогляд и ошибку и караешь себя самого куда более тяжелой, решительной мерой, чем далекое фронтовое начальство: ему-то неведомы по фамилиям и в лицо эти люди, а тебе-то известны, ты их знал всех, всех до единого.

Шерстобитов взглянул на мерцающий циферблат, нагнулся над трубкой и произнес условленное: «Шторм»!

Тектоническим сдвигом качнулась земля, поплыла под ногами, грозно, резко встряхнулась. Наверное, там и поле и луг за рекой сейчас были черными от воронок, а дома

в Александровке, и дворы, и конюшни, за которыми прячутся вражеские танки, и стога прошлогодней соломы на токах, подожженные артиллеристами, и блиндажи в шесть и в восемь накатов — все пылает, трещит и разваливается на морозе. Там выскакивают из блиндажей и укрытий и мечутся немцы.

Первым, самым внимательным, точным оказался, как всегда, Большаков. Доложил напряженным, взволнованным голосом:

— Мой Егор на окраине...

На условленном языке это значило, что первый батальон его полка уже ворвался в Александровку.

Но минутою позже Сергей чуть не плача посетовал возмущенно:

— Не дает поднять головы... Посмотрите на карте: в районе отметки девяносто и три, у них там до черта еще всякой дряни... Вот сыграть бы туда!

— Хорошо, Александрович, сыграю. Говори представителю, я даю ему трубку...

Что-то дернулось над головой. Словно некто огромный там, в небе, со страшным скрежещущим звуком начал сматывать с силой ребристое полотно в длинный, жесткий рулон. Небо чиркало, разрывалось и ревело измученным диким животным. Но все длилось секунды. И грохот, раздавшийся в стороне Александровки, подтвердил: представитель распорядился.

Наконец поступило донесение от Подкорытова:

— Продолжаем напряженный бой на указанном направлении... Противник нас сдерживает мощным артиллерийско-минометным огнем... Мы еще у реки.

— Что вы делаете? Вы все губите! — закричал Шерстобитов. Он озлился за это топтание на реке. Нужно было рвануться вперед, и как можно скорее, даже если лед пробит снарядами, вброд форсировать реку...

Шерстобитов, наверное, сейчас отдал бы половину своей еще не прожитой жизни за одно только то, чтобы собственными глазами увидеть картину ночного, гремящего боя, разобраться в нем: что к чему. Но вызовы по телефону не давали уйти. Позвонил сам Горячев, спросил, как идут батальоны, сказал, что надеяться не на кого: у соседей и справа и слева тоже бой. Потом Шерстобитова снова потребовал Подкорытов:

— Четвертый! Четвертый! Мои залегли...

Шерстобитов взглянул на часы, обернулся к танкисту:
— Где танки? Уже рассвело.

— Сейчас прикажу.

Опять позвонил Сергей Большаков:

— Отступает... Бежит... Слышу пушки Андреева...

«Андреев» — это был Марухненко.

Командир дивизии представил себе угасающие вспышки ракет, нитки трасс на снегу и последние взрывы гранат, пулеметные очереди, черный дым от пожарищ, еще розоватые очертания бревен, дотлевающих на ветру, запах выжженной краски от танков, от безмолвного, чем-то горьким чадящего обугленного железа — нет для сердца страшней этих звуков и запахов человеческой смерти, к ним вовек не привыкнешь, не научишься их не замечать — даже в час твоей трудной, суровой победы...

Он спросил у Тышкевича:

— Где сейчас Марухненко? Запросите координаты...

— У них рация не отвечает, товарищ полковник.

Шерстобитов нахмурился, обернулся к Агафоненке:

— Ну а ты чего здесь? Ведь не будет противник мириться с тем, что отняли у него высоту, обязательно полезет... Это только начало, я так понимаю... — А в трубку сказал: — Серега! В немецкие блиндажи и траншеи не заходить! Они у фашистов заранее все пристреляны. В момент контратаки перебьют вас как миленьких. Так что будь осторожен...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Уже четвертые сутки Лида бродила по лесу, натываясь на немцев, замата следы: где зароется в одиноком стойке, где отроет берлогу в овраге, но спать не спала, хотя тело было измучено и жаждало отдыха. Израненная и обмороженная, Лида еще как-то держалась на нервах, но уже каждый шорох ее пугал, каждый вскрик потревоженной птицы, каждый след на снегу, человечесий и волчий, каждый писк то ли мыши, а то ли другого какого зверька заставляли очнуться и снова идти. У нее не осталось ни крошки продуктов, ведь все было брошено на месте боя, там, где трупы товарищей. А туда ей нельзя и приблизиться, там повсюду засады, а где нет человека, врага, там сегодня колючая проволока и расставлены мины.

Она слышала звуки боя, то ближнего, в соседнем лесу, то откатывающегося, уходящего в сторону, резко били крупнокалиберные пулеметы, задыхаясь, захлебывались автоматы, рвались мины. Значит, близко ходил Марухненко, тревожил врага. Но пройти к нему Лиде не удавалось. А потом звуки боя затихли, умолкли: не то удалились, не то уже некому было сражаться, все живые убиты, все раненые померзли или кровью истекли. Потом бой вспыхнул снова, треск и грохот звучали почти рядом. Но где? Кто стрелял? Ей туда не пробиться.

Лиду мучила мысль: как случилось, что их упредили, узнали маршрут? Неужели ее кто-то выследил, когда шла от Елены Кузьминичны? Или общее наступление на Александровку было столь очевидно и ясно немецким штабам, что они, не зная, заранее угадали, где ударят полки Шерстобитова, а где им в тылы повернется отряд?

Начавшийся наконец на пятые сутки буран помог ей отойти чуть подальше от места трагедии и от старых следов. Лида еле тащилась. Ноги, стертые в кровь, запинались за каждую кочку, голова на ходу тяжелела, клонилась сама. Лида падала, просыпалась, с трудом привставала, совершенно в тумане от голода и от ран, не видя ничего в десятке шагов от себя.

Иногда она вдруг вспоминала о доме, о матери, об отце — но они уже не были мертвыми, не лежали в могиле, а оба, живые, сидели у печки и ждали ее. Мать с тоской ожидания все ходила по горнице и глядела в замерзшие, белые окна, а отец у повернутой керосиновой лампы — чтобы много не выгорало за долгую ночь — читал книгу, держа ее далеко от глаз. Потом мать брала в руки тряпку, вынимала из печки заслонку, рогачом поддевала закопченный чугунок с томленной похлебкой — и запах душистого кулеша кружил Лиде голову, она слглатывала слюну, хватала горстями снег, лизала его. Но жажда и голод не проходили. Лида пробовала откапывать из-под снега белесые корни растений, срывала молодые побеги берез и счищала с них кору, пыталась жевать, но все это оказалось слишком вязущим, горьким, Лиду даже тошнило, а желудок, сведенный голодными спазмами, не давал ей подумать уже ни о чем, кроме хлеба, еды. Даже думать о жизни.

Поздним вечером голод привел ее на окраину небольшого селения, чем-то очень знакомого, в то же время неузнаваемо изменившегося. Впрочем, Лиде теперь уже было все

равно, где погибнуть, здесь ли, где-то еще, на околице Александровки или в Андроньевке, или просто в лесу. Жажда жизни уже застывала в ней отделенная от сознания голодом, ранами, бесконечной усталостью.

Она кралась по узкой тропинке, вдоль хилых плетней, ясно видная на снегу, с длинной, черной, растянутой телью. Хорошо, хоть собаки не лаяли, немцы всех истребили. Подсознательно отмечала в себе: поворот, вот сюда. Нет, еще поворот — и ее кто-то встретит, очень добрый, хороший. Да, Елена Кузьминична Свирина... Ведь село-то Стоколос. Здесь бывала уже. Но тогда отчего пахнет гарью? И проплешина между домами, словно дома Елены Кузьминичны больше не было... Куда же он делся?

Как потерянная, Лида в отчаянии покружилась на пустынной проплешине, разгребая ногами нападавший снег. Да, пожарище... Дом сожжен. Ничего нет, ни погребца, ни сарая, ни теплой овчарни, примыкающей к постройкам. Куда теперь подаваться? Лида медленно, как неживая, повернулась и вздрогнула: перед ней стоял, сгорбившись, черный, в небритой щетине человек. Он издали приказал:

— Стой! Руки вверх! Стрелять буду!

Но она только молча смотрела в глаза. Поняла: это, видимо, Николай. Сын Елены Кузьминичны.

— А-а, пришла, партизанка, — сказал человек ей, насмешливо улыбаясь. — Ну, вот и попалась... А видно, родня... Молодая, да ранняя!

В Лиде все сейчас было как будто бы из стекла, и стояла стеклянная, неживая, не могла шевельнуться. Враз расколется мир на звенящие стеклышки: руки, ноги, сердце, глаза... Да, особенно не хотелось разбить ей глаза. Чем же будет смотреть она на свой собственный труп, на себя, некрасиво упавшую, подогнувшую ноги? У нее не укладывалось в голове, что когда она будет лежать на сугробе, убитая, то уже не увидит себя, ее будут разглядывать только другие. Враги... Ну, вот этот предатель. То есть хуже врага.

— Руки, руки! — приказал ей стоящий перед ней человек и вскинул на уровень глаз парабеллум.

И она почему-то замедленно, как во сне, с неохотой, превозмогая жестокую боль в плече и в локте, подчинилась ему — подняла кверху руки.

Звуки пулеметной стрельбы и выстрелы пушек в тылу у врага были долгое время и явственно слышны в Черняевой слободе, в полку у Сергея. Высоко, на полнеба, вздымались багровые клубы пожаров. Сергей, с забинтованной головой, закопченный, небритый, внимательно смотрел, пытаясь представить, что там происходит. Немцы, видимо, получили значительные подкрепления, потому что и здесь тоже вели сильный бой с поддержкой большого количества пушек и танков — применить авиацию им не позволяла погода. Все предполье темнело от вражеских трупов: это были какие-то озверелые контратаки, налетавшие травянисто-зелеными волнами. Пехота противника шла во весь рост, цепь за цепью, а то гроздьями окаймляла вонючие, безглазо ползущие с вертялыми дулами пушек танки. Грохот рвал барабанные перепонки. Земля то куда-то ползла под ногами, но вдруг сотрясалась рывками, как будто пыталась стряхнуть с себя, сбросить со своей грязно-белой, изодранной шкуры эти маленькие, беспокойные, убивающие друг друга, копошащиеся существа.

На рассвете вторых суток боя от дыма уже не было видно ничего, мгла просвистывалась минами и снарядами наугад. Изуродованные орудия, горящие танки, разрушенные артиллерией ходы сообщения — все смешалось в какое-то дымное месиво жестокого, иступленного боя — боя, в котором не только врагу нет пощады, но даже себе...

А после Сергей сидел опять на исходных, в окопе. И глядел на обугленные дворы Александровки с тихой ненавистью во взгляде: там опять были немцы. В тех же самых, исправленных, укрепленных траншеях, в очищенных от обломков блиндажах, только с новой системой огня и укрытий.

Голова чуть кружилась от недавней контузии и от раны в висок. Рана так, ерунда, зря Маруся ее перевязывала, бинтовала, а вот контузия делала непослушными руки и ноги. Отчего-то тошнило, хотелось прилечь. Но Сергей не покинул КП, и когда по сигналу батальоны опять поднялись и пошли на высоту в атаку, он снова пошел с бойцами на штурм, вместе с ними был вынужден опять отступать, оставляя позади себя на изрытом снарядами снегу трупы убитых. Выносить их сейчас, под огнем, в разгар боя, было

нельзя, а потом, вероятно, не придется и вовсе. Так и будут лежать, заметаемые метелью, до самой весны.

Шерстобитов приехал к нему в полк в момент отступления и теперь находился на КП у Сергея, весь измученный, черный, с проваленными глазами. Папираса, зажатая в углу рта, догорала, истлев, но он позабыл о ней, только морщился, не замечая ее, и кривился, как будто от боли. Охрипшим голосом закричал Агафоненке, хотя тот стоял тут же рядом:

— Бей отсечным! Отсечным! Приказывай! Ну чего ты? О, черт...

Обернулся к Сергею, ввалившемуся прямо из боя, с автоматом в руке.

— А тебя куда носит? Тебе место там?! Саперов пошли! На танкоопасных местах заминировать... Пушки, пушки скорей на прямую наводку...

Бой истаявал, затихал.

Шерстобитов и Большаков растерянно оглянулись во круг.

За кромкою леса встающее алое солнце только-только начинало по-дневному бледнеть, все вокруг наливалось приглушенным, продымленным светом, и лица бойцов, проходящих траншеями, закопченные, в длинных грязных потеках от пота, тоже мертвенно-бледны. Шинели и полушубки, изорванные маскхалаты, какие-то неестественно оскаленные улыбки — гримасы усталости — все было похоже на черный, кошмарный предутренний сон.

— Подсчитать, доложить, — приказал Шерстобитов стоящему рядом Диденко, и Диденко склонил скорбно голову. Он-то знал, что подсчитывать будут долго, всерьез — слишком много потерь. Нет, беречь человека, солдата, в эту зиму — а они уже чувствовали, это еще не последняя фронтовая зима — у начальников, у штабных командиров не получалось никак. Ты его бережешь, пехотинца, а как уберечь, когда у фашистов вон сколько и пушек и танков? И солдат своих они вовсе не берегут, не жалеют. Гляди, сколько их понабили, а они все, как сволочи, лезут и лезут. Сами лезут — и наших солдат уберечь не дают...

Потом Шерстобитов повернулся к Сергею и что-то спросил, но Сергей только вяло помахал рукой, ничего не ответив: он просто не понял. Лиловое, зеленое, синее дерево взрыва все еще стояло у него перед глазами, впечатавшись с резкостью, остро и в низкое черное небо над полем, и в

черный, безумный Сергеев зрачок. Потом это дерево разбежалось в глазах, как бежит, разветвляясь, зигзаг желтой молнии в грозовой атмосфере, и долго стояло, топорщась, подрагивало, трепетало, как живая, набитая грохотом и осколками смерть. Потом оно рухнуло, обломившись, ударив волной небывало тугого, тяжелого взрыва по нервам...

— Ты глухой? Что молчишь?

— Что? Да, тоже убит...

Сергей напряженно вглядывался в черные клубы дымов, поднимавшихся прямо к зениту.

Почему-то он вспомнил, как их по тревоге на седьмой день войны подняли на транспортном самолете в высокое темное небо. Курс лежал на глухие болота, леса. В ночной темноте моторы самолета ревели нутужно, и сидящему возле люка в пятнистом маскхалате Большакову казалось, что весь мир с затаенной враждебностью прислушивается к их полету и к тяжелому реву моторов, притаившись, с угрюмостью наблюдает с земли, как они на залатанном «транспорте» пролетают над кочковатой, пятнистой грядой лесов, над просторами пашен и недозрелых хлебов, как медлительно, открывая ничем не защищенное брюхо, они вроде бы ползком, по-домашнему переваливают через линию фронта, обозначенную внизу языками пожаров и желтыми вздернутыми вспышками перестреливающихся батарей, а потом — разноцветными пузырьками огней, догоняющими самолет. Молодые десантники сгрудились, изготовившись перед люком, чтобы ринуться вниз, в леденящую пустоту, и молчали, не думая ни о чем, ощущая себя и плывущие рядом плоскости крыльев, ясно видимые отовсюду, как почти неподвижные огромные цели.

Это чувство огромности своего непослушного, темного тела и летящего «транспорта», вдруг ставших целью и видных отовсюду, потом у него растворилось, прошло в свисте ветра в натянутых стропах. Земля, поворачиваясь под Большаковым, вся колючая и шерстистая от еловых вершин, с ребристыми пашнями и проплешинами мочажин и болот, приближалась пугающе неторопливо, почему-то безмолвно. Но когда Большаков еще на какие-то метры приблизился к ней, она словно подпрыгнула снизу навстречу; трассы вспыхнули отовсюду: с боков, из-под ног, еле видимые — за спиной. Накопившаяся за минуты полета наблюдавшая металлически злая враждебность прорвалась автоматной стрельбой, перекликами, трескотней мотоциклов, визгом

пуль. Их, десантников, обнаружили сразу; еще в воздухе, и теперь вокруг Большакова, словно длинные темно-серые запятые, над поляной скользили обвисшие трупы убитых товарищей: они падали прямо на скорости на траву, не гася парашюты, глухо шмякались, как мешки, деформируясь и сминаясь о землю.

Это чувство огромности своего тела, как всем видимой и мучительно ясно очерченной цели, он опять пережил вот сейчас, в эту ночь, как какую-то повизну, словно не было опыта. Словно все было внове. И такими же темно-серыми запятыми остались лежать на снегу его brave автоматчики и стрелки, отходившие вместе с ним еще от границы, и десантники из разбитых десантных частей, окруженцы, все, кто насмерть стоял под Москвой, а потом, отбивая, погнал немцев на запад, и молоденькие новобранцы, еще не обстрелянные, не привыкшие к визгу пуль и к утробному допотопному вою «катюш», — молодые, веселые и суровые, бородатые, пожилые «дядьки», в том числе Буслава, которого он почему-то запомнил еще по дороге в свой полк, впрочем, как и того кривонногого, ладного, бритого старшину. Мысль о них сейчас резала мозг, как осколок. Все болезненно кровоточило в его страшной, не видящей, но все помнящей и все понимающей памяти.

Он боялся взглянуть в искаженное болью лицо Шерстобитова: ждал обидного в своей правоте, унижающего упрека. Но комдив ничего не сказал.

И когда комиссар доложил Шерстобитову тихо: «Огольцава... убило. Прямым попаданием снаряда...» — тот медленно, не торопясь, осторожно стащил с руки, палец за пальцем, тугую перчатку, набрал с бруствера полную горсть наждачно-дерущего снега и уткнулся в него широкими скулами, лбом, подбородком, крутанул по щекам, по бровям с такой силой, так мощно, как будто хотел с себя снять, отмыть и еще что-то страшное, а не только усталость, ободрать даже кожу — стереть, охладить, наконец, свои мысли и чувства. Большакову почудилось, что он коротко всхлипнул при этом. Но, отбросив с руки обтаявший комок снега, полковник решительно повернулся и коротко приказал находящемуся тут же телефонисту:

— Командарма... Горячева...

Сухо, коротко, внятно, по заранее установленному коду доложил. Выжидающе помолчал. Там, на проводе, тоже помолчали, подумали. Потом начали говорить.

Так же сухо ответил:

— Есть! Слушаюсь... Да... Да. Я понял...

В затихающих звуках отдаленного боя, в погромыхающих раскатах опадающей, уходящей на запад грозы все же не было успокоения.

Кто-то громко вздохнул:

— Эх и тяжело жить на свете!

На что Шерстобитов с привычной ему оживленностью почему-то вдруг резко, радостно обернулся и сверкнул холодком синих, солнечных глаз:

— Это, брат, поперва! Потом привыкнешь, и умирать не захочется!

3

Хмуро, пасмурно в штабе. Все ходят на цыпочках. Прежде чем войти в избу, занимаемую командиром и комиссаром дивизии, Тышкевич с осторожностью кашляет в руку, стоит на пороге.

— Ну, что там? — спрашивает Шерстобитов.

— Почти ничего. Я хотел сказать: ничего утешительного.

— Ну, читай.

Тот относит подальше от глаз листок, на вытянутую руку, читает:

«Разведдонесение ВВС. 8³⁰. 23.02.42. Карта 100 000. Разведывательными полетами на самолете У-2 установлено:

1. 01⁰⁵—2¹⁰. 23.02.42. С высоты 500—1000 метров с ракетами ПАР-13 наблюдал хутор Яблонный, Манино — движения нет, моста не видно, видимо, разрушен. Сильный огонь зенитной артиллерии. Из леса в 2,5 км западнее Андроньевки — две белые ракеты. Но затем к месту, откуда подан сигнал, направленная пулеметная стрельба, минометы. Сильный огонь зенитной артиллерии. В Старолевшине, Незамае — по 4—5 очагов пожара.

2. 02¹⁵—02⁵⁰ с высоты 600—900 метров с ракетами ПАР-13 наблюдал в районе Андроньевки после сбрасывания ракет — из нескольких точек зенитный пулеметный огонь. Движения войск не видно. В лесу, севернее Стоколоса 4 км, костер. При приближении самолета костер погас. На западе и северо-западе от Стоколоса сильный ружейно-пулеметный огонь.

3. 03⁴⁰—04⁴⁵ с высоты 200—300 метров юго-западнее Сто-

колоса при приближении самолета зажжен большой костер из сена или соломы, при удалении самолета костер погас. Сильная пулеметная стрельба».

Когда он замолк, Шерстобитов, угрюмо нагнувший было голову над столом, с суровостью выпрямился, спросил у Диденко:

— Что скажешь на это, дид Фукидид?

Тот подумал, вертя незажженную папиросу.

— А то скажу, что дело плохо. Отряд разорвали, а теперь отжимают на запад, за Стоколос, подальше от линии фронта. А там...

— Да, я тоже так думаю. Мне-то это понятно. А Горяче-зу как объяснить? Приказал засылать через линию фронта группы разведчиков. Чтобы вышли на связь с Марухненко, сообщили ему дополнительно выходы, помогли провести наиболее безопасным путем.

— Я боюсь, Митрофаныч, там уже некого выводить.

Шерстобитов взглянул на него странным, косвенным взглядом, встал, прошелся по комнате. Снова наклонил голову в непривычной, несвойственной ему позе.

— Раньше времени нечего каркать! — бросил он недовольно. — Я так думаю, надо нашим идти. Нам-то ближе. Верней. И разведчики наши лучше знают район.

— Ну, попробуй, не знаю... — с сомнением протянул комиссар. Он взглянул на Тышкевича. Тот в ответ чуть прищурил глаза: что поделаешь! И разведчики люди, и там гибнут люди...

— Я их сам попрошу, — решил вдруг полковник.

Он приехал к Сергею уже на рассвете. Приказал построить разведчиков перед штабом. Начиналась метель, резко дул сырой, предвесенний, порывистый ветер, он метался над лесом, бился в стены домов. Про такую метель старики говорят: «Божья матушка стены обметает. Прибирается к лету».

Строй стоял, замерев, чуть серея в рассветной полумгле. Бойцы повернулись к полковнику мокрыми лицами. Понимали: он скажет что-то серьезное. Тут же рядом стояли Сергей Большаков и лейтенант Аржанович.

Шерстобитов прошел перед строем размеренно, тяжело, словно враз постарев. Обратился, решительно вскинув массивный, раздвоенный подбородок:

— Я вас всех люблю, как сынов... мои хлопчики! Знаю ваши орлиные души, бесстрашие... Но сейчас обстановка

такая, что приказывать не могу. Все вы знаете сами: сейчас через линию фронта и блоха не перескочит. А все-таки нужно кому-то идти. Разыскивать Марухненко. Узнать, что там случилось. Объяснить им, где новые выходы на соседней... Помочь провести. А поэтому попрошу... добровольцев. Прошу каждого крепко подумать, прежде чем дать ответ. Три минуты на размышление. — Он взглянул на часы.

И, закинув за спину руки, стал угрюмо расхаживать перед строем, не глядя в лица бойцов, а глядя себе под ноги. Доходил до последнего в строю коротышки Алиева, поворачивался, шел до правофлангового поседевшего, прямо стоящего Никифора Овчинникова и опять поворачивался на каблуках, деловито шагал, склонив голову.

Потом снова взглянул на стрелки часов. Скомандовал строю:

— Добровольцы... Два шага вперед!

Строй качнулся: все сделали эти два шага.

— Я сказал: добровольцы, — произнес Шерстобитов.

— Мы все добровольцы, — отозвался за всех Никифор Овчинников.

Шерстобитов подумал, прошелся опять, не спеша разрешить. Хрипло, глухо сказал:

— Тогда... коммунисты — два шага вперед!

И опять строй качнулся и встал еще на два шага ближе к командиру дивизии.

— Алиев, а ты куда? — спросил Шерстобитов. — Ты же комсомолец!

— Так точно, товарищ полковник, — отозвался разведчик. — Заявление в партию перед выходом напишу...

Шерстобитов сам сделал два шага к разведчику, немного откинувшись, поглядел в затененные длинными, чуть загнутыми ресницами огромные, черные сливины глаз. Разрешил:

— Ну, спасибо! Иди...

Придя к Большакову в землянку согреться, а вернее, остыть от только что пережитого, он присел возле печки, дрожащими пальцами взял папиросу, закурил. Попросил себе чаю. Маруся подала ему в алюминиевой кружке почти черной заварки — и вышла. Сергей молчал. Не смотрел командиру дивизии в глаза.

Без упреков и объяснений — ведь все ясно и так, в тесноте блиндажей и окопов своих истинных чувств и намерений не спрячешь — они оба теперь очень часто сходились

вот так на КП и молчали, раздумывая об одном. А когда начинали говорить, то даже будничные, незначительные слова наполнялись для них обоих каким-то особенным, скрытым смыслом, понятным им только двоим.

Сейчас Шерстобитов сказал жестко:

— Ты знаешь, Диденко уже и не ждет...

— Ну и что? — заметил Сергей.

— А то, что он начал просматривать документы ушедших, готовить их к отправке в поарм. А начальнику штаба приказал извещать уже родственников об их гибели.

— Ну, о гибели Лиды, например, и извещать некого...

— Да, я знаю, — сказал Шерстобитов. — Только дид наш дотошный. Разыскал у нее в комсомольском билете одно письмецо...

Сергей поднял голову:

— Чье?

— Твое.

Большаков усмехнулся, непокорно тряхнул головой. Он сидел, еще не оправившийся после боя, контузии и с трудом затянувшейся раны, устало сощурил глаза.

— Ну и что? — сердито спросил он. Сергей почему-то был явно не в духе. — Вам-то что?

— А то, что я знаю... Давно уже знаю, что ты любишь ее.

— А я этого и не скрываю, Степан Митрофанович, — огрызнулся Сергей. — Мне и незачем это скрывать...

Но полковник как будто не слушал. Он сказал с неприкрытым волнением, тяжело:

— Ваши встречи, записки, все знаю...

Сергей возмущенно откинулся к стенке.

— Да что вы там знаете? — кинул он горячо. — Зачем же неправду говорить? Ведь не было, не было... ничего! — разозлился он. — Ни записок, ни встреч, к сожалению, не было. Вот в чем дело! И пожалуйста, не прибавляйте, меня в это дело не путайте! Да... Писал... А она не ответила. Лида любит совсем не меня, — объяснил он как можно спокойней. — Она вас любила и любит. А вы не сумели ее удержать...

Шерстобитов, сидевший чуть боком, стремительно повернулся:

— Ты так думаешь?... Нет, ты так полагаешь?!

— Да, так думаю. Даже уверен. Вам, наверное, показалось, что вы можете все, нет на свете преграды. А она су-

ществуем. И чем тоньше, нежнее, неприметней на вид... Уж не знаю, как бы это точнее объяснить... Тем преграда эта надежней, крепче. Я, Степан Митрофанович, полагаю, что Лида стеснялась, не хотела любить, ну, там... проявлять свое чувство у всех на глазах. У дневальных. У часовых. У ординарцев. У Венки. И тем самым не только себя и любовь свою к вам берегла. А еще не хотела достоинства своего уронить... Чтобы каждый обсуживал...

— Ты так думаешь? — поразился полковник. Он надолго задумался. — Что ж, возможно. А я-то ломал себе голову... Я ведь думал — противен... Нелюб...

В расстегнутой серо-защитной бекеше, в папахе, надвинутой на глаза, чисто выбритый, очень худой и усталый, он, казалось, сейчас оживился, помолодел.

— Ты меня воскрешаешь, Серега, — сказал он почти шепотом. — И какая же скрытная... Ну, у мертвых своя правота...

— Что ссылаться на мертвых! — Сергей недовольно, щелчком отбросил к порогу окурков. — Говорим: правота, а на деле живой мертвого обязательно переспорит! Да еще в виноватых оставит. Тебе и сказать в оправдание нечего!

— Я ее не обидел, не сделал плохого. Берег.

— Для себя и берег, безусловно, — заметил Сергей. — Не для будущей ее мирной жизни...

Шерстобитов вскочил, наклонился к Сергею:

— Да ты мистик, Сергей? Иль монах пресвятой? Это что же выходит? Уступи, не бери, отдай дяде... А я-то на что? Разве я не живой? Разве я не люблю? Мне бесплотного счастья и даром не надо. Я даже не знаю, с чем едят эти штучки: цветочки да вздохи... А Лиду люблю... И честно скажу... Не думалось, что ж тут такого... В первый раз пожелал себе счастья. Без подделочки. Настоящего. Разве это вина: пожелать себе счастья?

— Все на свете себе счастья желают, — заметил Сергей. — Но все ли достойны его? — Он хотел еще что-то сказать, но в землянку ввалился Тышкевич, заметенный, весь белый от липкого, влажного снега. Не отряхиваясь, от порога сказал:

— Степан Митрофанович! Не стал телефону доверять такое известие. Приехал Смирнов из штаба армии. Горячева сняли...

— Что-о? — Полковник застыл. — Генерала? За что?

— Я не знаю.

— Ужасно! Горячев труднее других начинал воевать... И так многому научился. И сработались мы с ним. А теперь все сначала?

— Выходит, что так...

4

«Генерал-лейтенанту Харитоненко.
Штадив. Черняева слобода, 06.03.42.

ДОНЕСЕНИЕ

Согласно Вашему приказу дивизия непрерывно атакует противника пехотой и танками в направлении Александровка — Стоколос. Противник оказывает исключительно упорное сопротивление. В полках большие потери в личном составе. Не хватает патронов, боеприпасов. Разведгруппы из добровольцев, ушедшие через линию фронта на поиски Марухненко, назад не вернулись, связи с ними нет.

Комдив
полковник *Шерстобитов*

Военный комиссар
старший батальонный
комиссар *Диденко*».

5

«Генерал-лейтенанту Харитоненко.
Штадив. Черняева слобода, 08.03.42.

ДОНЕСЕНИЕ

Последние данные о Марухненко имели вчера в 5⁰⁰. Из района, занимаемого Подкорытовым, были видны ракеты, две красные и белая, означающие, как условлено, выход. И сразу же в тылу у противника началась минометная и ружейно-пулеметная перестрелка. Никто не вышел. Сегодня в 1³⁰ через линию фронта перешел Копылов, автоматчик из группы майора Марухненко, который при опросе показал, что колонна их, дойдя до Андроньевки, была обнаружена часовыми и по сигналу тревоги обстреляна из-за укрытий и завалов. В ходе боя отряд был рассеян огнем на две части. Одна часть пошла к Стоколосу, отбиваясь от преследующего врага, другая оборонялась в районе Андроньевки, а после ушла в Распутинский лес. Там, в лесу, Ко-

пылов был отрезан от товарищей по отряду, очень долго бродил по лесам и больше о Марухненко ничего не знает. Видел только пожары и слышал стрельбу.

Комдив
полковник *Шерстобитов*

Военный комиссар
старший батальонный
комиссар *Диденко*.

6

«Генерал-лейтенанту *Харитоненко*.
Штадив. Черняева слобода, 11.03.42.

ДОНЕСЕНИЕ

На сегодняшний день никаких новых данных о группе Марухненко не имеем. Разведчики, посланные по Вашему указанию, назад не вернулись.

Комдив
полковник *Шерстобитов*

Военный комиссар
старший батальонный
комиссар *Диденко*.

7

В дивизии Шерстобитова еще долго ждали разведчиков и бойцов из отряда, ушедшего с Марухненко. Возвращались, выходя на соседние подразделения, лишь отдельные лица да мелкие группы: два-три человека. Четыре. И снова один. А потом уже — ни одного.

Дежурили командиры, круглосуточные наблюдатели. Велась поимка с самолетов. Радисты из штаба в назначенные часы вызывали по радиации командование отряда. Марухненко однажды откликнулся на вызов, но весьма неразборчиво. Свой позывной он дал правильно, потом слышалась слабая работа микрофона. Часа через два они снова появились в эфире, дали свой позывной, а позднее шифровку, но все неразборчиво, и записать ее не удалось.

Шерстобитов теперь к Большакову приезжал почти ежедневно. Сходились, промерзшие, на НП полка, здоровались молча за руку и подолгу стояли, пока не стемнеет. Наблюдали за линией фронта, за движением у противника, время от времени обменивались короткими фразами. Разговаривали о подвозе снарядов. О новом командаре. О готовящемся наступлении на Александровку. Однажды Шерстобитов со вздохом сказал:

— Да, жаль старика... — Я о Горячеве... Только начал к нему привыкать.

...Поздно вечером они вышли с Сергеем вдвоем из землянки. В небе ярко сверкали зеленые звезды. Терпко пахло смолой. Снеговая вода со своим пресным запахом уже тихонечко начинала позванивать под слоями сугробов, только больно уж тонко и тихо. Сергей даже прислушался, но сразу же догадался: «Да нет, не вода. Это где-то гармонь!»

В самом деле, позванивание чуть усилилось, и в таинственный, протяжный, задумчивый голос музыки вдруг с такой же задумчивостью и протяженностью вплелся девичий — низкий, теплый, красивый.

— Это кто же такая? — спросил, останавливаясь, Шерстобитов.

— Военфельдшер... Маруся Селищева.

Они стояли на тропинке и слушали.

Песня, которую пела Маруся, была незнакома Сергею, хотя привычна по звукам: окопная грусть. А слова — он с усилием в них разобрался: то ли ночь была виновата, то ли горе, которое он прятал, а вернее, старался запрятать, — вдруг заставили замереть. Он даже дыхание затаил.

Сердце друга ждет ответа,
О тебе услышать должен я... —

пела девушка, о которой Сергей никогда и не думал, а она с неожиданной силой вот все же его принудила думать. И его ли словами, а может, кого-то другого, стоящего рядом, с такой тревогой, с надеждой, с такой любовью звала:

Где ты, милая, скажи мне, где ты,
Куда тебя забросила война?

Сергей молча сделал несколько шагов к землянке разведчиков — звук гармонии доносился оттуда. Шерстобитов пошел позади. Потом они снова стали. А голос Маруси, сливаясь с гармонью, все грустил, звал:

Был наш хутор тих и светел,
Но внезапная пришла беда...
Может, пепел твой развеял ветер —
И не ответишь ты мне никогда...
Эх, где ты, где ты, скажи мне, где ты,
Куда тебя забросила война?

И гармонь и Маруся вздохнули, умолкли, и Сергей отошел. Он взглянул на полковника: лицо Шерстобитова было страшно

в ночном полумраке. Он жевал свои толстые губы, хмурил брови и кривился, пытаясь сдержаться, чтобы не было слез, а они выползали, точились, катились одна за другой к губе, и он слизывал их и дергал одною щекой и другой. Встретив взгляд Большакова, отвернулся озлобленно, даже дико, и пошел впереди, загораживая спиной всю дорогу: чтоб Сергей не находился рядом с ним. После долгой томительной паузы, успокоясь, сказал с хриплым смешком:

— Вот чертова девка... Вот это поет!

И он сел в забеленные снегом сани, не отряхивая попоны, прикрывающей сено, кивнул Венке грозно:

— Ты где? Тебя, что ли, ждать?— И сухо простился с Сергеем, уже отъезжая:— Пока!

— До свидания!— ответил Сергей и, согнувшись, угрюмо пошел на КП.

8

В середине апреля на взлобках высот, на обугленных пепелищах возле черных разрушенных печек, на задах, в огородах отбитой у немцев, разгромленной Александровки начали вытаскивать трупы фашистов. Пройдешь по патапанной узкой тропинке, по которой, казалось, спокон веку ходил,— и вдруг наступаешь на руку с почерневшими ногтями и скрюченными, в чешуйках, как куриные ноги, длиннющими пальцами. И шарахнешься в сторону, в слюдянистый сугроб. А то вдруг на ветру, как пучок белоуса или овсяницы, замотается клок рыжеватых или белых волос, рядом вытает быкоподобная каска, налитая доверху снеговой водой. Много трупов оттаяло у погребов, у колодцев, но к ним вскоре привыкли, перестали совсем замечать, словно все это было в порядке вещей, ну, как ключья соломы или конский навоз у конюшни, или гряда опилок на месте, где дневальные пили дрова.

Куда тяжелее Большакову было глядеть на обрубленные снарядами кроны яблонь и груш, на траншеи, перерезавшие поперек деревенские улицы, на сожженные избы, на сельское кладбище, опоганенное рядами немецких неструганых березовых крестов. Запустение и безлюдье, отсутствие жителей с их нехитрым уютом и запахом хлеба, печенного на поду, толченой картошки, горячего молока наводили на мысль, что еще одной, новой, войны в самом деле не будет. Эти скаты высоток, луга и поля можно взять без единого выстрела. Просто некому будет их защищать. Просто больше никто не поселится здесь,

а в полях ничего не родится, кроме горькой полыни, пустырника, череды да колючих репейников.

Фронтные дороги осели под солнцем. Колени — словно реки с бегущими параллельно друг другу могучими руслами. На машинах ни взад, ни вперед не проехать: и полуторки, и трехтонки садятся на дифер, скребут ржавыми днищами разделяющий эти русла и сразу же вспучившийся горбом, но не тающий лед. И Сергей, наблюдая залитые желтой жижей сырые траншеи и эти дороги, не заметил — то ли с внешними водами по оврагам, то ли с ветром, прилетевшим из-за южных морей, не двуногий же проскользнул через линию фронта, но пришла все же весть из немецких тылов: как сражались бойцы Марухненко, не сдаваясь, до последней гранаты. Как кружили отдельные группы разведчиков из отряда, минометчики, пушкари, протащившие на себе тяжеленные пушки, позднее уже без снарядов, как опять и опять возвращались к шоссе, не найдя больше выхода через огненное кольцо. Как висела на площади в Стоколосе не известная никому молоденькая партизанка рядом с матерью двух сыновей, партизана и полицая. Как стояла она перед виселицей, перед казнью, с заплывшими кровью глазами, может, даже слепая, вся избитая дочерна... А кто говорил, что бежала она, та молоденькая партизанка, и убита уже при побеге. И теперь Большаков, вспоминая о Лиде, странно морщился, хмурился. При одном ее имени у него страдательно передергивалась вся кожа лица, все морщинки на лбу, а в сердце так и не заживал болезненный, водянистый ожог: «Убита... девчонка, ребенок совсем. А я жив! Я мужчина, солдат... Уж лучше бы я, не она...»

Когда в небо зеленым, глазастым, раскосмаченным демоном взлетела ракета, чтобы полк его снова опять и опять пошел на высоты, на проклятую Александровку — ее иначе и не называли теперь, — он поднялся с единственной мыслью о Лиде: отомстить, отплатить фашистам за все. А теперь, отомстив, почему-то не чувствовал облегчения. Нет, ожог набегал, наплывал на ожог, все горело внутри, и Сергей уходил один в лес, весь в плешинах от черных проталин, и садился на срубленное бревно или на старый, изъеденный пенек, и сидел в одиночестве, лицом в руки, безжалостно, с горечью осуждал себя.

«Лиде... Сколько радости принесла бы она... Хоть тому же Степану! Или горя. С ее-то упрямым, нелегким характером, может быть, что и горя. Но и горе из рук ее — для него тоже радость. А видать, рассчитала себя, свою жизнь не на день, не на час, а на долгие-долгие годы, на победы и на отступле-

ния и на все километры дороги, ведущей к Берлину. Чтобы всюду оставаться достойной...

Нет, такой ей — отважной, и гордой, и всегда неуступчивой — наверное, было бы и не дожить до победы. Не сносить головы... Это точно уж! Абсолютно уж точно.

Черт возьми! Почему это так? Один человек может жить и погибнуть во имя великой и светлой идеи. А другой может жить и погибнуть во имя идеи коварнейшей, самой черной и вероломной. И это — все то же разумное существо, та же самая беззаветность, те же самые упорство и отвага...

Может быть, нужно думать и думать и пытаться понять тех, кто думает по-другому? Но врагу разве важно, что я понимаю его? Ему дела нет, что я думаю, как я мыслю. Ему просто нужна моя жизнь — жизнь защитника Родины и земля, на которой живу. И я, в свою очередь, не хочу для него оправданий. И, по-моему это даже страшней, еще хуже: понимать, а потом убивать... Это вовсе уж ни к чему».

Нет, наверное, он никогда не поймет ни грабителя, ни убийцу, не найдет оправдания им, размышлял Большаков. И поднявшись с бревна, бред, понурившись, по размытой дороге опять к себе в полк, в надоевшую, полную ледяной подпочвенной воды, продыmlенную землянку.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Суховершино — синее, зеленое в свете луны..

Сейчас за окном вагона промелькнул обгорелые трубы домов, груды битого камня и щебня; опять, как тогда, затеплятся, побегут по кремнистым сугробам лиловые, дымные всплохи отдаленных пожаров...

Сергей Большаков, чуть сощура глаза и ссутулясь, стоял каменя: он по этой дороге не ездил с войны. И не думал, что все будет так волновать: запах яблок антоновок из давно опустевших садов. Запах теплой, ухоженной сонной скотины от колхозных животноводческих ферм, расположенных где-то поблизости. И все тот же неистребимый, прилетевший из юности, не стареющий и доныне дух железной дороги: запах дыма и каменноугольной гари. Большаков с наслаждением вдыхал его, вспоминая. Он хотел бы внимательней рассмотреть эти быстро мелькающие пейзажи, но, кроме себя самого, от-

раженного в черном лаке стекла, ничего не увидел: там сложились овалы отражений от ламп, превращаясь в текучие, длинные пятна. Тогда он принялся развинчивать раму окна. Она чем-то сразу напомнила амбразуру солдатского дота: ледяной чернотой, четким вырезом, что ли, обещавшим всегда только смерть, только холод.

Рама медленно убралась в невидимый выем.

Знобкий ветер, рожденный предзимьем в полях, выжал слезы из глаз Сергея. Он то охлаждал ему щеки, то приглаживал волосы, то трепал их, шебурша невпопад, и опять осторожно укладывал прядку за прядкой. Большаков сейчас ощутил этот ветер как приветную руку далекого друга.

Поезд шел очень ходко. Мелколесье. Овраги. Болота. Щетиристое жнивье. Столбы передач. Неужели прошло тридцать лет?! Чья-то целая жизнь... А он все еще помнит. Никак не забудет. И земля тоже, видимо, не забыла: она не осыпалась, не затекла. Вон траншея идет вдоль железной дороги, так и кажется: в полный рост. И воронки от пятисоткилограммовых бомб все такие же круглые, полны черной стоячей болотной воды, как тогда, в сорок первом. И квадратные ямины капониров, отрытые для тягачей, и штабные землянки... Они ясно видны и сейчас, как на плане. Только брустверы одиночных окопов заросли рыжей вялой травой: горичвет да лопух. Да вон там, где когда-то под огнем пулеметов лежал раненый командир батальона капитан Большаков, сейчас мирно пасется теленок, забытый своей нерадивой хозяйкой до ночи.

Большаков оглянулся на знакомый бугор и на впадину пересохшего, недавно осушенного болота. Черт возьми! А что, если спрыгнуть с подножки вагона на полном ходу? Пробежать по жнивью... Вскинуть руки навстречу холодному ветру. Закричать громким голосом, позвать: «Лида! Лида!..» А вдруг отзовется? Ведь не может же не витать ее светлый, радостный дух над этими пашнями и лугами, над чахлыми перелесками, над низенькими деревянными домиками, потемневшими, источенными дождями... «Здравствуй, Суховершино! И снова прощай. Да, прости, если можешь. За то, что я жив. Один из всех. За то, что всегда тебя вижу таким: зеленым, синим в свете луны. В черных грудах развалин. В круглых ямах воронок. Ты давно уже белое, яснооконное, позабыло войну и живешь новой жизнью... А я... Я, прости, виноват. Я как эта земля. Все никак не забуду».

...А поезд идет, разрезая студеную темноту.

Позади рубежи наступлений, боев. Суховершино — это ведь

только начало войны. А еще были годы и годы... Сорок третий, сорок четвертый, весна сорок пятого.

Мелькают названия станций, как страницы давненько не листанной биографии. Сбоку поезда нисходит к земле обесцвеченная к рассвету, истопчившаяся и как бы безжизненная луна — не зеленая, а слегка беловатая. Она одновременно и оживляет и опечаливает знакомый пейзаж. В ее призрачном свете, наверное, и рождаются эти некогда жившие тени, эти взблески разрывов снарядов и грохот орудий.

Ночь сходит на нет. Она нежно сливается с тонким слоем снежка — и белеет, белеет, придвигая поближе и темные контуры отдаленного леса, и совсем неожиданный в этом месте завод, и высокие белые башни жилых корпусов там, где танки когда-то застревали в болоте по хоботы пушек...

Большаков осторожно открыл дверь в купе, снял с вешалки куртку и шляпу, уложил в портфель вынутую было для чтения, но так и не раскрытую книгу. Положил рядом с книгой мыльницу, бритву. Хотел уже выйти, тихонечко щелкнув запорами двери, но попутчица, пожилая красивая полная женщина, спавшая на нижней полке, повернулась с улыбкой и привстала на смятой постели, взглянув на часы.

— А вы что же, уходите? Так всю ночь и не спали? — спросила она.

— Да. Смотрел все в окно. — Помолчав, объяснил почему-то с неожиданной откровенностью: — Я ведь здесь воевал...

— А я догадалась. Вижу, нет вас всю ночь. Ну, думаю, что-то за сердце взяло, наверное, старый солдат.

— Да. Солдат.

— И ни разу здесь не были все эти годы?

— Нет. Не выпало счастья. Почему-то не довелось.

— А сейчас что же... В гости? Или в командировку?

— Да нет... — Большаков на мгновение даже как-то поник оттого, что приходится объяснять. Это все береглось для себя, а не для посторонних.

— Пионеры меня пригласили, — сказал он суховато. — На открытие памятника. Разыскали в архивах, что в их городе в братской могиле лежат солдаты и командиры из нашей дивизии. В частности, из полка, которым командовал я... Ну, вот я и еду...

— Представляю, какой у вас будет трудный, волнующий день, — заметила женщина.

— Да, не легкий.

— Ну, желаю вам счастья, — сказала она, поправляя хала-

тик, в котором спала. Ее круглое миловидное лицо было гладким и свежим, без всякой косметики. Она со смешком осторожно призналась:— А я шла со своей армией чуть южнее, не здесь, но тоже солдат. Так что вас хорошо понимаю...

— Счастливы вам путь.

— До свидания! Счастливо!

2

Переполненный пассажирами рейсовый автобус, сбавив скорость, развернулся на площади Старой Крапивны — оказывается, теперь в городе была еще и Новая Крапивна, огромный красивый район, — и Сергей неожиданно для себя разглядел: перед зданием, выкрашенным бледно-розовой краской, с лепниной, с колоннами, стоит группа людей. Все суровые, темнолицые пожилые мужчины в прямого покроя длиннополых пальто, в темных шляпах и шапках. Кто с палочкой, кто на костылях, а один на тележке, без ног по пах, сидит, запрокинув рябое лицо, глядит снизу вверх на стоящего перед ним человека в шапке с серым каракулем. Большаков его сразу узнал. Это ж Ленька Кухтарь, командир батальона связи! А безногий, рябой — это Лях, уходивший тогда с Марухненко!

Вот это подарок ему сделали пионеры!

А он-то предполагал, что будет один горевать над могилой в безмолвном, пустом, а поэтому жутковатом солдатском своем одиночестве. А здесь понаехало вон их сколько, друзей!

Какая-то женщина в черном модном пальто, отороченном по низу, по рукавам и по вороту чернобуркой, в капюшоне, обшитом тем же самым пушистым, седым мехом, блестя молодыми глазами, но с натянутой от волнения, жалкой улыбкой рванулась к нему, только лишь Большаков по ступенькам спустился на землю.

— Сережа!

— Маруся?!

— Как я рада! Тыщу лет не виделись, — сказала Маруся Селищева и слегка отступила, разглядывая своего бывшего командира полка. — Я ведь знала, что ты будешь здесь... Потому и приехала. — Не услышав ответа Сергея, смешалась, сказала немного растерянно: — Ну чего ж мы стоим? Пойдем, я тебя познакомлю с хозяевами — городскими властями, покажу тебе номер в гостинице... — Она с осторожностью взяла его под руку: — Извини, здесь так скользко...

— Маруся, ты... кто? Кем работаешь?

— Я? Врач-терапевт. А ты, я слыхала, историк, ученый? Это правда?

— Почти.

— Почему же — почти?

— Потому что пока еще неученый... Нас учить и учить... А мы все еще неученные...

— Узнаю Большакова! — сказала с улыбкой Маруся.

Сергей смотрел на нее изучающим взглядом. Он пытался связать и не мог ту Марусю, знакомую с фронта, и эту. Та была очень пухлая, толстая, все укладывала на лбу завитые кудряшки каким-то особенным, необычным фестоном. А то вдруг накрасит малиновой краской без того очень яркие губы. Или вдруг принесет на КП и наставит повсюду в латунных гильзах букеты цветов без стеблей, одни лишь верхушки; Сергей их выбрасывал, потому что еще с детства не любил деревенскую эту манеру — рвать цветы без стеблей, под самые венчики: ромашки и лютики вперемешку с сереющим тысячелистником и желтым козлобородником. Но эта Маруся...

Он спросил:

— Дети есть?

— У меня?.. К сожалению, нет. Я не замужем. А у тебя?

— У меня Степка, сын...

— Это что же... в честь нашего бати?.. Степана Митрофановича?

— Да... Наверное, так.

— А жена... Уж не Лида ли?

— Да, представь себе: Лида. Другая.

— Да, я что-то слыхала...

Они шли уже через площадь, гомонящую, шумную, гудящую голосами, и Маруся на каждом шагу кричала смеясь:

— Смотрите, кого я вам привела!

И Сергей целовался, жал руки, обнимался с бойцами, хлопал дружески по плечу, уже некоторых и не видя в лицо из-за выступившей на глазах пленкою влаги.

— Агафоненко! Вот так встреча... Ой, Катя! И ты тут... Смотрите-ка, Катя Слепнева?! Ну? Арсентий Михайлович, ты? А сказали: убит. На японском... А ты вон какой, жив-здоров!

— Враки... что кашляют раки, — тонким голосом, подражая кому-то, ответил Тышкевич, и все засмеялись. Как же, как же: Горячев. Горячевская поговорка, он любил ее повторять. С Горячевым вместе брали Берлин, а после, на танках, рванули на Прагу. Горячев пришел к ним опять командармом, уже

в сорок пятом, когда командиром дивизии стал Арсентий Тышкевич. Так, вместе за Одер, за разгром окруженной южнее Берлина немецко-фашистской группировки, они оба и получили по Золотой Звезде: генерал-полковник, совсем молодой еще, даже не верящий, что чего-то достиг, чернобровый и круглолицый генерал-майор Арсентий Тышкевич, начинавший войну простым лейтенантом.

Вспомнив о командующем, Арсентий Михайлович махнул горестно рукой. Другую, правую, в черной кожаной перчатке, он держал скованно, напряженно, прижимая к груди.

— Да-а, Горячев... Был я на Новодевичьем, заходил на могилу... Цветы положил... Позабыта могилка. Родных, что ли, нет никого?

И Тышкевич опять махнул левой рукой.

— Ну, а каков тут у них распорядок?— осведомился Сергей.

— А таков... Вот посмотрим немножечко друг на друга, как мы постарели, припомним былые походы, а кое-кто, возможно впервые за тридцать-то лет, познакомится, с кем бок о бок на войне воевал... И поедем по нашим местам, где стояли тогда, в сорок третьем... По окопам, землянкам. А потом уже, вечером, митинг на площади... Отсюда с венками пойдем на могилу...

Сергей оглянулся на розовый дом с красивой лепниной, с колоннами. Тогда, в ноябре сорок третьего, этот дом был дымящейся черной коробкой, впрочем, как и все остальные кирпичные здания на этой площади. И не было ни асфальта, ни этих деревьев, разросшихся на бульваре, ведущем к реке, ни этого кинотеатра из стекла и бетона, ни газонов, ни клумб. Не скажи ему, что это действительно Крапивна, никогда не поверил бы. А ведь, кажется, помнил все, до последнего камня...

Сколько раз Большаков ни бывал в городах, чем-то связанных с юностью, всякий раз оставался растерянным, неудовлетворенным. Все вокруг незнакомо, ничего не узнать! Он и в собственном родном городе ничего не узнал, когда побывал в нем проездом. Правда, в годы войны город был очень сильно разрушен, горел, но когда его восстанавливали, то все вроде бы сохранили, даже строили на старинных, еще довоенных фундаментах. А вот нет ничего, что ответило бы не рассудку, а сердцу. Разве только деревья... Но и клены, и липы, и старые тополя, и вязы на улицах так могуче, просторно, широко разрослись, опуская зеленые ветви, что Сергей и их не узнал; проходя по тротуарам, он был вынужден без конца нагибаться

и так город свой в общем-то и не разглядел, как ни пытался, даже шея устала.

— А ты, Александрыч, подтянутый, бодрый... Нисколько не постарел!

— Да уж ладно, Арсентий Михайлович! Я не барышня... Скажешь правду, я и правду переживу.

3

Большаков любил и не любил свои собственные воспоминания о прошедшей великой войне. Безусловно, великой — по тем переменам, которые произошли на планете после мая сорок пятого года. А еще — по количеству пролитой крови. Поэтому чувство исполненного солдатского долга всегда в нем мешалось с чувством горечи от утрат. А особенно оттого, что в давние, уже ставшие легендарными годы он, Сергей, очень многого не понимал, был излишне самоуверен и молод. И, наверное, не по возрасту, не по опыту, не по разуму на плечах молодого майора, а потом подполковника лежала ответственность за себя, за своих подчиненных, за судьбу своей Родины в целом. Он тогда, на войне, может, даже физически не успевал это как-то осмыслить, понять.

В самом деле, пока не было боя, были грязные, серые, нудные будни, и они уже вроде бы не война. Сон впокат на соломе, подъем, сухари, кружка водки, осмотр на форму двадцать, списки на довольствие, чересчур вороватый, или, как говорили тогда, «находчивый», старшина, рытье окопов, оборудование НП, патроны, портянки, разбухшая от дождей или снега вчерашняя дивизионка, и все, из чего складается жизнь везде, в том числе и на фронте. А когда начиналась атака, на позиции батальонов шли немецкие танки, тогда уже поздно было раздумывать, сопоставлять, нужно было командовать, действовать в зависимости от того, как складывалась военная ситуация. В те короткие миги, за секунду до мчащейся на тебя завывающей взрывчатой смерти, успевалось понять и запомнить одно: «Черт возьми! Почему пулеметы молчат? Что стряслось с Дашукаевым?! Где Мергенов? Мергенов!»

Теперь, спустя после войны почти тридцать лет, ему дулось: «Тот Сережка, Сергей был неопытен, глуп. Я, Сергей Александрович Большаков, очень опытен и умен». Но сама эта важная, завершающая пережитое мысль уже не приносила успокоения. Ему — пятьдесят. А те, помоложе и совсем молодые, что приходят на смену, хотя, в свою очередь, и неопытны

и неумны, но не верят ведь на слово! Им все нужно изведать самим, испытать, изучить на собственной шкуре... Вот когда обожгутся, тогда и поверят...

Он любил и не любил свои давние слабости и ошибки, ибо не был в них виноват. Им виной его молодость. А порою — жестокость врага. И — жестокость войны вообще, самого того времени. Не любил он и лучшие свои боевые решения потому, что война не давала им превратиться из опыта смерти, из гибели, из отрицания в нечто новое, созидающее, в положительный опыт. А он нужен теперь — вырастающий из войны, примиряющий опыт. Без него не прожить.

Поздно вечером, в номере, убирая натащенные друзьями бутылки и собранные из всех номеров дешевенькие граненые стаканы — после ветра на площади, над рекой, и мороза пришлось все же хватить боевые сто грамм, — Сергей закурил и, усталый, присел на кровать.

За стеною в гостиничном холле пробило двенадцать. Только-только при помощи коридорной устарились, затихли, успокоились ветераны, прекратились хождения из номера в номер, горячие споры, постукивание костылями, бесконечные воспоминания, а то и упреки. «А ты што ж, сукин сын, не признав мэнэ? — басил командир батареи 76-миллиметровых орудий Утвенко Кузовкину, командиру стрелкового батальона. На войне они зачастую общались только через связных, хотя и стояли почти всегда рядом. А поэтому и сегодня, седые, уже лысоватые, встретились и не узнали друг друга. — Да я ж тэбэ, черта, тоди як спасав? Як из пушки! Га?! А ты взяв и забыв...» «Так то мои автоматчики твою пушку «як из пушки» спасали, — не сдавался Кузовкин. — Иль не помнишь, когда отсекали пехоту от танков?..»

Большаков утомленно прилег на кровать, забывая стряхнуть с сигареты пепел.

За последние годы, пожалуй с победы, в его жизни еще не бывало такого волнующего, насыщенного слезами и смехом, такого огромного, горького и счастливого дня, как сегодня. Поездка по линии бывшего фронта... Эти факелы над рекой — в синих сумерках — цепь живых, разрываемых ветром огней в руках у идущих колонной к могиле, рыдание медных труб... И вообще, этот снег и стеклянная от мороза дорога, по которой идут ветераны, солдаты с опаленными лицами, кто с черной повязкой на глазу, кто без руки, а кто подпираясь костылем, —

один вид их всех, собранных вместе, наверное, обжигает сердца, — а за ними весь город: старики и старухи, дети, взрослые... Крестный путь... от одной только мысли: «А в этой могиле мог лежать бы и я...» И привянувшие на морозе живые цветы...

Вот не думал, что все эти вещи, столь привычные по сегодняшней жизни: снег, живые цветы, флаги, музыка, — трогают... Нет, главное, темнота над разросшимся городом, чтобы шествие с факелами и Шопен сразу били бы, ударяли по сердцу, по нервам — и они и ударили. Словно огненным, обжигающим взрывом все замкнулось в кольце: то, прошедшее, пережитое, и победа, и кровь, и сегодняшняя оценка всему, ослепившая душу: «Неужели же это я... победил их?.. Не кто-нибудь — я... Сергей Большаков. Самолично. И Тышкевич... Кузовкин... Маруся... Это мы их смогли?!»

И еще оттого, верно, трогает за душу, что они, уцелевшие, снова вместе шагают...

Сергей встал, прошелся по комнате. Нет, сегодня ему не уснуть.

Черт возьми, пионеры, ведь дети совсем, ребятишки... А вот всех разыскали и со всеми списались, и как это все хорошо получилось... Ведь придумали... чтобы шли по ступенькам, по лестнице, целых два этажа, в разукрашенной флагами школе, — и Лях на тележке, которого подняли и внесли боевые товарищи, — а на каждой ступеньке по два пионера, — такие вот крохи — мальчик и девочка, взметнув правую руку, отдавая салют. Шаг — и новые пары глаз. Шаг — и новые пары. Огромные, голубые, и карие, и зеленые, и черные, словно спелые вишни, устремленные на негнущуюся, в кожаной перчатке руку Тышкевича, на его Золотую Звезду и на шрам в волосах, пересекавший всю голову, на тележку разведчика Ляха, на нарядные планочки Кати Слепневой, на красивый, задумчивый профиль Маруси, на седые, когда-то веселые кудри Кузовкина.

Сергей горестно усмехнулся.

По Берлину, засыпанному осколками, наверное, с меньшим волнением шел, чем по этой истертой множеством ног, простой школьной лестнице. Как же: дети, сыны... Вся надежда на них. Они не забудут... Говорят, двух смертей не бывает... Нет, неправда! Бывает! И первая смерть, когда гибнешь от бомбы, от пули или снаряда. А вторая — неизвестно, бесследно исчезнуть из памяти поколений. Это даже похуже физической смерти...

Как ни странно, но во все времена человек озабочен не тем, что умрет. Он смиряется и со смертью. Но, живя, он ищет бессмертия делу, которому служит, за которое столько страдал. Ведь, казалось бы, просто: будешь ты лежать в могиле, и тебе все равно, что там делается наверху, дождь идет или снег или светит горячее летнее солнце, а вот все же, пока живешь — волнуешься и мнешься при мысли о том: а как будут жить после нас на земле? Неужели забудут наши голод и холод, наши раны и жертвы, и нашу любовь, нашу веру, недопетые песни, недосказанные слова?.. Неужели забудут, какой ценой добывалась Победа?!

Даже Лермонтов, этот многое отвергавший, насмешливый человек, ведь и он ужаснулся, задумавшись о грядущем: «Боюсь не смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть совершенно...» И такой гармоничный, жизнерадостный Пушкин, он же тоже хотел не «весь» умереть: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...» Ну а если не Пушкин, не Лермонтов, а простой человек, воевавший за Родину, за свободу страны, — если он погибнет, умрет, так он что же, исчезнет совсем?.. Навсегда? Самой лютой, беспамятной смертью — растворением в вечности?

Большакову припомнился памятник над могилой: бетонный трехгранник, как вырастающий из земли солдатский штык, по замыслу скульптора — символ вечной готовности советского народа встать на врага, откуда бы он ни пришел. У подножия груды цветов. Все завалено доверху живыми цветами. А люди все шли, подходили и подходили к трехграннику — и каждый с цветком, каждый с факелом. Цветок клали к могиле, а факел тушили о снег. Чадя, пошипев какое-то время, факел гас. И когда потушили последний, во мраке качнулись слепящие прожекторы, как во время воздушного налета, заскользили по небу, по черной окружности, радиальными — гибельными — дымящимися лучами. Дружно, разом ударили залпы винтовок, взлетели ракеты...

Из их дивизии здесь лежали комбат Дашукаев, погибший в боях за Крапивну, комбат Коровин и разведчик Паша Костенкин, сменивший в полку пропавшего без вести Валентина Яманова. И еще сотни три неизвестных Большакову бойцов из нового пополнения. Привычное дело! Он даже припомнил, как их хоронили: Сергей почему-то подумал тогда, что надо будет прийти на могилу еще как-нибудь, без людей, без свидетелей, постоять, поразмыслить, проникнуться думой о том, что вот Пашка, великий разведчик, убит. Большаков почему-то

в тот день был встревожен, расстроен и думал, что в момент похорон он не сможет проникнуться до конца этой горестной мыслью, а когда возвратится один, то проникнется обязательно, а поэтому в тот момент отвернулся и стал размышлять совсем о другом. А вернуться уже не пришлось. Дивизия за ночь ушла на одиннадцать километров, и он больше уже никогда не бывал на могиле, а приехал вот только сейчас, спустя столько лет...

4

В дверь номера постучали легонько, по-птичьи: стук-стук. Сергей быстро, как в молодости, повернулся:

— Войдите!

Он думал: Тышкевич. Но вошла раскрасневшаяся, улыбающаяся Маруся в черном строгом платье, с красивым браслетом на белой руке. Ее светлые пышные волосы были уложены башенкой на макушке.

— Ты один? И не спишь? А я думала: разбужу...

— Нет, не сплю. А чего это вам, товарищ бывший военфельдшер, не спится?

— Да так... Молодость вспоминается!— Маруся присела на стул, оглядела привычный гостиничный неуют, кучу грязных стаканов. Сказала, смешно морща нос: — А знаешь, пойдем-ка ко мне, и Тышкевича позовем. У меня есть вино «Черный доктор», я бутылочку привезла. Есть яблоки, сыр. Вот и справим поминки...

— «Черный доктор»... А разве ты черная?

— Нет, я белая. Белый доктор. Но работала в Черной Африке. А вино наше, крымское, очень хорошее.

— Ты работала в Африке? Вот не думал...

— Да. Я тоже не думала, что туда занесет. А вот занесло...

В ее номере было тепло, тихо, чисто. Уютно горела настольная лампа. Тышкевич, уже задремавший в своем полулюксе, был безжалостно извлечен из постели и с помощью Большакова приведен в «боевую готовность». Они сели втроем за стол, и Маруся, отпив из стакана, тихонько запела:

Был наш хутор тих и светел,
Но внезапная пришла беда...
Может, пепел твой развеял ветер —
И не ответишь ты мне никогда...
Эх, где ты, где ты, скажи мне, где ты,
Куда тебя забросила война?..

— Эту песню не надо,— жестко заметил Сергей.

Он думал, что все позабылось. За тридцать-то лет, наверно, и косточки Лидины сгнили, а стоило только приехать сюда, по этой дороге, постоять над одной из бесчисленных в их дивизии братских могил, и все вспомнилось сразу, все откуда-то всплыло, из таинственных темных глубин на поверхность.

— Да, дожил бы Степан Митрофанович... Как бы встретились с ним!— сказал вдруг Тышкевич.

И Сергей, поднимая стакан и разглядывая на просвет ароматную, темно-рубиновую, почти черную жидкость, только тихо кивнул. Степан Митрофанович... Друг дорогой. Даже больше чем друг... И погиб он так странно... Как будто опился болотной воды, наговоренных трав.. Не военной гибелью, не командирской.

Дело было уже летом, в июне, в дни затишья на фронте. И полк Большакова отвели ненадолго на отдых, к реке. Километра на три от переднего края.

Шерстобитов с Сергеем и Венька Двойных позади с автоматом шли спокойно по берегу через заросли таволги, поручейницы, болиголова. Весь в лютиках и гусиной траве болотистый луг и край берега — от кустарников можжевельника поверху до осоки у самой воды — были покрыты обнаженными бегающими, прыгающими, кувыркающимися или просто лежащими на траве, распластанными телами бойцов — сцена, словно в аду. Только черти не мучили грешников, а давали им насладиться пылающим солнцем, мягким, шелковым ветром, прохладной водой.

Кто-то, балуясь, развлекался тем, что вел затейливый разговор с лесным звонким эхом.

— Кто съел плод с древа-а-а-а?— кричал молодой сильный бас. И откуда-то издали удивительный голос природы, не задумываясь, отвечал, чуть раскатывая повторенные гласные:

— Ева-а-а...

Шерстобитов сказал Большакову:

— А спросить бы еще: кто из нас дошагает до Шпрее? И когда? Я полжизни бы отдал за этот секрет.

А Сергей усмехнулся с привычной иронией:

— Не ответит. Военная тайна!

И они постояли, разглядывая из-за кустарников купающихся, бегающих и прыгающих бойцов, отдохавших на солнце, как в мирное время, бездумно, спокойно.

— А пошли, Митрофаныч, и мы с тобой тоже купнемся,—

предложил вдруг Сергей и взял Шерстобитова за рукав, потянул было к речке.

— Нет, я не пойду,— отшатнулся полковник.— Я вообще туда, вниз, не пойду. Пусть ребята резвятся. Зачем им мешать?

— Ну а я искупаюсь.

— Купайся, добро.

И Сергей повернулся, с разгона помчался к реке. А полковник кивнул адъютанту, чтобы тот промолчал и не подал бы знака о его командирском присутствии здесь, на лугу; повернулся и скрылся в неряшливо-сером ольшанике. Ведь пройди он по берегу — враз движение этих скачущих тел, просто так, без команды, и то остановится, все замрет, потускнеет. Даже тот лейтенантик, что одетый сидит под ракитой, задумчивый, и стругает красивую палочку ножичком, тоже вскочит немедленно, застегнет воротник и, печатая шаг по траве, заспешит доложить о своей отдыхающей роте... И хотя Шерстобитов тотчас же прикажет: «Вольно, вольно!» — потому что во время купания не докладывают и команд сторожащихся не подаю,— все равно так случится, он-то знает!

«Веселитесь, ребята,— разрешил им в душе Шерстобитов.— Резвитесь! Значит, есть еще сила солдатская, богатырская, коли тянет побегать, попрыгать, поиграть в чехарду. Я и сам бы, наверное, не отказался, да вот надо идти... Ничего не поделаешь, служба!» И он с Венькой свернул из ольхи и крушинника еще дальше, в чащобу, все поглядывая с затаенной улыбкой на небо, на солнце, на красивые, крупно приспособленные гроздья цветущей калины, на мелькающие перед глазами желтоватые, белые, голубые и розовые мотыльки, на ажурную тень от разлапистых елей и сосен. Здесь был терпкий, слегка душноватый, влажный зной. Пахло хвоей, землей. И полковник, задумавшийся на минуту, не понял, как что-то далекое тихо присвистнуло, прожужжало над ухом. Он решил, что это шмель, но запнулся на ровной тропинке, все еще не догадываясь, что не шмель это, пуля «кукушки», засевшей на дереве, что убит, умирает... — и упал на коряжистый пенек при дороге, показав лейтенанту Двойных на спине, на пятнистой, защитного цвета рубаше, словно шилом проткнутое, входное отверстие раны. Крови не было, и Двойных в онемение стоял, растерявшись, не зная, что делать: все в нем обмерло. Только лишь когда по рубаше поплыли пунцовые влажные пятна, он вдруг вскрикнул от ужаса, и упал на еще теплое тело командира дивизии, и бессильно и горько забился, заплакал...

— Так ты, значит, историк? А я мечтал видеть в тебе военного, генерала, — опершись на здоровую руку, говорил чуть подпивший Тышкевич. — Ну хотя бы военного теоретика. Ты же как нас тогда посрамлял своим знанием Суворова, Мольте, Клаузевица, наполеоновских походов! Я и думал: возьмишь и спланируешь так, что не будет войны. Вовек. Никогда. На всем нашем вертящемся шарике... А ты — просто историк... Беда, брат, беда! Историк что писарь. Убытки подсчитал — и конец. А вы, люди, мол, сами идите и разбирайтесь, что к чему.

— Я, Арсентий Михайлович, историк из любопытства. Все пытался постичь, отчего у иных слова расходятся с делом, умение с мыслью. Отчего талант и энергия очень редко соединяются вместе... Может быть, раз в столетие.

— И постиг? — приподняв иронически бровь, усмехнулся Тышкевич.

— Нет, пока еще нет.

— Ну так выпьем за будущие успехи!

— Пожалуй, что выпьем...

— А где «Черный доктор»? Маруся! Ты где?

— Я пошла за бутылочкой.

— Уже поздно, родная. Оставь нам на завтра...

— Оставляю, оставляю. И на завтра оставлю. — Маруся сияла, глаза ее, темные, в темной тени ресниц, тоже ярко сияли, так что Сергею хотелось тихонечко дунуть на них, погасить — наверное, им слишком видно, что он старый, седой и морщинистый и что лучшими годами не дорожил. Пронесли эти лучшие годы — и вот нет ничего, одно только чувство. А ведь чувство не сила, не ясность ума, не умение сделать. Чувство — это только умение оценить пережитое. Пожалеть. Погрустить.

Маруся сказала:

— Давайте, не чокаясь, за тех двух рабочих...

— За каких двух рабочих? — удивился Большаков.

— А ты разве не знаешь? Мне сейчас, когда шли к обелиску, одна женщина рассказала. Двое местных рабочих копали вот эту могилу, для наших, — останки-то собирали со всей территории — и взорвались на mine. Так их вместе с Костенкиным, с Дашукаевым и Коровиным и положили в могилу. Породнились с дивизией...

— А я и не знал! — поразился Сергей.

— А по-моему, мы еще многого почему-то не знаем,— сказала Маруся.— Например, я не знаю, почему мы не встретились сами, за тридцать-то лет? Не додумались, не разыскали друг друга? Хорошо — пионеры. Горком комсомола нас всех пригласил. А если бы не пригласил? Так бы я и состарилась, не увидев тебя,— сказала Маруся и вдруг покраснела при этом. И добавила чуть спокойней, с коротким смешком: — И красивого, толстого, седого Тышкевича...

— А что, я некрасив?— удивился Тышкевич.

— Нет, красив, я об этом и говорю!— поспешила его успокоить Маруся. Объяснила Сергею: — На войне он все время хотел, чтобы я была кроткой, послушной и нежной. А я не хотела. Ну, вот нежная, нежная я, Арсентий Михайлович! Только мне уже сорок девять... Я теперь-то такая вам очень нужна?

Арсентий Михайлович встал, прошелся по комнате, склонив голову с длинным, рваным, зазубренным шрамом, рассекшим седые волосы. Спросил, помолчав:

— А я тебе нужен такой? Я и в молодости, черноволосый, не раненный и с зубами, тебе был не нужен! Хорошо это помню! А кто нужен был... не скажу! Так что, знаешь... не будем считаться! Я вот думаю о тебе, как ты вытянулась, изменилась. Отчего мы не знаем, какими мы станем? Как бы это провидеть заранее, а, историк? Скажи,— обратился уже загоревшийся спором Тышкевич,— как бы знать это раньше?

— Да, действительно,— отозвался Сергей.— Знать, где падать, соломки там подстелить...

— Ну, Маруся... ответь. Я-то нужен тебе?

Но Маруся слегка отмахнулась от насевающего на нее командира дивизии, тихо, строго спросила Сергея:

— Нет, Сергей, ты скажи, отчего ты инертный такой? Это что?.. Это жизненный принцип? Или просто российская лень? Ты нашел подтверждение гибели Лиды? По-моему, нет. А наверное, существуют какие-нибудь документы. Пусть не наши, немецкие. А ты их разыскал? Ты за тридцать-то лет побывал в Стоколосе? Ты расспрашивал там: как погибла и где? Ну ведь не был, скажи!

— Не был, каюсь, Маруся...

— Почему?

— Сам не знаю. Наверное, потому, что жалел ее, мучился, переживал. Ты права. Мне нет оправданий!

— По-моему, проще сказать: боялся жены.

— Нет, ее не боялся. Просто я... запрещал себе эту поездку. Боялся себя. Своих собственных воспоминаний...

— А верней, ты боялся трудностей.

— Да. И это, конечно...

— Черт возьми!— решительно повернулся от двери шагавший по ковровой дорожке Тышкевич. Он взял со стола недопитый стакан.— Нет, я пью за Марусю! За мудрую женщину. Почему-то не оцененную ни Сергеем, ни мной...— Он мгновение помолчал.— Ты, Маруся, великая женщина. И еще пью за наших, лежащих в могиле. Да, сегодня склонил перед ними свою страшную, белую голову, а сам думал... Ну, ты вот, Сережа, ты, Маруся, родная. Подумайте, милые... Вот умрем мы... Может, нам и не будет оркестров спустя тридцать лет после победы, потому что последняя, главная и единственная награда нам — сама эта жизнь. А как мы ее прожили? Как живем? А, друзья? Разве мы дорожили священными этими днями, секундами? Разве тратили их без ошибок, без поблажек себе, без уступок дурному? Разве шли всегда напрямик? Не сворачивали порой на извилистые тропинки? Тот, кто скажет сейчас, что не сворачивал, не уступал,— тот, по-моему, лжец!.. Да, не смейтесь, пожалуйста... Не улыбайтесь! Лжец. Так вот... Сколько жить мне еще, не скажу. Я не знаю. Но так хочется после всего пережитого нынче подняться до уровня тех, кто лежит над рекой. До их нравственной высоты! Быть душою бойцом и сегодня... А это... непросто... в наши мирные дни... Ох, непросто...

— Арсентий Михайлович...— сказала Маруся.

— Марусенька! Я не пьян. Я уже протрезвел. Ты напрасно хлопчешь... Ну, если не нравится, я замолчу... Ну и ладно. Не надо... Не пьян! Я хотел рассказать все, что думаю о себе. Ну, не надо, так что же? Не надо. Не будем! Так легче, так проще. Давайте молчать... Я нем как могила. Тебе хорошо? Ну, спой нам что-нибудь африканское... Говоришь, нет гитары? Ну, ладно. Не надо... Тогда как хотите... Я спать...— И он встал и ушел.

6

Разъезжались они сразу после обеда. Были тосты и речи, были вспышки и щелканье фотоаппаратов, прощание с друзьями: с вожатой Аней Кураевой, круглолицей, скуластенькой коротышкой с косичками, с учителями школы, с пионерами, с секретарем райкома партии и секретарем райкома комсомо-

ла и со всеми, кто их окружал заботами и вниманием: с шоферами, поварами, гардеробщиками, дежурными по коридору. Пели песни — «Катюшу», «Вставай, страна огромная», «В землянке», «Шумел сурово Брянский лес» и все, что припомнилось из военных далеких, не тронутых в памяти лет, вплоть до самой наивной, смешной: «Валенки, ва-аленки, эх, неподшиты, стареньки-и...» Пели и в автобусе, стараясь перекричать друг друга, и на вокзале, когда Аня Кураева побежала покупать на всех билеты, а они стояли плотной, слитной, такой приметной толпой среди остальных пассажиров, собирающихся в ожидании поезда.

Сергей Большаков, невыспавшийся и больной после «Черного доктора», был угрюм. Он сперва отошел от круга поющих и долго стоял среди площади, глядя в небо, потом по морозу, по свежему ветру прошелся перед вокзалом, разглядывая киоски, конечно закрытые, — газетный киоск, аптечный киоск, табачный киоск, — заглянул и в вокзал, в большой, темный, хотя и двусветный зал ожидания. Но там было мало народу, почти никого. В углу, на деревянном диване, рядом с пестрым узлом и баулом сидела какая-то старая женщина, слепая, бедновато, но чисто одетая, рядом с нею ютилась некрасивая остроносая девочка в ярко-синей нейлоновой куртке, слишком легкой для этой морозной осенней погоды, в коротеньких брючках, в сапожках на «рыбьем меху».

Девочка то и дело вставала, вертелась, прислушиваясь к объявлениям хриплого радио, а слепая тихо сидела, склонив голову в уже ставшей привычной давнишней печали, шевеля лишь короткими пальцами с изуродованными ногтями. Она словно слушала что-то в себе, и этот неслышный другим тихий внутренний голос ничем больше женщину не радовал, не утешал.

Большаков поглядел на нее, не поморщился, хотя ему очень хотелось поморщиться, но он все же сдержал себя, просто дернул плечом, повернулся и вышел. И вдруг словно что-то толкнуло его: так могла бы сидеть и Лида, останься она в живых, искалеченная, израненная и замкнувшаяся в своем горе, по-прежнему гордая, не желающая ни показывать себя никому и ни видеть других...

Большаков повернулся и, кого-то невежливо оттолкнув с чемоданами в узких, тесных дверях, вбежал снова в вокзал — подойти, расспросить... Но сидящей с баулом и пестрым узлом слепой женщины уже не было. И девочки в синей нейлоновой куртке тоже не было видно, сколько он ни метался

по холодному темному залу с расставленными вдоль стен и по центру массивными, из мореного дуба, диванами с покатыми спинками. Он прошел по лестницам наверх, в зал для транзитных пассажиров, пробежался и по перрону. И в полном отчаянии, уже чувствуя себя снова больным, недовольным, а главное, виноватым, сел на тот же диван, где сидела слепая, нёвольно прислушался.

Там, на площади, пели, и сильный, звенящий, наполненный счастьем волнующий голос Маруси долетал и сюда, в этот зал, через толстые стекла, она пела ту самую песню, которую он так недавно не мог, не хотел больше слышать.

Или, может, утром ранним
По болотистым краям лесным
Ты разведчиком иль партизаном
Идешь с друзьями к берегам родным.
Эх, где ты, где ты, скажи мне, где ты...
Куда тебя забросила война?

«В старых армейских песнях — без имени автора и без композитора — все же есть что-то сильное», — решил Большаков. Он думал о Лиде, о гибели Шерстобитова, о победе, об исполненной суеты и волнений сегодняшней завоеванной, мирной и вроде бы даже праздничной жизни и об этой слепой старой женщине, поразившей его.

«Неужели это она, Лида? Нет, мертвые не воскресают. Это другая... А Лида...

«Может, пепел твой...» Да, найти бы хоть могилу. Хоть пепел. Чтобы не было этой второй ужасающей смерти — забвения, — думал он о Лиде, сцепив пальцы и глядя на свои белые, без мозолей, большие, когда-то солдатские руки. — Чтобы истинное, прекрасное, вечное в нашей жизни, изменчивой и текучей, не сгорало бесследно, опять уходя в неизвестность и вечность. Да, Тышкевич был прав. Надо жить по-другому. Быть достойными тех, что лежат над рекой...»

И он встал и пошел к товарищам.

ФОНАРИКИ,
ПЛЫВУЩИЕ
ПО РЕКЕ

Чужой город за окнами в душных сумерках разгорался огнями реклам, волновал бесконечным шуршащим потоком людей и машин. После трудного дня напряженной работы Ушакова потянуло на улицу.

— Ну ты, Вася, как хочешь, а я пойду.

— Пойди погуляй. За счет сна, хоть всю ночь...

— Да нет, я ненадолго.

Он спустился по лестнице, прошел мимо боя, почтительно поклонившегося. Квадратные двери отеля раздвинулись автоматически — зеркальные стекла, светлый пластик, пушистый ковер — пропустили его на улицу и снова задвинулись, оставив Ушакова одного в духоте и бензиновой вони огромного города, на мягком от жары асфальте тротуара в бесчисленных оспинах от каблучков.

Он шагнул на мостовую и смешался с толпой. И тотчас же оглянулся, чтобы запомнить дорогу.

Этот памятник в виде серой подковы и черный, выжженный купол за ним, на фоне бесцветного неба, они видели днем, когда ехали с вокзала, а потом — когда возлагали венки. Сейчас памятник оставался левей, заслоненный толпой гуляющих. Прямо против гостиницы темнело торцовой стеной бетонное остроугольное здание мемориала на квадратных, тяжелых колоннах-ногах.

Впереди за деревьями парка Хейва была река Ота, и небо над ней клубилось тревожным дымящимся светом и этой тревожностью было странно знакомо. Оно почему-то напоминало небо войны под Москвой в декабре сорок первого года.

Постояв, посмотрев на багровые облака, которые отражали какое-то непонятное, очень медленное перемещение источников света внизу, за деревьями, Николай Ушаков повернулся, не зная, куда ему двинуться: для него все вокруг было одинаково любопытно. Но люди спешили куда-то направо сплошным потоком, проходя под колоннами мемориала, — мужчины и женщины, старики и старухи, нарядно одетые дети и даже

собачки. И он тоже нырнул под бетонные своды угрюмого здания и вышел на площадь, посредине которой шумел и сверкал меняющий краски, подобно огромному хамелеону, совершенно не дающий прохлады фонтан.

Люди шли к нему толпами, торопливо. Но, дойдя до искрящейся, бьющей вверх или в стороны радуги, останавливались кольцом и так замирали надолго, почти неподвижно, словно что-то их завораживало в этом сложном движении, может быть, не изменчивость, не красота, не покорность, а расчетливое постоянство, с каким эта теплая, дымная влага вдруг меняла по четкому графику то свой цвет, то свои очертания.

Созерцание шумно льющейся, то алой, то синей, то желтой воды, текущей туда, куда ей прикажут, по-видимому, и завершало собой этот самый красивый из виденных Ушаковым и самый мучительный праздник — день поминовения мертвых. Отсюда, от здания мемориала, люди шли уже по домам, к повседневным заботам, и больше не оборачивались на широкую площадь, освещенную ярким фонтаном, на разрушенный купол, на дугу сенотафа:¹ человеку жить в обществе символов неуютно — они иссушают горечью воспоминаний.

Ушаков усмехнулся: фонтан был как фонтан, а зрелище у него за спиной куда интересней! Там двигались и перешептывались сотни людей — мужчины и женщины в разноцветных одеждах. Да, особенно женщины, изящные, грациозные, щебечущие, как птицы, на своем непонятном ему языке, в струящихся складках кимоно: рыбы, листья и розы на бледно-лимонном искрящемся шелке, серебряные цветы хризантем на розовом и голубом, золотые и черные маки на красном; пушистые длинные стебли растений, пунцовые, желтые, синие звезды.

Ушаков этих женщин рассматривал откровенно, почти как рисунки, как живые, озвученные иллюстрации к прочитанным книгам. Его удивляло лишь то, что они совершенно реальны: улыбаются, разговаривают, переходят с места на место, обмахиваясь веерами, белолицые, узкоглазые, с подведенными, как шнурочки, бровями, в плотно стянутых поясах из парчи, прикрывающих грудь и спину, как десантника-парашютиста прикрывает надетый перед прыжком парашют. И одежда, и пояс, и обувь — деревянные гэта или дзори с ремешком вокруг пальца, надетые на носочки, — все это казалось настолько занятым, необычным, что он, Ушаков, должен

¹ Сенотаф — символическая братская могила, памятник.

был для себя расшифровать их как загадку: а что это такое, а это? Кто такая эта та длиннозубая, злая старуха, которую все приветствуют, сгибаясь в изящном поклоне почти до земли, и при этом ревниво приглядываются друг к другу — а кто дольше не разогнется? — и тщеславно выдерживают длиннейшую паузу?.. Он видел морщинистых стариков, опирающихся о барьер у фонтана, важных дам с причудливыми прическами, со скамеечками в руках и нарядными зонтиками, студентов в простой европейской одежде и девчонок-работниц, молоденьких и хорошенек, в синих юбках и белых блузках; их главное украшение — молодые глаза, и улыбка, и смех, и этого беспричинного смеха за неделю работы, видать, накопилось немало.

Здесь, во взглядах, в глазах, было все, как везде: ожидание, неуверенность, равнодушие, любопытство, даже скука, — а ему, Ушакову, хотелось увидеть не это, а что-то другое, объясняющее ему, что же их отличает от всех остальных, не выдавших и не переживших того, что видели и что пережили они, очень важное в сегодняшнем мире.

Но особенного в лицах этих людей Ушаков не нашел ничего. Мужчины и женщины вяло молчали. Или вяло шутили. Жевали конфеты. Обмахивались веерами: у фонтана было душно и жарко, не прохладнее, чем где-нибудь в центре города с его вереницей машин. Только облако над фонтаном становилось последовательно то малиновым, то желто-оранжевым, то зеленым, да нарядно одетые мальчики с пробритым кружком на макушке и девочки в сшитых точно по росту хорошенек кимоно подставляли ладони под брызги; в них все было взрослое, в этих пяти-, шести-, семилетних кокетках: и жест, и походка, когда они трогательно семенят, догоняя родителей, и взгляд, которым едва успевают окинуть бредущего в одиночестве иностранца.

Ушаков подмигнул двум таким улыбающимся черноглазым девочкам («Ах вы, маленькие обезьянки!»), наблюдая, как точно, как радостно-грациозно копируют они взрослых, такие похожие друг на друга, словно кто вымерял и выделял их по шаблону, в то же время такие неотличимые и от матери и от отца.

Да, в самой этой точности, в извечности сходства, в поразительном повторении внешности взрослых, в постоянстве преподанных им движений, манер и привычек веками сменяющихся здесь поколений было видимо что-то большое, надежное: залог процветания, нестарения нации.

Сам он, Ушаков, не имел ни жены, ни детей и теперь уже не надеялся, что кто-нибудь повторит его мысли, походку, дурные привычки,— о себе Ушаков размышлял почему-то крптически, и он повернулся и пошел от фонтана, огибая музей, снова к парку, к излучине Оты, откуда и поднималось над городом какое-то странное, словно дым от пожара, багровое зарево.

2

Он дошел до реки, но на мост не поднялся, а свернул по песчаной дорожке вдоль берега, под деревьями, и встал у бетонного парапета.

За деревьями, прямо по стрежню реки,— может, то была Тенме, или Хонкава, а может быть, Мотоясу (Ушаков с трудом разбирался в этой путанице рукавов и каналов в дельте Оты),— проплывал излучающий теплоту малиновый огонек. Николай пригляделся: это был бумажный фонарик.

За ним следом тянулись два зеленых и два розоватых.

Чуть дрожащий невидимый свет, защищенный бумажным квадратом, поставленным на скрещении двух щепочек на плаву, диковинным образом украшал эту темную и довольно широкую реку. Но в дрожании огонька чуть прикрытой бумагой свечи было что-то тревожное и одинокое; свет ее доносился как зов к стоящим на берегу, как подавленный вскрик от боли.

Ушаков проследил за фонариком взглядом до самого поворота.

На мгновение на реке все померкло.

Вдруг огни потекли сверху густо, искрящимся ярким потоком от берега и до берега, медлительно завиваясь в тугие спирали, дрожа, шевелясь и волшебнo мерцая. Кто-то их запускать в центре города по воде. Здесь, в излучине, они перестраивались на ходу то широкими полосами, то в затылок, в колонну, уходили по одному, и опять наплывали, все гуще, все шире, и опять распадалась на желтые, красные и зеленые звезды.

Из сумерек — в ночь.

Из каменных тесных набережных огромного многолюдного города — в прибрежные воды Великого океана.

Разноцветные, яркие, казалось, они никуда не спешили. Течение в дельте Оты почти незаметно. Поэтому они плыли задумчиво, невесомые, чуть покачиваясь вразнобой на густой маслянистой, как олифа, воде.

Мимо Ушакова вдоль берега прошла пара: он — высокий, широкоплечий, рыжеволосый, одетый по-европейски; она — тоненькая, изящная, в дорогом кимоно и затканном золотом оби. «Дзубэко»¹, — решил Ушаков. Но тут же подумал: «Да нет, непохоже».

— Подожди, я только взгляну еще раз, — попросил по-английски мужчина свою спутницу и, обойдя Ушакова, стал под тенью разросшихся длиннолистных плакучих ив. — Посмотри, как их много! — обернулся он к женщине и быстро привлек ее к себе, обнимая за плечи. — Очень странный обычай... И очень красивый. И каждый фонарик действительно означает погибшего человека, да, Юкико?

— Хай!² — ответила женщина по-японски. Она едва уловимым движением отвела от себя его белую длиннопалую руку и несколько отстранилась. Потом тихо добавила, как бы что-то прощая стоящему рядом с ней человеку, объяснила ему: — У каждой погибшей души свой фонарик, освещающий путь!

Мужчина закашлялся, заколыхался от смеха.

— И ты веришь, Юкико, во всю эту чепуху? Вы странные люди!

— Мне странно одно: что я еще все живу, — ответила женщина. Она отвернулась от рыжеволосого спутника. — В тот день, — сказала она, — я буду помнить его до самой своей смерти, — здесь плыли одни только трупы.

Ушаков оглянулся на скопления разноцветных огней. Да, он знал: много трупов плыло в тот день по этой реке, обожженных, со сползающим с костей мясом, с растекшимися глазами. Еще было много сгоревших, превратившихся в пар, в серый пепел, в бесплотную тень, отпечатанную на асфальте. Еще были мужчины и женщины, прикипевшие костями скелета к железу и камню, как бы сросшиеся в одно целое. Еще были умершие спустя много лет после взрыва и те, что болеют и умирают в больницах, на улицах, в жалких лачугах до сих пор и теперь.

Он об этом слышал, но не видел своими глазами. Сейчас Ота, забитая огоньками, живыми, кивающими из темноты и с покорностью истлевающими, уплывающими в океан — безвинно, бесцельно, неизвестно, безвольно — сотни тысяч огней по семи рукавам, — была столь же наглядна, как школьная диаграмма!

¹ Дзубэко — женщина, не заботящаяся о своей репутации (яп.).

² Да (яп.).

Он припомнил другие — холодные — реки. Сколько их у него за спиной! Укрепленный фашистами берег Волги в декабре сорок первого под Калинином. Извилистая, в полыньях, разбуженная артобстрелом Угра в апреле сорок второго и трупы товарищей, вмерзшие в лед. Днепр, форсированный в ноябре сорок третьего ниже города Киева. Мутный Одер весной в сорок пятом году, Аурит, где солдаты сидели в залитых водою траншеях. Холодная, серая Эльба... Все они легли на пути у идущих к победе ледяным, обжигающим рубежом.

Ушаков тряхнул головой, отгоняя видение неизвестной речушки под Витебском, освещенной огнями сигнальных ракет.

За то время, пока он выплывал из собственных воспоминаний, как из черного небытия, здесь, рядом, поссорились, и женщина плакала.

— Ну, что ты, Юкико! Ведь я пошутил...

Но женщина не отвечала.

Она стояла, прижавшись грудью к нагретому за день бетону, и смотрела на реку, погасшая и печальная.

— Ну, что, в самом деле, сегодня с тобой? Ты шуток не понимаешь! Я тогда ухожу... До свидания! До завтра...

— До свидания! До завтра,— машинально ответила женщина.

— Ну, чего ты обиделась?— спросил снова рыжеволосый.— Чего ты молчишь?— Теперь он уже разговаривал с ней бранчливо. Потом повернулся и пошел прямо к мосту.— Саёнара!¹— уже отойдя, крикнул он.

Но женщина ничего не ответила.

Тяжелыми шагами человек прошел к мосту, постоял над рекой. Силуэт его четко врезался в бледное полуночное небо, потом его сбоку оплывало ярким светом проехавшей машины, и горячая, банная мгла поглотила его, может быть, навсегда.

Река шевелилась, щетинилась, горбилась от скопляющихся на излучине, наплывающих сверху огней. Среди этих пестрых, мерцающих скопищ что-то вспыхивало, перебегало, словно кто-то кого-то искал, но не мог найти и, сгорая, взывал и молил о пощаде.

«Нет, наверное, войны не кончаются и не продолжают,— решил Ушаков.— Они живут в нас... А иначе о чем этой женщине плакать?»

Он не мог уже отойти от бетонного парапета.

Кто их знает, каким заблудшим душам освещают вот эти

¹ До свидания (яп.).

фонарики путь? Может быть, в самом деле какой-то из этих огней, ну, хотя бы зеленый, был красивым мужчиной. А вот этот, чуть-чуть розоватый,— молоденькой женщиной. А вот это, наверное, души детей. Вот они взялись за руки и, приседая, тихо кружатся на медлительной темной дегтярной воде: раз-два-три, раз-два-три... И вдруг словно спохватываются, вспоминая печальное свое назначение, сокрушенно покачивают головами и с большой неохотой, как бы делая очень нелегкое дело, снова тихо вытягиваются чередой, один за другим.

Освещение на аллеях уже выключалось, и парк Хейва пустел. И женщина, все еще стоявшая рядом, с сухим треском сложила сандаловый веер и хлопнула им по пальцам, как бы что-то отчеркивая от себя, отрезая.

Ушаков наблюдал за ней искоса. Она была очень красива, такая изящная, молодая... Кто такая, откуда? Продавщица из так называемого «депато»? Секретарша из богатой конторы? Чертежница? Швей? Кимоно ее очень нарядное, дорогое. Но ведь все японки во все времена умели красиво одеваться. Даже самые бедные. Да и кто в такой день не достанет из шкафа свое лучшее платье?

Ушаков закурил, чиркнув спичкой, и женщина вдруг опасно покосилась в его сторону, видно, только теперь разглядев в темноте постороннего человека. Она прикоснулась рукой к парапету, как к живому, знакомому ей существу, и пошла по дорожке, ступая ногами в ослепительно белых носочках и маленьких дзори. Шла легко и волнующе мелко.

— Простите, пожалуйста,— вдруг сказал Ушаков.— Гомэн кудасай. Тётто маттэ кудасай...¹— повторил он уже по-японски, опасаясь, что женщина его плохо поймет или неправильно истолкует его неуклюжее от застенчивости движение.

— Yes?²— удивленно спросила она. На мгновение приостановилась, вскинув глаза.

— Вы, наверное, тоже пускали сегодня фонарики?

Она молча кивнула и взглянула на реку.

— Кто у вас здесь... погиб?

— Мать...— сказала она и замолкла надолго. Потом повторила.— Мать, отец... два брата, сестра...

— Со дэс ка!³— только и нашелся Ушаков. Он всегда пепенел и терялся при виде женских слез.— Я, наверное, что-то

¹ Простите, пожалуйста. Подождите немного... (яп.).

² Да (англ.).

³ Вот как! (яп.).

сделал не так, ради бога, простите!— Он опять перешел на английский.

— Нет, нет! Ничего, ничего... Я сама виновата...— И женщина наклонилась, чтобы слезы падали не на драгоценный шелк кимоно, а на землю. Улыбнулась смущенно.— Сейчас все пройдет.

Она успокоилась, вытерла щеки.

— Вас, кажется, зовут Юкико-сан? Я печаянно слышал..

— Да. А вас?

— Николай Николаевич.

Она удивилась:

— Так вы русский?— Она повторила старательно:— Николай Никораевич.

Это было забавно, и он усмехнулся.

— Да, русский, конечно.

— И к нам, в Хиросиму, приехали из Москвы?

— Из Москвы.

Теперь Юкико-сан чуть доверчивее взглянула в глаза Ушакову.

— О... Мне нравится ваша страна!— сказала она.— Да!— Она вдруг задумалась, что-то припоминая.— Вы, наверное, с конференции в защиту Вьетнама? Против атомной бомбы?

— Да, Юкико-сан. Вы просто-таки молодец и все угадали!

— Бывает, и обезьяна падает с дерева,— пошутила она над собственной необыкновенной догадливостью.— Ведь я слушаю радио, смотрю телевизор...

Травянистого цвета, расшитое золотом ее кимоно в полумраке сливалось с листвою цветущих кустарников и деревьев, мимо которых они проходили. Лишь белые таби¹ Юкико мелькали отчетливо, как в стихах о прославленной Садо Якко: «И как беленькие кошки, как играющие дети, ваши маленькие ножки трепетали на паркете...» Его спутница, по-видимому, и не подозревала, как была близка к тому, созданному поэтом экзотическому образу!

Они вошли на мост Хейва и постояли на нем, провожая глазами уплывающие фонарики. Эти два завораживающих движения — движение воды и движение огня — были связаны очень просто, но как били по сердцу! Ушакову, застывшему у перил, показалось, что и он уплывает куда-то в неизвестность, в тягучую бесконечность субтропической ночи.

Он спросил осторожно:

¹ Та би — японские носки из плотной материи с отдельно обшитым большим пальцем.

— А вы, Юкико-сан... Вы ведь тоже были здесь, когда сбросили бомбу?

— Да. Но только я была чуть подальше от эпицентра. Я гостила у бабушки. Но я тоже... горела.— Она показала на плечи и ноги.

— Сумимасэн!¹

— Нет, нет... Ничего! Я не делаю, как другие, из этого тайны!

Ушаков понимающе склонил голову.

В здешнем атомном госпитале он видел келоиды — следы этих страшных ожогов: малиново-красные и сине-лиловые пятна в уродливо стянутых шрамах-тяжах. Они ясно представились ему и сейчас, одинаково жуткие и на старческом дряблом, и на девичьем молодом, нежном теле, этот дьявольский знак, безобразящее тавро. Все мужчины и женщины, пережившие атомную бомбардировку — их здесь называют *хибакуся*, — прячут атомные увечья, как что-то постыдное, о чем никто никогда не должен узнать. Иначе кому-то не выйти замуж и не жениться, а может быть, не найти и работы...

Ушаков вдруг припомнил свои золотые нашивки, полученные за ранения. Что ж, он тоже теперь их не носит! Потому что еще в сорок пятом один тип покосился на них с ядовитой ухмылкой, и он, Ушаков, почему-то стерпел, а нужно было бы тут же, при людях, набить ему морду. Однако свои орденские колодки и красные и золотые полосы Ушаков носил лишь до тех пор, пока по-студенчески не износил гимнастерку. Потом, заказав себе штатский костюм, на пиджак этих желтых и красных полосок не стал пришивать: ладно, нечем хвалиться, не бог весть какая награда! Вся страна воевала, ранен каждый второй...

— Я вообще ничего не скрываю,— сказала Юкико.— Я член клуба *хибакуся*, я участвую во всех митингах и демонстрациях против атомной бомбы... Я хожу на молитвы в честь павших... Да... Простите,— сказала она.— Мне кажется, я вас видела в монастыре. Вы присутствовали на молитве?

— Да,— сказал Ушаков.— Я там был. Я был на молитве...

3

Он сидел на маленьком складном стульчике, на местах, отведенных для почетных гостей — чуть правее молящихся,— и слушал монотонное, хриплое пение бритоголовых, в желтых

¹ Извините (яп.).

рясах монахов. Мелодично позванивали колокольчики. Тревозно и глухо звучал гонг.

Ушакову было жарко и душно на солнцепеке, в толпе иностранцев, очень вежливых, но вполне равнодушных к чужому для них, непонятному богу, и он глядел вверх, под купол вполне современного храма, без единого украшения, туда, где в белой каменной нише сидел молодой, тоже белый, каменный Будда.

Бог смотрел строго прямо перед собой — не на банки с томатным и апельсиновым соками, не на пачки кофе, арбузы и груды сластей, не на связки серповидных, цвета старого меда бананов и груды зеленых, приятно пахнущих грушами яблок — приношения верующих, — а куда-то поверх всего этого в жаркое небо, как раз в ту самую точку голубой полусферы, откуда совсем так недавно — или очень давно? — и пришла в этот город, лежащий внизу, незнакомая до сих пор человечеству смерть.

Даже сейчас, спустя столько лет, лицо Будды было все еще белым от ужаса, а большие, навывкате, красиво разрезанные глаза смотрели вперед, как в бельмах, незряче.

— Николай Николаевич, взгляните на храм, — сказал ему переводчик, толстяк коротышка Васюта Антонов. — Храм построен на пожертвования индийских единоверцев, как с иголочки новенький.

— А жаль! — сказал Ушаков. Ему очень понравился этот образ — помертвевший от ужаса, бледный Будда, глядящий на бомбу — с этой мыслью о Будде теперь уже трудно было расстаться. Но бог, которому он так симпатизировал, оказывается, не видел войны!

Бог не видел возникшего над котловиной, в дельте Оты, сероватого облака, которое видит и сейчас Ушаков, и той бомбы, которая, кажется, все висит, почти четверть века, над городом и рекой, сея смерть, как висела в тот день.

После жаркого, знойного дня вечер тихо ложился на город, весь прозрачный, чуть подкрашенный солнцем снизу в розоватину, в прозелень. Очень тоненько, как комарики, позванивали ритуальные колокольцы, затем слитно, взволнованно зазвучали серебряные голоса хора мальчиков. Над храмом кружились белые голуби, и женщина, сидящая наискосок от дремлющих иностранцев, казалось, погруженная в молитву, иногда вдруг хватала с колен фотоаппарат, очень быстро высматривала подходящие кадры, быстро щелкала, чуть прищурясь,

и снова в молитве упоенно приникала к сложенным у подборка ладоням.

Вот опять зазвучали басы гладко выбритых, сытых монахов.

Двое служек, взобравшись на самый купол храма, пригоршнями стали разбрасывать над молящимися красные, синие и зеленые круглые лепестки из бумаги, похожие на конфетти.

— Отгоняют злых духов,— объяснил Ушакову Антонов.

Над сгорбленными спинами людей, над склоненными их головами уже шелестел первый ветер, несущий прохладу с гор, а монахи все пели, листки колыхались по ветру, и в голове у Ушакова все вертелась одна и та же фраза, он прочел ее там, внизу, в центре города, на доске у памятника погибшим: «Спите спокойно. Это не должно повториться!»

Ушаков поймал несколько разноцветных листков, кружившихся над головой, планируя по ветру, и долго рассматривал их. Да, это не повторится... Но сколько раз за историю человечества повторяется эта фраза, всякий раз на новом, еще более выжженном пепелище? Сколько раз народы давали опять и опять убаюкать себя, поверив, что этот огонь, так сильно их обжегший, действительно был последним!..

Сейчас, проходя спящим городом рядом с Юкико мимо строгих гранитных подъездов многочисленных банков, отелей и богатых контор, он глядел на зеркальные окна и мог поручиться, что за этими плотными шторами, в недрах новеньких сейфов, вызревают солидные капиталы, отсчитанные владельцам рукою еще не отогнанного от города дьявола,— будь он в облике сперва добренького оккупанта, а позднее союзника, наживающегося на бомбежках Хайфона или Ханоя.

Хорошо понимая всю бестактность вопроса, но желая во всем дойти до конца, он спросил:

— Да, Юкико, а кто это был сейчас с вами на реке?

— Амэко¹,— спокойно сказала она, поднимая на него свои узкие, прекрасные молодые глаза.

— Ну, скажите еще, что солдат да еще из Вьетнама!— пошутил Ушаков.

¹ Американец (*яп., жарг.*).

— Да. Солдат. И вы правильно угадали: из Вьетнама,— ответила Юкико совершенно серьезно.

Ушаков даже на миг приостановился.

— Что он делает здесь? Да еще в такой день!

— Он? На отдыхе... После ранения!

— И теперь между делом любитесь вновь отстроенной Хиросимой, музеем и атомным госпиталем? Фонариками на реке? Хорошенькими хибакуся?

Ушаков удивился спокойствию маленькой женщины. Он-то был возмущен.

Юкико молчала.

— Он плакал сегодня на митинге,— наконец объяснила она.— Он сказал, что он проклял свою Америку за эти две бомбы: в Хиросиме и Нагасаки. Теперь он не хочет возвращаться на Окинаву.— Она пояснила:— Их части базируются на Окинаве. Он поклялся, что больше не будет стрелять ни в северных, ни в южных вьетнамцев!

— Вот как? Это с ними бывает?

Юкико кивнула.

— Да. У нас не единственный случай...

— А вы его чем-то обидели. Он ушел разозленный...

— А что я должна была делать?— вздохнула Юкико.— Что касается женщин, он по-прежнему думает, что каждая почитает за счастье быть обласканной им. А я всего-навсего выполняла поручение своего профсоюза...

Ушаков был смущен.

— Вы храбрая женщина, Юкико-сан!

— Нет, при чем же тут я? Такая работа...

Они вышли на центральные улицы Хиросимы.

Здесь, на главных своих магистралях, город все еще бесновался и грохотал: взад-вперед проносились машины, скрежетали колесами на крутых поворотах трамвал. Еще ярко горели витрины бесчисленных магазинчиков и закусочных, полыхали огни ярких прыгающих и вертящихся в небе реклам.

Они повернули куда-то направо.

В этот душный, томительный, будоражащий вечер жизнь людей еще не заканчивалась тяжелым, почти не дающим отдыха сном, но текла она уже не на улице, а в домах, за раскрытыми окнами и бумажными сёдзи¹. Там, в кубических сотах квартир, еще ссорились, целовались, кто-то шил на машинке, тачая куски дешевого ситца, кто-то ужинал, сидя на

¹ Сёдзи — раздвижная стена японского дома.

корточках за крохотным лакированным столиком, и белые палочки, словно спицы вязальщицы, привычно до механичности, мелькали в руках. Какая-то женщина раздевалась перед окном: Ушаков разглядел ее тонкое, стройное тело, отраженное в глубине чуть подсвеченным зеркалом.

Каждый дом был похож на другой: те же крыши, такой же конструкции двери, те же голые стены внутри пустоватых, очень чистеньких комнат, а рядом огни, пестрота бесконечных витрин, привлекающих надписей, ярких вывесок, арок, окон, украшенных флагами и фонариками, изречениями, написанными на материи, букетов, венков и гирлянд, сплетенных из вечнозеленых растений,— торжество бесконечной фантазии, ликующего мастерства, устремленного к одной цели: победить, удержаться, не дать сбросить себя со счетов, уязвить конкурента...

— Какой яркий ваш город...

— А Москва — не такая?

— Нет, Москва не такая,— сказал Ушаков.— Темнее. Суровей.

— Да? Я думала, наоборот.

— У нас слишком холодно для такой, как у вас, пестроты. Много снега...— объяснил Ушаков, ощутив вдруг свою чужеродность в этом ватном и влажном, расслабляющем климате. Он припомнил синеющие сугробы под липами на Воробьевском шоссе, метель, вылетающую из-за угла, свежесть южного ветра и бодрость, когда прилетают грачи и так пахнет корою деревьев и пузырчатым мартовским снегом.

«Греет кровь мою легкий мороз...»

А ведь действительно греет! Но, вообще, почему это ценишь только тогда, когда ты находишься от всего этого вдалеке?

— А в Москве много красивых женщин?

— Много.

— А река у вас есть? Такая, как Ота?

— А вы приезжайте к нам в гости, Юкико-сан, я вам все покажу.

— Давно мечтаю об этом. Не знаю, удастся ли...

— Постарайтесь!

— Попробую...

Она с ним говорила серьезно, а он улыбался. Ему вспомнились, как сквозил сон, зима, и далекое детство, и картинка в журнале: грациозная женщина, словно бабочка, сидя на корточках на циновке, разливает по чашкам дымящийся чай...

— Вы женаты? У вас есть семья, дети?

— Никого нет, Юкико... Один, словно перст.

Он не спрашивал, в свою очередь, кто она, где живет, одинока или замужем,— непонятное, недосказанное для него было радостней, интересней, чем обыденная определенность.

— Вот мой дом,— вдруг сказала Юкико.

— Да? Так быстро? Я думал, еще далеко...

Ему жалко было с ней расставаться, с такой мягкой, уютной и женственной, и вовсе не куклой. Потому что Юкико хорошо понимала не только слова, но и взгляд, и, наверное, все, что было за взглядом, что он думал и чувствовал. Потому что она замолкала, когда он замолкал, и смеялась, когда ему было смешно.

Ушакову понравились в ней ее современность и отсутствие робости: он-то с детства привык к спокойному равенству женщины, но здесь, в этой древней стране, молодая, красивая девушка в темном оби и шелковом кимоно, идущая в одиночестве по сегодняшнему отгулявшему, отгрустившему городу, чем-то трогала воображение. Может быть, этой нежностью, этой твердостью облика.

— Как жаль, Юкико-сан, что вы так близко живете,— сказал он шутливо, а внутренне удивился себе, что предчувствовал эту встречу и эту разлуку.

— Да, и я сожалею...— ответила тихо Юкико.— Но поздно. Пора! Очень рано вставать. Я работаю гидом в туристской конторе. Преимущественно с американцами. А они народ очень капризный.

— Понимаю. Хорошо понимаю...— Ушакову хотелось хоть что-нибудь подарить ей на память, какой-нибудь маленький изящный значок, безделушку, которая бы и спустя годы напомнила ей этот вечер. Он пошарил по карманам, но, кроме ключей от московской квартиры, ничего не нашел.

— Вы не будете в нашей гостинице? У вас нет никаких поручений от вашего профсоюза ко мне, например?— спросил он без улыбки.

— Нет.— Она засмеялась.— А что?

— Я хотел бы увидеть вас завтра.

— Я подумаю... Я вам с утра позвоню. Вы, конечно, в «Син-Хиросима»?

— Да.

— Ну что ж, хорошо... До свидания,— сказала она и вдруг поклонилась с достоинством, грациозно, так низко, как если бы Ушаков был какой-нибудь очень важной особой.— До сви-

дания, Никорай Никораевич...— Буква «л» у нее не получалась никак.— Доброй ночи!

— До свидания, Юкико! Спасибо за вечер...

4

Ушаков неспеша шел уже засыпающей Хиросимой и был так одинок, как если бы весь этот город вымер, и он, чужеземец, оказался единственным его жителем.

Мелочные лавчонки, кафетерии, ресторанички, аквариумы для любителей ловить рыбу удочкой, помещения для игры в маджан, бесчисленные «пачинко»¹, бани для бедноты, разделенные ситцевой занавеской на две половины, для мужчин и для женщин,— все было закрыто или уже закрывалось, завинчивалось болтами, на двери и окна спускались тяжелые железные шторы, гасились последние фонари, и шаги Ушакова под круглыми сводами крытых улиц-пассажей раздавались во тьме оглушающе звонко, даже хично, как выстрелы.

Он приглядывался к провалам подъездов и к теням, отброшенным от деревьев, и вдруг замечал в темноте какие-то чуть очерченные фигуры. Полицейского в светлом шлеме, с заложенными за спину руками в перчатках; набеленной, покрашенной женщины — лицо ее было как маска — возле чайного домика, увешанного фонариками и флажками. Пожилого японца, сидящего на корточках возле темной стены — в ожидании счастья. Его добрая, неосмысленная, ощеренная улыбка была как бы отсутствующей: человек, вероятно, витал в облаках неизвестного Ушакову наркотика.

Днем чужие, незнакомые города как открытая книга, и все в них понятно. А ночью тебя все манит и пугает, как будто плывешь по огромной реке: невидимые препятствия, чудовища, выползающие из своих темных нор, подводные камни, и пни, и коряги, волосатые водоросли, цепляющиеся за руки... Кажется, вот-вот мимо твоего лица проскользнет что-то мерзкое, леденящее душу. И вдруг — яркий свет проезжающей мимо машины, подъезд и двое влюбленных. Все так просто, знакомо, совсем как в Москве!

«Да, странный был вечер... И очень хороший», — решил Ушаков. И чувство товарищества и уважения к Юкико — такой независимой маленькой женщине — не покидало его всю дорогу, пока он шел в гостиницу через мост к парку Хейва.

¹ «П а ч и н к о» — заведения с игорными автоматами.

В номере Ушаков принял душ и лег на кровать, наслаждаясь прохладой капки соти¹ после вязкой, тугой духоты хиросимских улиц.

На стук двери, на шум падающей воды из соседнего номера примчался Васюта Антонов, в японском халате на голое тело, с косматыми волосами на голой груди. Он и здесь, в охлажденной, искусственной атмосфере отеля, дышал трудно, с усилием, и все вытирался большим желтым платком в темно-синюю клетку.

— Ну, что? Нагулялся?— спросил он завистливо. Сам он просидел этот вечер за бумагами, переводил на японский какие-то документы.

— Нагулялся. Угу...

— Я ждал, ждал... Потом мы с шефом поужинали... Без тебя... Спагетти с томатным соусом.

— Молодцы! Очень рад за вас.

— Завтра здесь завершаем работу — и в поезд.— Васюта любил сообщать всем известные новости.— На остров Кюсю. В Нагасаки.

— Отлично.

— Ты чем-нибудь недоволен?

— Нет. Ничем.

— Я включу телевизор?

— Пожалуйста, если хочешь.

— Слушай, нет ли у тебя чего-нибудь почитать? Развлекательного?

Васюта, «ночной», безалаберный человек, любил уже за полночь поколобродить. После вежливых, но достаточно утомляющих споров на конференции, экскурсий, хождений, визитов и суеты, осмотров, приемов он мог еще до рассвета бродить из номера в номер, разговаривая о пустяках и дымя сигаретой.

— К сожалению, кроме Библии, ничего.

— А что!.. Это мысль... Прекраснейшая из книг!

Он взял Библию с такой радостью, словно в номере у него самого не лежала в столе совершенно такая же, обязательная, как гостиничный инвентарь, как блистающий никелем, кафелем и фаянсом, похожий на лабораторию, туалет, или как те-

¹ Канки соти — установка для кондиционирования воздуха (яп.).

левизор,— знаменитая книга на двух языках, на английском и на японском, на тончайшей бумаге, с изысканным, ласкающим глаз мягким, жирным шрифтом.

Васюта уселся, развалился в низком кресле, близоручко приблизив к страницам расплывшееся, в толстой щетине лицо.

— Ты только послушай, что тут написано!— вскричал он вдруг радостно, оживленно, оборачиваясь к Ушакову.— Вот комики!

— Да?

Но Антонов уже не откликнулся больше. Он весь погрузился в спокойное чтение, заглядывая то в японский, то в английский тексты, что-то сравнивая, выбирая.

Ушаков переключил телевизор на местную станцию.

Рекламировали часы, потом транзисторы. Потом парень в белой рубашке спел песню: «Сакура, сакура...» И сразу, без перерыва, пошли кадры хиросимской кинохроники.

Он увидел совсем еще раннее утро, но дымное, жаркое, без единого дуновения ветра. Иностранные делегаты выходят из «Син-Хиросима» и группами направляются на гражданскую панихиду к дуге сенотафа. Здесь, на площади Мира, море голов, транспаранты и флаги. И торжественный шаг главы города, направляющегося к микрофону. И весь этот скорбный церемониал возложения венков. И камешки серой обкатанной речной гальки, поскрипывающей под ногами,— обычная, ничем не приметная галька, знаменитая только тем, что положена на дорожках вокруг сенотафа по счету: сколько тысяч убитых, столько и камешков. И так странно ходить и слушать под собственными каблуками их скрипение и шорох...

И минута молчания.

И венки, венки... Стаи белых голубей над парком. А чуть выше их подобными же концентрическими кругами, как птицы,— полицейские вертолеты. Вот закончена официальная часть, потянулась длиннейшая очередь из сотен людей: у каждого в руке букетик цветов и зажженная курительная палочка. Пряный, сладкий дымок чуть струится в расплавленном золоте солнца: жертвам атомной бомбардировки...

На экране все шло в той же самой последовательности, как это уже происходило сегодня: отвесное солнце слепящего полдня, клубы пыли, мельканье знамен и флажков, движение к центру города многих сотен людей, и каждый из них с повязкой на лбу и написанными на этой повязке призывами к единению.

— Гляди, Вася, и ты здесь!— сказал Ушаков.

В самом деле, они шли по экрану среди демонстрантов, Ушаков и Васюта, один — рослый, высокий, другой — низенький, толстый, оба в белых рубашках. А вокруг курчавая вязь пероглифов, гирлянды бумажных цветов, флаги, лозунги на транспарантах.

И над всем этим пыльным, движущимся, суевающимся — снежно-белые пряди волос человека, пережившего атомную бомбардировку.

— Профессор... А это канадец... И Эрик попал на экран!

Перед ними на экране вертел головой темноглазый смеющийся мальчуган, — он приехал на конференцию из Канады с отцом, сторонником мира. Операторы время от времени подолгу держали мальчика в поле зрения, неотступно ведя вслед за ним объективы. А тот грыз большое красивое яблоко и чему-то посмеивался, поблескивая глазами, видно, очень довольный скоплениями машин, ревущих на перекрестках, громким пением демонстрантов и всей этой пыльной, грохочущей кутерьмой.

Толпы шли, занимая всю проезжую часть мостовой, оттесняя ряды полицейских к тротуару.

— Коля, Коля, смотри, что написано! — вдруг воскликнул Антонов, на секунду опять отрываясь от книги. — Понимаешь? Бог решил уничтожить всех жителей двух городов... В наказание за грехи... И вот, значит, некто с тоскою взмолился: «Господи! — значит, он говорит. — А если там есть хоть пятьдесят праведников, неужели ты и их погубишь?» — «Нет, — сказал господь. — Я ради них помилую город...»

Ушаков с детства помнил эту притчу, впервые услышав ее от бабки, читавшей всю жизнь одну только эту старинную книгу. Круглое, потное лицо Антонова, исполненное восторга от возникших ассоциаций, сейчас почему-то показалось ему похожим на то, бабкино, морщинистое и худое, с птичьим носом и желто-коричневыми кругами вокруг темных глаз.

Пятьдесят праведников для того, чтобы спасти целый город... Это много или мало? Почему пятьдесят, а не сто или двести? Из какого расчета? А если праведник вообще всего только один? Неужели и он — за всю свою праведность — тоже должен погибнуть?

— Пятьдесят, говоришь? — спросил Ушаков. — По-моему, в Хиросиме старик обсчитался. Или, может быть, в таких случаях одного, завалящего всегда не хватает для полного счастья...

— Кризис жанра, — рассеянно отозвался Васюта. И опять повернулся. — Да, уж если судить по истории, их всегда сорок девять!

Утром, чисто выбритый, вымытый, в свежей рубашке, Ушаков ровно в восемь спустился к завтраку в ресторан при отеле. Стаканчик грейпфрутового сока, овсяная каша, кофе, поджаренный тост со сливочным маслом привели его в хорошее настроение. Он ласково улыбнулся хорошенькой переводчице, работавшей с англичанами и взглянувшей на него из-за чьей-то массивной спины смеющимися глазами. Всюду слышалась разноязычная речь; французы, американцы, англичане, югославы, японцы, индийцы, цейлонцы — все кивали друг другу приветливо, дружески. Слышался шорох крахмальных салфеток, звон тарелок, стук вилок, ножей.

— Как спалось?

— Ничего. Хорошо... Домо аригато!¹ — Это как-то уже по привычке. За день тысячу раз, — в шутку, если между собой, — и растроганно, удивленно, благодарно, всерьез, если это с японцами.

— Сейчас будем принимать декларацию...

— Отлично. Тексты розданы?

— Да.

После завтрака конференция продолжалась спокойно, как и началась, безо всяких эксцессов. Ораторы поочередно вносили поправки. Несогласные тут же, немедленно возражали. Постепенно опять возникала дискуссия, все шло по шаблону, как и следовало ожидать. Ушаков, сидя в кресле за общим столом делегаций, оглянулся: бесшумные, словно призраки, работники пресс-бюро разносили от стола к столу только что переведенные на три официальных языка конференции — английский, французский и японский — выступления глав делегаций, и Романов — глава советской делегации — с Васютой, не откладывая, уже изучали перевод, сверяясь по тексту.

«Мир»... «Миру»... «О мире»...

Это слово повторялось здесь так же часто, как вдох или выдох. Мир был нужен народам, как воздух для легких. На развалинах Хиросимы, на застроенных, восстановленных ее улицах слово «мир» — на всех языках — звучало сейчас по-особому твердо.

Ушаков, заслонившись от яркого света рукой, машинально расчерчивая закорючками большой лист бумаги, внимательно слушал ораторов.

¹ Большое спасибо! (яп.).

Война представлялась ему каким-то гигантским чудовищем, слепым и глухим, омерзительным, скользким. В сорок пятом году его наконец-то загнали под землю — в надежде, что там-то оно задохнется, помрет. Но война не погибла без пищи и воздуха, как не гибнут бактерии, возбудители страшных, смертельных болезней даже в космосе; вот она и теперь, спустя столько лет, полна злобной силы и воли, может быть, и сегодня, в этот радостный утренний час, она где-то под полом, под зданием, где идет конференция, пробивает себе в потемках дорогу, пробирается сквозь пески и гранитные скалы, прогрызает их, точит зубами, чтобы выползти на поверхность, как она уже выползла, например, во Вьетнаме. И кто знает, где, когда она прогрызет, просверлит себе еще и еще новый ход и выйдет на волю?! В какой это будет привыкшей к спокойствию, тихой, мирной стране? На Ближнем Востоке? В африканских саваннах? А может, на севере, в бесконечной полярной ночной темноте? Чьи дети погибнут от первого взрыва?

«Слушай, милый! — хотелось сказать Ушакову тому, кто сейчас выступал с хитроумной поправкой, сводящей на нет все достигнутое за три дня напряженной работы. — А ты-то пойдешь за свою поправку на вражеский пулемет? Ты готов ее защищать своей собственной грудью?.. Я так думаю, нет... Но, видишь ли, загребать жар чужими руками — это каждый умеет...»

Он припомнил вчерашних рабочих, шагавших рядом с ним по улицам Хиросимы, потом ночной митинг и сотни людей, громко бьющих в ладоши и мечущих гневные выкрики против войны во Вьетнаме, против атомной бомбы. Смуглые лица, облитые потом, выхваченные из темноты светом ярких прожекторов, были яростны, напряжены, люди хором кричали: «Хейва! Хейва! Хейва! — Мир! Мир! Мир!» Ведь не кто-нибудь, а они, хиросимцы, уже умирали и еще умирают от атомной радиации...

Многие из участников митинга шли сюда, в Хиросиму, из других префектур, из самых глухих, отдаленных районов страны, пешком, маршем мира. Это был их собственный маленький подвиг в защиту Вьетнама — по извилистым горным дорогам, вверх и вниз, из долины в долину, под дождем, под отвесным, сжигающим солнцем, и не день, и не два, ипогда без еды и без крова, позабыв о семье и лишившись работы...

Ушаков вчера крепко жал руки этим маленьким, морщини-

стым людям, обгоревшим на солнце, но весело улыбавшимся. Он завидовал им, их воинственной напряженности, их серьезному, страстному отношению к делу. Помогая совсем не оружием — только словом — далекой, почти неизвестной стране, где горят от напалма деревни, гибнут в грохоте бомб незнакомые люди, эти смуглые до черноты паломники мира терпели немало лишений в своей долгой дороге, а некоторые из них могли и погибнуть, но они все же шли...

Солидарность — суровое, трудное чувство. В нем заложено слишком много надежд, и, наверное, люди не раз еще будут стоять под пулями, осыпаемые насмешками, — не ради корыстных своих интересов, а во имя свободы народа какой-нибудь отдаленной страны.

— Николай Николаевич, — сказал, обращаясь к Ушакову, академик Георгий Иванович Романов, высокий, с кудлатой седой головой человек. — Мы сейчас здесь закончим всю эту торжественную процедуру, а вы вместе с американцами поезжайте на митинг. Они просят выступить...

— Хорошо, — сказал Ушаков. Но взглянул на часы. Потому что как раз на это время — всего лишь минут на пятнадцать позднее — он назначил в гостинице встречу с Юкико, приготовив ей маленький сувенир. Если он сейчас уедет на митинг, значит, больше ее никогда не увидит. Ушаков вдруг представил себе, что подумает Юкико-сан, если он не придет...

— Я готов, — сказал он Романову. — Раз надо, так надо!

— Да, да, пожалуйста! — ответил тот, чуть кивнув головой. Ушаков стал набрасывать текст выступления.

В ложе прессы уже поднимались со своих мест обвешанные фото- и киноаппаратами газетчики и телерепортеры, подготовившиеся к съемке заключительного момента — подписания декларации и закрытия конференции, когда Николай Николаевич вместе с Антоновым направился к выходу.

Американцы — двое высоких широкоплечих мужчин и красивая загорелая женщина с рассыпанными по плечам волосами — давно уже ждали их в холле внизу.

Отстав от Васюты, Ушаков вдруг пошел не к двери на выход, а к маленькому кафе в глубине стеклянного холла.

— Ты что, потерял, что ль, чего? — окликнул его Васюта.

— Нет, Вася, нашел, а не потерял, — ответил торжествующе Ушаков и расплылся в улыбке. Он увидел Юкико. Она стояла возле стойки бара, в строгом светлом костюме, причесанная по-европейски, с прямой низкой челкой, и пила через соломинку лимонад.

Заметив идущего к ней Ушакова, Юкико покраснела и поставила недопитый запотевший стакан.

— О! Здравствуйте...— сказала она, улыбаясь.— Вы уже уезжаете?

— Нет, я еду на митинг, Юкико-сан, дорогая, а когда вернусь, право, не знаю. Наверное, прямо к отходу автобуса. Получается нехорошо...

— Нет, нет, ничего,— успокоила она Ушакова с терпеливой улыбкой.— Я вас подожду...

— Мне как-то неловко заставлять вас одну здесь сидеть. Я не знаю, как много займет это времени.

— Но к поезду-то вы приедете?

— Да. Конечно.

— Ну, вот, я вас и провожу. Я сегодня свободна...

— Хорошо. Постараюсь вернуться пораньше.

Она была очень красива, эта женщина, а он, Ушаков, сколько помнил себя, был неловок и некрасив. Он подумал: «Конечно... За мною большая страна, она любит Россию... Сам-то я здесь уж совсем ни при чем!» И он крепко пожал ее тонкую, узкую руку.

— Спасибо, Юкико-сан! Мне так много вам нужно сказать... Буду рад, если вы подождете...

Васюта Антонов, тяжело отдуваясь, вернулся за ним с улицы, весь мокрый от пота, вытирая лицо большим белым платком.

— Ты чего здесь так долго? Тебя ждут.

— А где они?

— Уже сели в автобус.

Ушаков еще раз с подножки автобуса оглянулся на двери отеля, помахал Юкико рукой. Почему-то ему захотелось хорошего отношения и к себе, а не только к России. Ну, может быть, не хорошего, это громко сказано, просто лучшего, чем равнодушные...

Еще в школе, подростком, сидя на измятой траве волейбольной площадки, Николай Ушаков подолгу раздумывал: а как догадываются девочки, что он некрасив? Ведь они его не разглядывают, ни вблизи, ни издали. Они попросту не замечают его — и все.

Это было печальным открытием.

Оказалось, что в жизни, кроме рук, ног и мыслящей головы, еще нужно счастье, неустойчивое, неуловимое, не похожее ни на деньги, которые можно всегда заработать, хотя бы тяжелым трудом, ни на орден, добытый подвигом, с риском для

жизни, ни на сытость после вкусной еды, ни на хмель, ни на сон. Оно, видимо, и приходит совсем не к тем людям, которые его ждут, упорно, с надеждой, стремясь заслужить, потому что оно не заслуга и не награда, а просто дыхание милой, родные глаза, поцелуй...

Повзрослев, Ушаков бестрепетно принял себя таким, какой он есть.

Он много учился, читал, много думал. Пришли первые радости настоящего мужества: весь ревущий, грохочущий от моторов аэродром, необычное чувство парения, рывки парашюта. Небо тоже было, как счастье, — не заслуга и не награда, но влекущее и большое, и помериться силами с его восходящими и нисходящими токами было истинным делом мужчины, испытанием воли. Ушаков уже знал счастье большой, крепкой дружбы, взаимного уважения. Счастье грозного поединка с голубой высотой.

Он не знал только одного: что за всякое счастье, даже самое небольшое, обязательно нужно платить. Эта хрупкая, ненадежная штука всегда выдается в кредит. Сперва вроде бы ни за что. Просто выпало тебе счастье, ну и пользуйся им на здоровье, наслаждайся, дыши! А потом выясняется: будьте добреньки, кровь и слезы, и друг погибает у тебя на глазах, и ползком по-пластунски, и обрывки шинели, и комок глины в большой, рваной ране, последний сухарь, разделенный на четверых, последний костер, последняя ночь...

7

Я люблю опавшие мокрые листья.

Мне они напоминают мой город и самые первые, самые горькие осени в моей жизни. Особенно будят воспоминания листья тополей, — не желтые, как у клена, не малиново-сизые, как у осины, не лиловые, как у бузины, а бурые, толстые, серо-зеленые, крепко схваченные морозом. Они так устилают в нашем городе тротуары, что идешь по ним с влажным шелестом, волоча за собой и разбрасывая ногами огромные вороха. Над тобой нежно реет очень маленький дождик, скорее угадываемый, чем ощутимый. Он словно бы и не ложится на землю, а так и висит неподвижно едва уловимой паутинистой пеленой. А в душе жажда радости, неизведанных ощущений — и щемящее чувство непонятости, одиночества, чему и названия-то не подберешь...

Я бродила у подножия памятника Петру I и смотрела на голые ветви деревьев, на стаи грачей, с громким криком

носящихся над рекой и лугами, на холодное небо, как-то низко летящее вдоль горизонта. Что я знала о людях? Совсем ничего. Я даже не знала, чем расплачиваются за доверчивость, за открытость характера. Но так скоро пришло холодное знание! Теперь, пройдя большую половину своей жизни, я уже понимаю, что между людьми всегда есть и будет преграда рассудка, прозрачная, как стекло, может, даже светлее стекла, — невидимая, незаметная и — глухая.

Мы критичны к другому, отнюдь не к себе. Мы прощаем себе, ничего не прощая другому. Тот, кто хочет шагнуть за этот порог, будет просто смешон для того, кто не хочет его перешагивать.

Нет, наверное, не случайно родились и живут теперь в моей памяти строчки стихов моего знаменитого земляка, отдавая и сегодня такой же мучительной болью:

*По кому и как расскажешь ты,
Что зовет тебя, чем сердце полно?..*

Наверное, никому. И никак. Пока не услышишь такого же встречного зова.

8

За окном автобуса кружилась окраинная Хиросима. Большие дома-новостройки сменились одноэтажными, потемневшими от времени и дождей постройками старого, древнего типа под серыми черепичными крышами, с бумажными сёдзи. Они долго тянулись по обеим сторонам сменяющихся одна за другой графитово-серых набережных. Город, словно Венеция, лежал на каналах. Нынче он выглядел куда более буднично, чем вчера, без волшебных огней, уплывающих в океан. Горе бережно уложило свои праздничные одежды и сегодня трудилось в обычных белых блузах или белых рубашках, с обязательной, традиционной улыбкой то ли вынужденного и надежного на себя, как личина, то ли ставшего уже плотью и кровью и теперь уже неподдельного неизменного доброжелательства.

Высокий, плечистый, лысеющий американец в почти черных очках-светофильтрах, повернувшись к своей миловидной соседке Мэри Хьюз, — она почему-то хотела, чтобы ее непременно называли Марией, — объяснял, как примерно выглядит с воздуха такой город, как Хиросима.

— Вы летчик? — спросил у него Ушаков.

— Да. Бомбил в сорок пятом Берлин, Дрезден...

— А вы кто по профессии? — спросила американка у Ушакова.

— Сейчас? Или во время войны?

— Во время войны.

— Десантник-парашютист.

— А сейчас?

— Детский врач.

— О! — сказала американка. Как все женщины, она, видимо, очень любила сопоставлять и без того очевидные крайности.

— Я, как мать, хорошо понимаю, — сказала она. — Но все-таки, почему, почему... детский врач?!

— А из чувства противоречия! — объяснил Ушаков, подаваясь веселому настроению. — Вы разве не знаете, что мы, европейцы, бунтовали против картофеля и шли на казнь во имя курения табака? Так что я...

Мария тихонько смеялась.

Она с нежностью погладила его изуродованную разрывной пулей руку, лежащую на спинке сиденья.

— Наверное, это фатально, — сказала она. — Тот, кто много и хорошо воевал, обязательно становится сторонником мира.

— Простите... — сказал Ушаков, — а ваши солдаты, бомбящие Северный и Южный Вьетнам, они что, еще плохо воюют?!

Мария печально свела свои тонкие брови.

— Война во Вьетнаме — это наша большая беда, — сказала она.

Все в автобусе замолчали.

Замолчал и Николай Николаевич, передернув плечами, как будто от холода. Он сейчас был опять поглощен внезапно нахлынувшим, почти не тускнеющим воспоминанием.

Для десантника-парашютиста, сколько б он ни летал, бой всегда на земле и всегда в незнакомом тебе, самом трудном и самом решающем месте.

...Батальоны лежали на большом снежном поле. Тут и там дымились воронки. Раненые, кто мог поползти, царапая пальцами тонкий клеенчатый наст и распахивая по целине глубокие белые борозды, уже отползали в тылы полка, под укрытия догорающих изб Ненашева. Но и там, на проулках, рвались мины. Они крикали по-утиному на лету, чуть присаживаясь на наст, и гулко взрывались, ваяясь черно-серо-коричневым облаком набок, на ту сторону, куда с шу-

мом ложился и весь торфянистый выброс земли, перемешанный с мерзлыми комьями снега.

Атака не удалась.

Четвертый раз поднимались в рост батальоны и четвертый раз отползали назад, на исходные, теряя бойцов.

Сейчас, когда в обороне у немцев что-то дрогнуло и все уже было готово прогнуться и лопнуть под натиском этой последней атаки,— и фашисты занервничали, меняя позиции, и уже замолчали у них пулеметы, и первые из бегущих по снежному полю бойцов с винтовками наперевес уже добежали до их первых окопов,— как вдруг из-за леса, как бы нехотя, крадучись и будто бы не торопясь, подобно большим снежным ящерицам, вертлявым и плоским, медленно выползли окрашенные в цвет снега тяжелые танки...

— Впере-е-ед! — еще по инерции продолжая свой бег, закричал Ушаков. Но тут же упал, и пули, прошедшие вее-ром над его головой, разодрали со свистом спрессованный злым февральским морозом обжигающий воздух. «А-а-а-ааа!» — ныло в его ушах. «А-а-а-ааа!» — еще откликались в цепях. Но это были бег и крики уже умирающих и падающих на бегу.

Он лежал, глядя в небо, слепое и жесткое, надвигающееся от горизонта холодной, темнеющей синевой, и слезы, смерзаясь, сцепляли ресницы, царапались в задохнувшемся горле. От воронки, распыленной рядом, тянуло удушающей тротиловой вонью.

«Все. Конец... — думал он. — А я еще жив... Зачем? Для чего?»

Жить ему не хотелось. Он видел там, впереди, на снегу, какие-то серые, безжизненные холмики — это были тела бойцов из его батальона, всех, с кем шел от Сенно, где был выброшен с парашютным десантом, с кем прошел по Смоленщине, отступая к Москве, а теперь, наступая, шел все дальше и дальше на запад.

Он хотел ощутить в руке тяжесть согретого за день «ТТ». Там еще оставались два-три патрона. Сейчас ему было достаточно и одного. Он глянул на руку, еще стиснутую в иступлении боя, и с трудом разлепил залитые кровью пальцы: на ладони лежал только черный обломок отливающей синевой рукоятки...

«Три танка! — отвернувшись от спутников и глядя на бегущую мимо окон окраинную Хиросиму, размышлял Ушаков. — Всего три танка держали тогда всю немецкую оборо-

ну в районе Ненашева. А мы... тоже... ничем не могли их уничтожить, подбить. Не хватало снарядов. И два с лишним месяца изо дня в день — февраль, март, апрель — мы брали проклятые эти высоты и лес за Ненашевым, но так и не взяли... Разве все дело в том, что я воевал где-то лучше, а где-то, быть может, хуже других? Да несколько не лучше! Дело в том, что я помню об этих трех танках. А ведь кое-кто нынче, видя наши ракеты и спутники, всю нашу военную мощь, уже вроде бы и не помнит, позабыл войну и какую ценой добывалась победа! Вот поэтому я — за мир...»

Шофер свернул в маленький пыльный, в ржавой зелени переулок и резко затормозил у ворот двухэтажного деревянного дома, у подъезда которого их уже ждали какие-то старые женщины в кимоно и мужчины в темных костюмах, тут же весело суетились фотографы, репортеры.

Ушаков, стесняясь своей неуклюжести и высокого роста — среди маленьких, тихих, уютных японцев, — прошел многочисленными коридорчиками и лесенками, поднимаясь по чистеньким тоненьким, словно воздушным ступенькам, отделяющим одну комнату от другой, и вошел в большой, но чуть-чуть темноватый переполненный зал.

В простоте, даже бедности этого дома и этих людей, поклонившихся им, вошедшим, при встрече, было что-то щемящее душу, заставляющее снизить голос, отвести глаза в сторону.

Ушаков обернулся к Марии, к Васюте Антонову, оказавшимся у него за спиной: это были теперь ему самые близкие люди. Но Мария спокойно и ласково улыбалась, может быть, просто в силу своей искренней веры в полезность и нравственную высоту своей миссии, а Васюта топтался и скалил широкие крепкие зубы, совсем не смущенный полнейшим своим неумением потесниться на миг, поужать свое тело, приглушить, сделать менее жизнерадостным и раскатистым свой густой, очень сочный, насыщенный голос.

Сели на пол, по-японски, на татами, за низкие столики. Так, наверное, было задумано устроителями, — разговаривать о проблемах движения за мир за едой и питьем. Ушаков тоже сел, хорошо понимая, что выглядит в этой несвойственной ему позе достаточно неуклюже и в меру смешно. Он глядел себе на ноги — без башмаков, в эластичных носках — и слушал приветственные слова, обращенные к нему, и к Васюте, и к Марии, и к этим двум рослым, разговорчивым американцам.

В зале пахло сухим, потемневшим от времени, ветшающим деревом, сандалом дешевеньких вееров и лекарствами. Какие-то женщины, по всей вероятности здешние активистки, разносили прохладительное питье. Гостям они подали на плетеных тарелочках горячие, влажные, сильно отжатые о-сибори — махровые салфетки, которыми здесь в жару вытирают вспотевшие лицо, шею и руки. Тут и там из углов слепяще сверкали репортерские «блицы». Задуманное по-домашнему, к сожалению, получалось откровенно натянутое и неловко, и это опять, как всегда, вызывало досаду. Николай Николаевич не терпел микрофонов, подсовываемых услужливыми корреспондентами в минуту хорошего, откровенного разговора, когда собеседник, только начавший говорить, вдруг весь тихо сжимается и испуганно замолкает. Сам он, Ушаков, в такие минуты просто злился и терял интерес ко всему окружающему.

Сейчас Николай Николаевич с тоской глядел за окно. Там важно покачивали вершинами пропыленные, усыхающие от зноя деревья, чуть темнело прикрытое плотными серыми облаками непогожее небо. Но, и глядя на серое небо, он думал о тех, кто сидел перед ним, и что-то щемило в душе и тревожило, как если бы он и сам находился там, с ними, по ту сторону столиков.

Это были хibaкусы.

Слепые и зрячие, с сожженными и уже не отросшими волосами, с малиново-синими келоидами на лице с контрактурами на сгибах рук и морщинистой шее... Изуродованные тем памятным взрывом, покалеченные, с притаившейся внутри организма неизбежной, неизлечимой болезнью, они тихо сидели в своих чистеньких ситцевых кимоно, с очень вежливой, странной улыбкой и вежливо слушали, иногда отвечали щебечущими голосами на заданный кем-либо из приезжих вопрос, иногда просто кланялись, молчаливо, как будто немые. Это было само терпение, и само ожидание вечности, и сама безнадежность, и такими нелепыми показались в этот миг Ушакову и «блицы», и столики, и тончайшие сэндвичи с пластинками ветчины на белом и пористом, как поролон, совершенно безвкусном, непахнущем хлебе, что он, сильный, здоровый, сидящий от них в двух шагах, вдруг почувствовал себя лишним и ссутулился от неумения скрыть свои чувства. Было что-то бестактное, нарочитое в пристальном изучении посторонними взглядами этих сизо-малиновых, затекших ожогами лиц, в созерцании этих уве-

чий, в этом важном, торжественно-неприступном сидении друг против друга в то самое время, когда хочется встать и прижаться лицом к груди вон той седенькой, тихой женщины, пусть она незнакома ему. Не родная — чужая...

А если бы это была его мать?!

Отчего за агрессию, за воинственность японских сподвижников Гитлера отвечают вот эти старухи и старики? Эта бомба была не возмездием — преступлением... Просто лютой жестокостью...

Выступала Мария, сжимая свои загорелые руки.

— Я буду теперь всюду рассказывать об увиденном в Хиросиме, — говорила она. — Мы ведь как-то не знали трагических этих подробностей, как не знают их миллионы простых граждан Америки. Да, у нас есть очень много хороших людей, которые полагают, что мы бросили эту бомбу во имя престижа. И что ради престижа мы сейчас не должны уходить из Вьетнама... И есть люди, которые понимают, как ужасна война, но считают себя бессильными что-либо сделать...

— Кое-кто из моих соотечественников, побывавших в разрушенной Хиросиме, — продолжала Мария, — нынче делает вид, что не помнит о бомбе... Постарался забыть о содеянном нами... Эти люди теперь говорят, что война — неизбежное зло, что так было всегда, есть и будет... Да, я знаю: всегда человек, на которого нападают, будет яростно защищаться. Но мы — все — не должны допускать нападений. Это наша обязанность... Я считаю, что мы, выступающие против новой войны, представляем собою серьезную силу...

Ушаков говорил очень коротко и, как сам он решил, очень плоско. Что-то стиснуло ему горло, ну, может, не слезы, но что-то похожее: он смотрел и сочувствовал. Да, Япония воевала с Америкой и Советским Союзом. Враги есть враги. Но эти-то чем виноваты?

Он об этом и говорил. И доставшаяся на его долю овация в зале удивила его: что такого особенного сказал он этим людям?

После некоторого молчания кто-то задал вопрос, обращаясь к американке:

— Что вас больше всего поразило в Хиросиме?

— Ваше мужество и достоинство, с каким вы переносите свои страдания...

— А вас, Ушаков-сан?

— То, что атомный госпиталь и дом, где мы сейчас на-

ходвмся, построены на пожертвования частных лиц... Что у вас, пострадавших от бомбы, нет пенсий от государства...

Сидящая через столик от Ушакова седовласая, маленькая, словно куколка, с морщинистым желтым лицом, но живая старушка вдруг, вскинув глаза, спросила неожиданно для всех присутствующих:

— Скажите, пожалуйста, а что, русские женщины стареют быстрее, чем мы, или нет? Как, по-вашему, хорошо ли я выгляжу?

В зале многие засмеялись.

Ушаков, ожидавший любого вопроса, кроме этого, чисто женского, сперва растерялся. Он с надеждой взглянул на Васюту. Разговор от политики уводили в сторону.

— Ответь ей, пожалуйста, Васюта. Скажи,— я не знаю уж как бы поточнее это выразить,— что русские женщины, как и японские, стареют по-разному, но, по-видимому, от одних и тех же причин: от горя, какое приносит война... От старости... От болезней. А в мирное время — от недобрых невесток... У японцев-то тоже, наверное, есть плохие невестки?

Седовласая женщина улынулась так тонко, как будто еще до Васютиного перевода поняла его шутку.

— Вы выглядите отлично, очень молодо,— сказал снова, уже обращаясь непосредственно к ней, Ушаков.— Сколько лет вам?

Старушка ответила. Васюта ему перевел:

— Ровно семьдесят...

— Ну... так вы... молодец! Вы выглядите на шестьдесят!

Она улынулась и, сидя, с изяществом поклонилась Васюте и Ушакову, придвинула им по стаканчику сока.

— Почему вы не пьете? Вы не любите мандариновый сок?

— Нет, нет... Ничего. Пожалуйста, не беспокойтесь, большое спасибо...

Ушаков с трудом заставил себя проглотить полстаканчика сока и съесть сандвич. Он с трудом говорил, с трудом отвечал, тяжело поднимая глаза от циновки, расстеленной на полу, и думал о том: а знают ли эти больные, несчастные, полусожженные люди, что Япония опять создает свою армию, строит флот, что она хоть сегодня готова купить, а может быть, уже и купила у Америки водородную бомбу? Из атомной жертвы да в атомные палачи — как они отнесутся к такому неожиданному повороту?

Но он не спросил, промолчал: им предложено было здесь, в этих стенах, «не касаться политики».

Он не слушал того, что потом говорилось. Потому что заметил у раздвинутых сѣдзи миловидную девушку, совершенно слепую.

Она грустно сидела, незряче обратив свое милое, молодое лицо к заходящему солнцу, вдруг прорвавшемуся сквозь пелену облаков и ласкавшему ее нежную кожу. Может быть, она тоже не слушала всего, что здесь, в комнате, говорилось, а думала о своем, непохожем, отделяющем ее от людей, — в том числе и о тех, кто проходит сейчас возле дома, по улице, торопясь на работу, в кино, на свидание или на танцы.

«Вот она-то не спросила, как выглядит!» — с темной горечью в сердце посочувствовал Ушаков и скомкал о-сбори. Он представил себе, что ослеп и не видит земли, людей, солнца и неба, не различает среди автомобильного гула и грохота безопасной дороги, не знает, когда зацветет сирень и как собраны в этом году ее бледно-лиловые крестики, насколько красивы тугие, чуть влажные, ароматные гроздья. Он лишился всего навсегда, как она. Нет, наверное, лучше б было погибнуть!

«Стоп! Врешь, Ушаков! — сознался он вдруг сам себе. — Неправда твоя!.. Погляди на нее. Ведь она-то с собой покончила! Разве ей было менее больно, чем могло бы быть больно тебе? Или юность ее не имеет цены, а сердце живет по другим законам? Нет, она все же в чем-то права, оставаясь в живых. Только это, наверное, страшнее, чем смерть. Быть всегда одному. Без любви. Без участия. Безобразным пятном, оскорбляющим глаз постороннего человека».

Он с печалью подумал о безправственности человеческого зрения, о той беспощадности, с какою оно сортирует все виденное живое на правящееся и неправящееся, ласкающее глаз и коробящее его.

Эта девушка — не по своей вине — утратила самое главное: ощущение незаметности в общей толпе, своей слитности с целым, дающей спасительное уединение в любом людном месте. Ей теперь не хватает величайшей гуманности — невнимания окружающих...

«Нас воспитывали сурово. Быть может, излишне сурово, — думая он, глядя в тихий, замерший зал. — Я боюсь сейчас проявить себя слишком мягким, чувствительным, добрым. А кто знает, что самое нужное в человеке? Неужели

жестокость? Почему мы так тщательно оберегаем себя от избытка эмоций, так боимся поплакать, соучаствуя в чужом горьком горе?..»

Он вышел из дома одним из первых, растерянный, потрясенный, и долго закуривал, став как-то боком к своим спутникам, не глядя в лицо им: стыдился расползшихся, первых губ, которыми не владел.

9

Вернувшись в гостиницу, Ушаков прошел сразу в холл. Ожидавшую его Юкико-сан он нашел за широкой массивной колонной, в мягком кресле, с газетой в руке. Она внимательно изучала отчет о конференции.

— Ну, как съездили? Выступали?

— Да.— Он был очень сдержан. Юкико это заметила.

— Ничего,— сказала она.— Мы привыкли уже ко всему. Не страдайте. Так надо. Каждый, кто приезжает сюда, в Хиросиму, должен это увидеть. Иначе он не будет иметь того представления об атомной бомбе, какое имеем мы, уже пережившие...

— Пожалуй, вы правы...

— Как жарко сегодня!

— Ну! Жарко даже и вам, местным жителям? Вот не думал...

— Август — самый жаркий месяц в Японии. Хорошо, еще облачность. Это вам повезло. А если бы светило отвесное солнце...

— Ничего. В Нагасаки, я слышал, будет сорок градусов.

— Там будут и все пятьдесят!

— Вот это страна!— Ушаков засмеялся и посмотрел в удлиненные черные и чуть опечаленные глаза Юкико с невольным уважением. Ее мягкая смуглая кожа даже в эту жару казалась прохладной, да и вся она, строгая, чистая, в элегантном костюме, причесанная по-европейски, с низкой челкой и прямыми блестящими волосами по сторонам безупречного по овалу лица, с каждым часом становилась ему все понятнее и дороже.

Они пили кофе и ели мороженое. На столе, в низкой вазе, покачиваясь от дуновения прохладного канки соти, пылали пунцовые гладиолусы, поставленные не так, как в России, на длинных стеблях, а обрезанные одной только гроздью, под нижний цветок. За толстым стеклом окна ветер нес завитки желтой пыли.

Может, это только сон,
Ветер знойной Азии?..

— Да,— сказал вдруг Ушаков.— Совсем позабыл. Я ведь вам приготовил очень страшного зверя...

Он вынул из кармана завернутого в целлофан деревянного мишку, привезенного из поездки по Северу, с Диксона, задиру, лентяя, сластолюбца и хитреца. Положил его на стол. Тот смотрел на Юкико янтарными круглыми изучающими глазами.

Юкико подержала его на ладони и бережно спрятала в сумочку.

— Большое спасибо,— очень тщательно выговаривая слова, без ошибки сказала она по-русски.— Вы видите, я уже учу ваш язык,— добавила она по-английски.

— Молодец! В Москве мы будем с вами говорить только по-русски. Договорились?

Она тихо кивнула.

— Yes,— и тотчас поправилась: — Да.

Они обменялись телефонами и адресами. Визитную карточку Юкико-сан с названием ее должности и адреса туристской конторы он вложил в записную книжку: «Госпожа Юкико Ито».

— Ито-сан,— улыбнулся глазами ей Ушаков.— У вас специальность Америка и английский язык. А симпатии вы свои отдаете России. Объясните, пожалуйста... Почему?

— Объяснить, почему меня влечет к вашей стране? — спросила Юкико, склонив голову и вдруг став серьезной.

— Да, пожалуйста, будьте добры...

— Мой отец был ученый, историк,— начала она тихо.— Он любил ваших русских писателей. У нас в доме вообще был культ Чехова, Достоевского, Льва Толстого, отец любил ваш балет, собирал ваши песни. Я у бабушки до сих пор нахожу его записи, дневники... Я была совсем маленькой, когда он погиб, поэтому плохо его помню. Но бабушка очень много рассказывала о нем, она-то и воспитала меня в его духе... Так я стала читать ваши книги, смотреть ваши фильмы. Как ни странно, но ваше искусство мне ближе любого другого. Я как-то душой понимаю и принимаю вас куда больше, чем французов, американцев... Вашу русскую совесть. Бесстрашие, Человечность... Вам, может быть, это смешно?

— Нет, совсем не смешно, дорогая, я внимательно слушаю...

— А потом на работе я встретила человека. Он несколько лет прожил в России, в плену... Мы с ним товарищи, хотя он и старик...— Юкико растерянно улыбнулась.— Он о русских всегда хорошо отзывался. Даже странно немного: разгром нашей армии, плен, вокруг только враги, и вот эти враги для него всегда теперь очень хорошие люди...

— Наверное, он и сам неплохой человек? — пошутил Ушаков, отвечая улыбкой Юкико, и вдруг покраснел, устыдившись, что сказал что-то плоское.

— Да. Конечно. Но сколько хороших, умных людей глядит на Советский Союз с враждебностью! Я-то знаю...— сказала она, вынимая из сумочки сигареты и щелкая зажигалкой.— Я теперь очень многих своих друзей проверяю на этом: как они к вам относятся. Мы внешне так несхожи с вами, русские и японцы, у нас совсем другой быт, другие обычаи, но так много общего!

— Нда-а-а,— в задумчивости протянул Ушаков.— Вы меня заставляете видеть вещи совсем по-иному, Ито-сан... Вы вселяете в человека большие надежды...— Он серьезно взглянул на нее.— Я теперь буду часто думать о вас. И верить, как вы: что со временем люди все же привыкнут друг к другу и начнут понимать, для чего мы, такие несхожие и думающие по-разному, живем на земле... Как вы это себе представляете? Когда-нибудь будет такое?

— Да. Конечно. Иначе бы я умерла,— ответила тихо Юкико.

Она опустила повлажневшие вдруг смоляные глаза. Но через минуту их вскинула вновь, уже снова сухие.

— Вам, видимо, надо идти? — спросила она со своей мягкой улыбкой.

— Да. Пора. С сожалением это делаю. Мы с вами о стольком еще не поговорили... Понимаете, я совсем не умею знакомиться вот так, на бегу...

— Вы приедете еще к нам?

— Нет, наверное. Если можно позволить себе такую громкую фразу, я поеду туда, куда мне прикажут. В любую точку земного шара сказать «нет» войне: холодной, горячей, невидимой, видимой...

— Я вас понимаю,— сказала Юкико.

Проводив ее до дверей и простившись, Ушаков помахал ей рукой.

Почему-то Юкико сегодня была очень похожа на Катю. Он это отметил с улыбкой в душе, но тут же оборвал себя, запретил себе думать об этом. Радость так же необратима, как время. У него никогда уже не будет больше в жизни любви, а значит, и счастья. Он свое отлюбил — беззаветно и горячо — там, на фронте, под Ельней...

Августовские ночи, бессонные, смутные от бесчисленных движущихся по дорогам машин с притушенными фарами, пахли пылью и зреющей рожью. В небольших, уже тронутых первой желтизной лесах, под кустами ольшаника, в пойме реки, по оврагам, в аппарелях и ямах — тяжелые танки КВ и «тридцатьчетверки», орудия, тягачи, зенитные пушки, укрытые маскировочными сетями, разноцветная путаница проводов, штабные автобусы и всюду пехота, пехота, пехота, солдаты со скатками через плечо, с автоматами, с вещмешками, похожие на зеленых улиток, свернулись и притулились на теплой земле, покуривают в кулак, негромко переговариваются, бормочут...

Он увидел ее на рассвете перед КП — большим блиндажом, крытым бревнами в шесть накатов, на скамейке, сработанной из березы, — невысокую смуглую девушку с пухлым планшетом, в собачьих унтах и кожаном шлеме, чуть сдвинутом на затылок. На груди, перетянутой портупеей, поблескивали ордена. Свои руки в бинтах с кровавыми пятнами она чуть покачивала и все оборачивалась на дорогу: кого-то ждала.

— Сбили девку, едва дотянула до нас, — объяснил Ушакову высокий, румяный, с подкрученными, словно стрелки, усами ПНШ-2 Петро Мордванюк. — Сейчас за нею приедут, заберут в медсанбат. Кукурузник-то тоже весь в дырках, на чем только летела...

Ушаков подошел и сел рядом с летчицей на скамейку.

— Ну что, очень больно? — спросил он, полный сочувствия к молодому отважному существу. Но летчица с резкостью обернулась, ответила коротко:

— Ничего... Потерплю! Не всегда ведь поверху пройдешь, иногда и завязнешь...

Ей, наверно, хотелось казаться веселой, отчаянной, но руки болели, она морщила губы.

Ушаков усмехнулся.

Он представил себе раскаленное небо над фронтом: как багрово клубится дымами растянутая слева направо, исчер-

ченная траншеями передовая, вся во встречных параболах меркнувших трасс. Как гремит она и грохочет, а выше дымов, выше трасс, как невиданные цветы, рассыпающие по ветру соцветия, разрывы зенитных снарядов. И земля надвигается с обжигающей мысль быстротой, когда некогда осознать это краткое: «Все!.. Я убита, погибла... Уже умерла...»

Он раздумчиво закурил, разминая подмокшую сигарету, чиркнул спичкой, отбросил ее, молча глядя на собственный запыленный сапог, на утопанную вокруг блиндажа пересохшую землю.

— А ну, капитан, дай и мне закурить!— вдруг охрипшим голосом попросила примолкшая было летчица.

Ушаков поглядел ей в глаза спокойно и строго.

— Не дам! — сказал он твердо.

— Почему?

— Вам сигарка совсем не идет,

— Скажите, что жалко...

— Ну, и жалко, конечно.

— Пехотинцы — все жадины, скряги! — сказала она и еще улынулась, как будто шутила, а глаза были злые, зеленые, должно быть, от боли.

— А я не пехота, — сказал Ушаков.

— А кто?

— Не скажу. Военная тайна! Вам зачем это знать?

— Да хотелось бы хорошенько запомнить, — заметила летчица, — где найти, расплатиться... за ласку, за доброе слово! — Лицо ее уже розовело от обиды, от гнева.

Он опять усмехнулся: видно, сызмала вырастала гордычкой. Наверное, и летела-то на одном самолюбии.

Сказал тем же тоном, в полусутку-полусерьез:

— Все же немцы правы, когда называют вас ведьмами! Я-то думал: хорошие, милые девочки... Ну, летают, ну, ладно, бомбят иногда по своим, так на то и война... А вы воп оно что... Расплатиться! Запомнить! Ведь небось из Воропежа, из Чиглы?

— Да... А что? — Собеседница вдруг растерялась, приоткрыла красиво очерченный рот как-то очень по-детски. — А как вы узнали?

— Так... По вашему разговору... И еще... — И он замолчал, потому что скамейку давно уже окружили, разглядывая с интересом сидящую летчицу, свободные от заданий разведчики, штабники, автоматчики из охраны, связанные, по-

сылыные. При них ему не хотелось ей в подробностях объяснять.

— Правда, я из Чиглы! — И летчица даже привстала при этом. — А вы что, земляк мой? Вот здорово!..

— Не-ет, я вам не земляк. Я родился немного подале... Да знаю прекрасно. Чигольские славятся...

— Чем? — Она засмеялась.

Он взглянул ей в глаза и больше уже не отвел взгляда. Лишь какое-то время спустя сказал строго:

— Тем, что ведьмы сплошные. Летают на помеле...

Подшли два врача, подъехала задом легковая машина, вокруг летчицы сгрудились люди, помогая ей сесть. Ушаков не пошел ее провожать. Он поднялся и отошел к дверям блиндажа. Оперся плечом о косяк.

Она обернулась сама, закричала ему, махнув на прощание тяжелой и толстой, в белой марле рукой:

— Хорошо, капитан! — Ее голос опять был задорным и звонким. — Я и это запомнила! Я за все расплачусь!

Разве знал он тогда, Ушаков, что расплачиваться девчонка с планшетом, в собачьих унтах будет жаркими поцелуями? Что судьба их сведет на дорогах Смоленщины, а потом, в проливные дожди, в непроезжую непогодину они встретятся в тихой лесной деревеньке, недалеко от аэродрома, и хозяйка избы, сердобольная и опрятная молодая вдова, будет им приносить по утрам в подоле недозрелые яблоки?

— Чем чигольские славятся? — все пытала Николая Николаевича Катюша Насонова, — так звали ту летчицу. А он лишь смеялся и целовал ее в чуть приоткрытые темными веками большие глаза.

— Не скажу.

— Ну, скажи... Я прошу!

— Сварливостью, злобою и неряшеством...

— Неправда, неправда! — Она тоже смеялась, закрывая глаза.

— А раз знаешь сама, зачем спрашиваешь, кокетка?

— Не знаю...

— Своей красотой.

— Правда, да? — Она очень обрадовалась. — А я, честно, не знала! Ты, наверное, шутишь? Какая же я красавица? Просто так...

— Для меня ты красивее всех чигольских красавиц... За окном их избенки клубились тяжелые, низкие тучи

без единого голубого просвета. Вдалеке за леском погромы-хивала канонада. Катя грустно вздыхала, бродила по комнате, садилась на подоконник.

— Ты разлюбишь меня, только я улечу...

— Нет, Катюша. Поверь... Ты мне веришь, надеюсь?

— Тебе? Верю, — отвечала она. — Я немцам не верю... Что дадут нам с тобою дожить до победы.

Он ее провожал на холодном, сыром перекрестке дорог. Хлопьями валил мокрый снег. Патрульные на КПП, собрав в кучу снарядные ящики и какие-то доски и щепки, наверное, от разбитых бомбежкой машин, запалили, облив их бензином, и грелись сбоку дороги. Подошла вся залепленная опметьями грязи полуторка с разбитым осколками ветровым стеклом. Катя встала у борта.

— До свидания! — Шевроны блеснули на летной шине.

— Ни пуха, серебряные крылышки! — сказал Ушаков. — Летай не волнуясь, спокойно.

— До встречи!

А встречи и не было...

Коротко, ненадежно военное счастье!

Были письма, приветы — с попутной машиной. Были ночи без сна, когда вспоминалась та осенняя непогода и Катины свежие губы, ее молодые глаза. Сладкой тяжестью на плече все лежала ее голова в рассыпанных темных кудрях, нежно пахнущих земляникой, сеном. А потом Катю сбили над вражеской территорией, от нее не осталось, как сказали ему, даже маленькой, выросшей в землю могилы. И сам Ушаков к тому времени был уже на Балканах, и каталась под куполом парашюта незнакомые горы, зеленые кроны деревьев, внизу белой пенистой струйкой бурлила река...

С той поры прошла почти целая жизнь. Было всякое — и хорошее и плохое. Были женщины — ни одной из них он не любил так, как Катю, веселую девушку из Чиглы. Сейчас он любил только клинику. И детей. И работу, которую в глубине души считал варварством: избавлять от страданий ценою страданий, но все-таки крепко держал в руке нож хирурга и готов был всякий раз его целовать, как когда-то целовали клинок идущие в бой.

Глаза Ито-сан, молодые, горячие, с узким разрезом, ничего ему, собственно, не сказали. Это он в них увидел какое-то обещание и надежду: жизнь еще повернется сияющей стороной, будет радость, удача, будет счастье совсем

неожиданной встречи с неведомой женщиной, понимающей, остающейся рядом до скончания дней. Но какая она, где она, кто она, он не знал и не мог догадаться.

Проводив Ито-сан, Ушаков постоял на пороге, крепко, с силой растер лоб, прогоняя усталость, и решительно побежал по ступенькам вверх, к себе в номер — принять душ перед поездом, переодеться, посмотреть, все ли Вася сложил в чемодан, не забыл ли чего.

10

Когда Ушаков вошел к себе в комнату, он увидел посыпающего на кровати Антонова и разбросанные на полу и по креслам переводы речей и отчеты о конференции, хиросимские газеты, освещавшие ход работы; тут же рядом валялись его вытщенные из шкафа и тумбочек платки, носки и измятые, скомканные рубашки. У окна в распахнутом чемодане сиротливо лежали бритва, мыло и пара ботинок.

— Васюта! Проснись! — затряс Ушаков Антонова за плечо. — Ты чего это дрыхнешь? Через десять минут уходит автобус!

— А? Что?! — Тот проснулся, вскочил, но сразу же, видимо, оценив обстановку, зевнул, потянулся лениво и опять завалился на смятые простыни. — Ничего, — сказал он, прищуриваясь от яркого света. — Без меня не уедут!

— Говорю, вставай быстро! Сейчас уезжать, опоздаешь на поезд.

— А, на поезд! — сказал тот, позевывая на подушках. — Тогда ладно, действительно надо вставать...

И он сел на кровати, потягиваясь и зевая.

Николай Николаевич принял душ и стал быстро укладывать чемодан: аккуратно, без складок, белой стопкой рубашки, темной стопкой носки, всему свое место. Там, в гостинице, по приезде только вынуть и разложить.

В двери номера кто-то коротко постучал.

— Да, войдите! — крикнул Антонов.

Вошел чистый, вымытый, свежевыбритый, бодрый Романов.

— А я сию жду! — сказал он. — Вы еще не готовы? Вы случайно не позабыли, что едете в Нагасаки?

— Помним, помним, Георгий Иванович, сейчас соберемся! — ответил Антонов. — Это вот Николай виноват, где-то долго ходил...

Ушаков покосился на шефа.

Романов прошелся по комнате, понимающе усмехнулся.

— Пеняй на соседа, что спит с обеда, — кивнул он про-
нически и уселся в удобное, низкое кресло и вытянул по-
ги. — Да, кстати, вы сегодня обедали, дамы и господа? —
спросил он, включив телевизор.

— Да. А вы?

— Нет. Я только что с пресс-конференции...

Ушаков, уложивший уже чемодан и готовый к отъезду,
сел с ним рядом и закурил, глядя не на белый экран, не на
быстро мелькающую рекламу, а куда-то в обитую плотной
материей стену и думая о Романове.

Есть люди, поставленные своей должностью над другими
и так этой должностью удрученные, что у них уже не оста-
ется свободной энергии на улыбку, на шутку, на простые,
хорошие, добрые отношения. Их досуг, их внимание погло-
щаются обыкновенно лишь единственным опасением: а как
бы не оступиться, а как бы прочней удержаться на своем
высоком месте, не сказать ничего лишнего, не унижить себя
несолидным знакомством. Для них шутка не сила, а сла-
бость или, что еще хуже, безделье ума.

Романов, по счастью, был не таким.

Ушаков еще задолго до отъезда, в Москве, оценил де-
ловые достоинства шефа, сохранившего в себе юмор и спо-
койный характер, в том числе и привычку не требовать, не
просить ничего для себя, а безропотно, уважительно ждать;
в этом было и что-то крестьянское, и что-то типично интел-
лигентское.

Сейчас Николай Николаевич покосился на сидящего в
кресле Романова. Тот дремал, свесив руки с колен, утомлен-
ный работой: как солдат после боя. Лицо его, еще гладкое,
без морщин, сразу стало домашним, простым, а веки набух-
ли, налитые тяжестью.

Почему-то припомнилась зима сорок второго — и один
человек, чем-то схожий с Георгием Ивановичем, ну, не
внешностью, не разговором, конечно, быть может, и не ха-
рактером, а таким вот спокойным и трезвым отношением
к себе.

Это было глухой темной ночью, после боя в Ненашеве,
когда раненый и обмерзший Ушаков шел в санчасть по
разъезженной и изрытой дороге. Снег лежал на колдобинах
серый, крахмалистый от мороза, сухой, нога в нем увязала

по щиколотку, а там, в глубине, оскальзывалась на наледях.

На околице возле Осинина, у железной дороги, лежали разбитые грузовики, перевернутые взрывами бомб полковые повозки. Убитых и раненых уже не было, их, наверно, убрали. Только рыжие пятна крови и конской мочи стеклянисто поблескивали в свете изредка выползающей из-за тучи луны.

Пожары здесь тоже были погашены, дыма, пламени не было, но пахло горелым железом и рожью — застревающий в легких и в памяти запах беды. Ушаков никогда уже больше этот запах не забывал, он, пожалуй, доныне точил ему горло.

Двор в санчасти полка был забит пароконными розвальнями, полуторками и трехтонками, санитары укладывали на охапки соломы, настеленной в кузовах, самых слабых, нетранспортабельных раненых, — вероятно, в предвидении отступления, — изможденных и обескровленных, погасших людей в разорванных и прожженных шинелях с распоротыми рукавами, в кое-как прибинтованных валенках. Иные из них были белыми, плоскими, словно мумии, запеленатые бинтами с головы и до пят, без носа, без глаз, одна щель вместо рта.

Николай видел это уже не впервые: как укладывают на повозки людей, как белеет и морщится от страданий лицо и становится известковой маской, как просачивается сквозь бинты и лубок уже несколько коричневатая кровь, сотни раз видел это, а привыкнуть не мог и всегда наблюдал эту сцену с единственным, одинаковым чувством натянутой через сердце струны, и всегда внутри него в эту минуту что-то грузно ворочалось, напрягалось, налегая на эту струну тяжело, неупруго, так, что, может, нажми еще чуть поплотнее — и разрежется сердце легко и без боли.

Ушаков по дороге к Осинину с наслаждением представлял себе душное избяное тепло — печь, в которой смолисто потрескивают дрова, деревенскую лавку, на которую он усядется и попросит чайку и махорки. И он явственно уже видел и кружку, в которой ему этот чай подадут, и кисет, и бумагу — свернуть козью ножку, и как он, Ушаков, будет пить этот чай, потемневший от крепкой, распаренной на печурке заварки, пока не замлеет от жара совсем нерабочая, непривычная к делу рука, та, левая, не попавшая под разрывную.

Но, войдя в темный двор и увидев полуторки и трехтон-

ки с носилками на соломѣ, а потом разглядев вдоль забора молчаливую очередь жмущихся от мороза людей с неумело наложенными самодельными, расплзающимися повязками, иногда и совсем без бинтов, с руками и ногами, лишь замотанными в застиранные полотенца, Ушаков только скорбно вздохнул: ему, видимо, не достояться, а об отдыхе, о чаях да махорке и вовсе нечего думать.

Он прошелся вдоль очереди поглядеть, нет ли, часом, своих, скоротать за беседой время, но не нашел никого. В сенцах было темно, здесь солдаты стояли теснее, прижимаясь друг к другу: кто дремал, кто постанывал, кто-то дергал простуженно носом, надрывисто кашлял. Какой-то боец в черном танковом шлеме сидел на пороге, склонив низко голову.

— Что, браток? — спросил у него Ушаков. — Очень плохо? Иль спишь? — И добавил, трясая за плечо: — Спать нельзя на морозе, смотри, не проснешься!

— Да нет, ничего, — ответил танкист. — Голова только очень болит...

Он был маленький, ладный, в черной кожаной куртке, в ботинках с обмотками.

— Ты ранен? Иль болен?

— Ранен, — как-то совсем неохотно ответил танкист. — Под Ненашевом, нынче, в атаке...

— Знаю. Сам сейчас только оттуда! Ну, и как ты? Куда тебя ранило?

— Сперва в голову, — танкист тронул затылок рукой и поморщился, — потом в ногу. — И он указал вниз, на землю, нога его была вытянута, не сгибалась в колене. — А тут танк загорелся, надо прыгать, взорвется: я прыгнул, так руку сломал...

— Повезло тебе, друг! Вроде полный ассортимент!

— Да. Выходит... — Он поднял курносое, в крупных серых веснушках лицо. — Я вообще думал — все, замерзну, до наших не доберусь... Сперва фрицы по мне одиночными били прилежно, щелк да щелк, а я от воронки к воронке. Потом наши. Наверное, приняли за фашиста. Километра три полз, пока вышел из зоны... Дополз до дороги, чуть-чуть отдышался, гляжу, машина какая-то прет, а крикнуть нет сил. Шепчу: «Помогите!» А они мимо... Конечно, мотор-то гудит и гудит... Так почти до Осинина по-пластунски на брюхе...

— Мда-а, история! — удивился рассказанному Ушаков. —

А чего же ты здесь-то, с такими ранениями? Иди прямо, без очереди. Тебе ж срочно на стол...

— Ничего... Обожду. Видишь ты, сколько к ним набегало народу... Говорят, третью ночь так, — помедлив, ответил танкист, поправляя ребристый матерчатый шлем. — Врачи не справляются...

— Ну, нет, так нельзя, — сказал Ушаков и пошел через сени, раздвигая плечом застывшую очередь. Его даже никто не окликнул, никто не заспорил; он дернул набухшую дверь.

Спустя полчаса, оставив танкиста в избе у хирурга, он вышел во двор, к темной очереди, не кончающейся, а, как показалось, еще более растянувшейся за это время, поглядел на нее с неохотой, угрюмо, — сам-то он не воспользовался предложением сделать ему перевязку, хотя бы и на ходу, — и выбрался по растертому снегу на улицу, где у ворот шоферы в замасленных полушубках возились с разбитой машиной. Там отчетливо слышался грохот боя, долетающий от Ненашева. За каймою далеких еловых лесов, бегущих зубцами по самому горизонту, разгорались пожары. То и дело с коротким надтреснутым звуком оттуда неслись и рвались на окраине у Осинина, возле самого переезда, тяжелые мины. В стороне, может быть, чуть правее Ненашева, два-три раза сверкнули медлительные и отсюда как будто бы даже нестрашные трассы «катюш».

Он глядел на клубящиеся облака над лесами и думал о маленьком ладном танкисте, оставшемся там, в санчасти, в избе.

«Человек измеряет себя не мерою совершенного подвига, — размышлял Ушаков, — а мерою пережитого страха. Вот я столько раз за сегодня падал в снег, и оглядывался, и перебегал, и так страстно, мучительно жаждал выжить, что теперь весь избит и измучен, изжеван войною и, кажется, бог знает что совершил! А этот парняга, израненный, переломанный, чуть не сгоревший, обстрелянный с двух сторон, и обмерзший, и ползший полночи по снегу, все, что за день с ним произошло, считает нормальным. Ему некогда было бояться: он работал... Награди его орденом, он сам первый, наверное, удивится и станет доказывать, что дали ему ни за что...»

Ушаков представил себе свой полк и бойцов, залегших на поле, а возможно, уже окопавшихся в мерзлой земле. Он увидел обрезанные как бы острым ножом по краю во-

ронки, дотлевающие останки грузовиков и бронетранспортеров, и свой вынесенный на высотку КП, прикрытый еловыми лапами, — просто яма, еще без бревенчатого защищающего наката, без печки, без нар, но уже с телефоном — и медленное, монотонное повторение сухим, сиплым голосом: «Я — «Сосна», я — «Сосна»... Отвечайте!» И разрывы снарядов.

Тем же самым размеренным, точным жестом, каким только что танкист надвигал на глаза свой ребристый матерчатый шлем, Ушаков поплотнее надвинул ушанку на лоб, закрывая его от ломящего встречного ветра, и пошел, перемешивая сапогами растертый полозьями и машинами серый снег, той же самой дорогой, по которой пришел, но в обратную сторону, то есть к фронту, к освещенному заревом дальнему лесу, на короткие взблески и скрежет «ЭРЭС».

11

Как вполне насладиться тобою, земля?

Поезд мчится через леса и болота, мимо пашен под зябь, мимо темных желтеющих пожнивей. Вот деревни: изрытые, грязные колеи, избы, крытые толем, плетни, огороды. Тут и там под окошком рябина и бузина в красных гроздьях, рябье подсолнухи. За деревней — луга в пышной поздней отаве. На лугах, у реки, стадо пестрых коров. Под деревом спит пастушок.

Мимо, мимо...

Воздух пахнет не этой прохладной, речной ли, колодезной свежестью, а вонючим, каменноугольным дымом, машиной и смазкой, людским потом и пылью...

С самолета земли вообще не видать.

Там, внизу, какие-то грязно-серые кочки в длинных белых потоках. Говорят, что это Саяны, хребты, вечный снег. На плешинах откосов пятнистая прозелень хвойных лесов. В глубоких долинах — извивы могучей, набухшей в разливе реки — сверху маленькой, тоненькой, как бельевая веревка.

Что сейчас там, внизу? Дождь или солнце? В разрывы клубящихся облаков ничего не видать... Как живут там, в разбросанных поселениях, люди? Что их радует, что их печалит?

Где кустится черемуха, где алеют брусничники, кто следит за веселой, пушистой белкой, когда она прыгает с ветки на ветку? Кто слушает гомон птиц, потревоженных гулом мотора от невидимого самолета?

Никогда не узнать, не увидеть, не успеть полюбить этих темных, таежных, извилистых троп, этих тихих проселков в хлебах, этих маленьких деревень на равнинах с их запахами молока и кизячного дыма, с ребятишками на гудне, играющими с собачонкой...

Кто придет к ним за счастьем, кто его принесет сюда, в глухомань, в своем сердце, переполненном неизбывной любовью? Неужели не я?..

12

В вагоне, заполненном участниками конференции, шумно, тесно, темно. Как бывает всегда после трудной, ответственной, сложной работы, люди быстро сдружились и в тесных клетушках купе с тройными рядами полок, обычно задернутых занавесками, а сейчас гостеприимно распахнутыми, уже образовались свои маленькие компании и содружества, шел веселый и громкий, куда громче обычного, разговор. Оживление передавалось от соседа к соседу вместе с фляжкой, наполненной «Особой московской», или «Сантори», темного маслянистого виски, или джина, приобретенного уже здесь, на вокзале. Все стремились перекричать друг друга, на шутку ответить не менее остроумной и радостной шуткой, заманить к себе в купе побольше народу и всех одарить коньячком или редкостной сигаретой.

Высокая полная женщина с круглым лицом сидела на постели Романова, держа двумя пальцами металлический легкий стаканчик, и, весело улыбаясь, пыталась по-русски сказать, что коньяк несколько не хуже, чем виски, но слова ее перебивались громким смехом и шумом стоящих в проходе французов, беседующих с цейлонцами.

Под ногами у взрослых с хитрой мордочкой шнырял Эрик, которому по закону давно уже полагалось бы спать и видеть цветные японские сны: убегающая за вагонным окном Хиросима в сплетениях синих, зеленых и красных огней и для взрослых была как чудесная, а теперь и как грустная сказка.

— Человек стремится не к лучшему, а к тому, чего не имеет, — вдруг изрек Васюта Антонов и пошел по вагону отведать всего, что предложат, от виски до пива. Впрочем, он в своих пробах довольствовался глотком.

Ушаков, огорченный столь быстрым отъездом из города, которого он, в сущности, так и не видел, стоял у окна и глядел на рисовые поля, удивляясь их вынужденной юве-

лирности,— на клочках залитой водою земли, меж смыкающихся окраинами больших городов, у подножий обрывистых гор, расширяющихся книзу крутыми уступами, с террасами чайных плантаций и зарослями бамбука.

Сумерки уже скрадывали очертания шахт, заводов и фабрик, в этот час их можно было угадывать лишь по зареву электричества, повисшего на большой высоте, над землею, там, где раньше, наверное, теплились звезды. Но потом все размазалось скоростью: фонари и рекламы, движение огней, мельканье фар на шоссе вдоль железной дороги,— и было приятно стоять и не думать, лишь впитывать в себя этот гул, эти длинные светлые пятна и летящие вдаль над тобою гудки. Только так познаешь скрытый смысл расставаний и встреч после долгой разлуки: он — в возможности сравнивать.

Подошел раскрасневшийся, улыбающийся до ушей Васюта Антонов.

— Человек человеку...

— Кто?

— Не знаю, но только... не волк!

— Ты прав, друг Васюта... Человек человеку — верблюд. Лишь верблюды с таким равнодушием и презрением встречают в пустыне другого верблюда и глядят на него сверху вниз, хотя тащат на грязном горбу тот же груз и питаются той же верблюжьей колючкой...

— О, да ты пессимист! — удивился Васюта, обнимая Николая Николаевича за плечи и прижимаясь щекою к щеке.

— А что, это плохо?

— По-моему, да.

— А по-моему, нет. Но я пессимист, если хочешь меня так назвать. Пессимист только лишь потому, что гляжу на мир трезво, без пустых обольщений, понимая все трудности и все недостатки нашей борьбы. Я не крашу своих надежд в нежно-розовый цвет... Я вообще ненавижу слова-ярлычки: пессимизм, оптимизм. По-моему, их выдумали узколобые люди, не желающие задумываться над проблемами жизни и плывущие по течению.

— Я чего хочу спросить у тебя... — Васюта вдруг обернулся назад, в глубь вагона, и кому-то кивнул. — Ты не помнишь случайно, сколько именно мирных лет было в истории человечества?

— Ты имеешь в виду данные шведского статистического управления?

— Да. Их.

— Чего это вдруг потянуло на арифметику?

— Нужно! Мы тут поспорили с одним господином!..

— Всего-навсего двести девяносто два года — из пяти тысяч лет...

— Мда-а... Не очень-то густо!

— Тогда, Вася, не было сторонников мира! — пошутил Ушаков. — Видишь, вся беда в том, что история многому учит. А мы, к сожалению, не любим историю, плохо учим ее...

— Пойдем, скажешь ему! — предложил, оживляясь, Васюта. — А то он все спорит, говорит, надо прошлое позабыть, зачеркнуть и начать жизнь сначала...

— Ну, а я-то зачем? Совсем ни к чему. Неудобно... И просто... Нет, я не пойду!

— Вот чудило! Пойдем! Познакомлю! Мы с ним не спорили, вместе доспорим... Интересный мужик. Журналист. Был в Америке и в Советском Союзе, поездил по свету...

— Ну ладно... Пойдем, а то не отвяжешься! Посмотрю...

Через две-три минуты Антонов откупоривал в купе бутылку армянского коньяка, разливал по стаканчикам и, поблескивая большими, навывкате, изучающими глазами, прислушивался к завязавшемуся разговору.

Японец Иомиури-сан — седоватый, подтянутый, худощавый, в ослепительно белой рубашке, с изящно повязанным галстуком ручного тканья — показался Николаю Николаевичу куда моложе своих полных шестидесяти лет. Глаза его за очками были ясными и холодными. Две глубокие складки прорезали его смуглое лицо, словно темные шрамы.

— Объясните, пожалуйста, Иомиури-сан, — спросил Ушаков, — а все-таки почему вы простили Америке эти две бомбы?

Тот, задумавшись, долго молчал, потом поднял изящную седоватую голову.

— Видите ли, мы, конечно, ей не простили... Мы помним... Но кое-кто в нашей стране, в том числе и большие, известные люди считают, что нельзя без конца копить ненависть, злобу. Это может опять привести к катастрофе. Кто-то должен подняться над прошлым!

— Но это ж пошлейшие христианские догмы! — вмешался Антонов. — Если тебя ударят...

— Так что, по-вашему? Сясва мстить? — спросил оживляясь, японец. — Мы им снова Пирл-Харбор. А они нам

опять Хиросиму? И опять воспитывать молодежь в готовности стать человеком-торпедой, человеком-снарядом? Но это же снова война! Теперь — термоядерная... Мировая. И еще неизвестно, кто будет сильнее: тот, кто снова захочет обязательно отомстить, пролить кровь врага, или тот, кто, почувствовав себя жертвой, начнет защищаться и будет отстаивать свою честь и свободу, свою независимость.

— Значит, тот, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, уже может не беспокоиться? — спросил Ушаков. В душе он был задет за живое.

— Видите ли, это сложный вопрос, — пустил кольцо дыма в потолок Иомиури-сан. — Америка нас потрясла до самых основ этим взрывом. Люди словно бы пробудились от летаргии. Они многое поняли. И главное в этом одно: нельзя больше жить так раздробленно, в изоляции от огромного внешнего мира. Нельзя быть разобщенными внутри общества. Нас пленил динамизм. Вы, наверное, видели наши контрасты? Обтекаемые машины на фоне японских вулканов, ветка вишни над мчащимся суперэкспрессом: щучья морда, двести двадцать километров в час, гудки и туннели... «Восток есть Восток, и Запад есть Запад, и им не сойтись никогда...» Так мы с детства запомнили. А в нашей стране все это соединилось... Марсианская инженерия, электроника, точность — и цветение хризантем. Очень многое мы приняли от той же Америки...

— В том числе и военные базы на Окинаве, откуда стратегические бомбардировщики летают во Вьетнам... И кто-то же наживается на поставках напалма для янки! Кому-то приятно и очень полезно, что атомные подлодки приходят в Сасэбо и в Йокосука...

— Вы тоже затягиваете войну во Вьетнаме, — сказал Иомиури. — Поставляете им самолеты... Без участия СССР все давно бы уж кончилось...

Ушаков усмехнулся.

Он сидел на диване с сигаретой в руке и поглядывал на Васюту, нахолившегося в углу. Разговор выходил за обычные рамки вагонной беседы. Да, знакомая песня! Он помнит ее еще со времен войны с Гитлером.

— Вы знаете, Иомиури-сан, — обратился он снова к японцу. — Вот это же самое говорили и некоторые деятели в Англии и Америке, когда выступали против открытия второго фронта в войне с фашистской Германией. Зачем, мол, затягивать бойню? Вот Гитлер уничтожит Советский Со-

юз — и война кончится, будет мир, благоденствие. А они не подумали, что Гитлер после победы над Советским Союзом уничтожил бы в первую очередь их самих: сперва Англию, потом Соединенные Штаты. Стремление к мировому господству — это... едкая штука! Она кружит головы... В желании побеждать меры нет. И война никогда не закончится, если мы пойдем на уступки, ибо в каждой уступке — поощрение агрессору, прецедент безнаказанности... А техника позволяет сегодня быть дерзким...

— Да, бомбы....

— Что бомбы? Когда бы только они одни! — Ушаков загасил сигарету, откинулся на сиденье. — Вы, наверное, знаете: через несколько лет американцами на войне уже будет использовано само время... Каким методом это будет сделано, я не знаю, а вот слыхал. Фантастика, да? Но ведь мы и об атомной бомбе когда-то только слыхали, а, в общем-то, не верили, что возможно такое... И всегда только право сильного плюс эффект неожиданности нападения... И уж будьте готовы, Иомиури-сан, цепь насилия и реванша никогда не прервется, если вы захотите сыграть в благородство...

Ушаков налил в стопки всем троем коньяку.

Японец отпил, чуть коснувшись губами. Глаза его были серьезны за широкими линзами модных очков.

— Но мы делаем все, чтобы это не повторилось! — воскликнул он неожиданно горячо. Такой сдержанный, суховатый, он был очень взволнован. — Наши митинги, демонстрации, наши массовые забастовки... Мы привозим в Хиросиму массу людей, мы показываем всему миру наши слезы и кровь, наши раны... Разве этого не достаточно? На сегодняшней конференции... И есть голос общественности, наконец, наша левая пресса...

— И есть страны Варшавского Договора... — сказал Ушаков. — Это более верное средство!

Николай Николаевич помолчал.

— Я работаю в клинике... для детей, — сказал он спустя время с неожиданной горечью, обращаясь к японцу. — А эта работа приучает к серьезности. Когда говоришь ребятишкам, что придет серый волк и всех заберет, если будут шалить, они тут же в тревоге оглядываются на дверь. Но скажи какому-нибудь взрослому дяде или тете, что сейчас водородных и атомных бомб изготовлено столько, что уже не хватает соответствующего им количества жертв, так ведь,

черт дери, не поверят! Тоже, мол, нашел, чем пугать, какой серый волк к нам пришел! А на каждого жителя нашей планеты уже нынче приходится не по одной, а по две и по три атомные смерти...

Они чокнулись стопками:

— Ну... за мир во всем мире!

13

Только к трем часам ночи вагон наконец успокоился и затих. Закончились споры и шутки, хождение от одного переполненного купе к другому, люди стали устраиваться на почлег, пристегивать отгораживающие занавески.

Улегся Иомиури-сан. Улегся Георгий Иванович, весь вечер беседовавший с канадцами и англичанами. Глоток выпитого «Сантори» из рук круглолицей молодой англичанки заставили его не только шутить и рассказывать случаи из своей жизни, — а он много ездил по свету, — но и спеть «Подмосковные вечера».

Улегся и Вася Антопов, взобравшись на самый верхний «этаж», на третью полку. Там он долго ворочался, тяжело отдуваясь и фыркая, роняя сверху то папку с бумагами, то шляпу, то башмаки. Пристегнутая заботливым проводником, его занавеска то и дело натягивалась под тяжелыми вздохами, словно парус: полка узкая, спать укрывшись пельзю, очень жарко, будешь мокрым от пота, а раскрывшись тем более невозможно, здесь прекрасные международные дамы, не дай бог увидят его, полуголого, вот крику-то будет!.. Но как только Васюта дотронулся головой до подушки, так все тотчас же услышали внятный, мягкий таинственный свист, затем громкое рокотание и бульканье его носоглотки.

Ушаков, устроившись поудобнее на своей нижней полке, тоже узкой и жаркой, — поезд мчался на юг, в живописнейшие субтропики, — взбил повыше подушки и лег на них животом, подбородком уперся в ладони. Отодвинув чуть в сторону плотную шторку, он глядел на летящий вдоль поезда лунный пейзаж за окном, сожалея в душе, что все уже крепко спят и не с кем увиденным поделиться.

Поезд с грохотом, с пулеметным стрекотом торопящихся под уклон тяжелых колес то и дело влетал в бесконечные, словно вечность, глухие туннели, пронзая их черную темноту своим узким, стрелоподобным гремучим телом, и сно-

ва, ликуя и радуясь, вылетал на простор. От этих мгновенных влетов и вылетов из туннелей Ушаков на какое-то время глох, как в снижающемся самолете. Но вот опять поезд вырывался в долину и мчался по плоскости залитых лунным светом изумрудных полей, по-школьному разграфленных на клетки и засеянных колоском к колоску, с бороздками для полива, кустящимся рисом, пролетал по гористым уступам с уютными домиками под черепицей, с вишневыми деревцами, стоящими возле окон. И вновь горы, горы и скалы, нависшие над кромкою моря, где лепточка пляжа, почти растворяясь, сливается в бухте с лимонно-зеленой дорожкой луны.

Из тьмы выступают серо-черные течи больших криптомерий, обрывы, рыбацкие лодки на рейде, и вдруг разбегающееся до горизонта сверкание разноцветных огней и трубы, трубы, клубящийся дым над градирнями, шахты, угольные отвалы, циклопические прожекторы над подъемными сооружениями, прерывистое, монотонное дыхание механизмов заводов, ворчание поршней и мерное бряканье, заканчивающееся приплюсыванием и шипением молота.

Ушаков, привыкший к раздолью широких полей, с волнением впитывал в себя эту жизнь, размещенную на каких-нибудь сантиметрах: то уютная, хрупкая, в потемневших от времени домиках, в раззолоченных многоуступчатых храмах, окруженных садами из низкорослых деревьев и замшелых камней, со сверкающими водопадами и ручейками, с белолицыми женщинами в драгоценных шелках, то воинственная, с драконами и мечами, с пугающим злым оскалом чудовищ и масок, с заточенным в своем древнем дворце императором, то машинная, наконец, с фантастическими скоростями и феерией дымных лиловых огней, с заводскими кирпичными корпусами и толпами демонстрантов под знаменами и транспарантами, эта жизнь привлекала к себе, хотя и была для чужого, случайного взгляда туманной, неясной: в ней не так-то легко постороннему разобраться. Но он, Ушаков, о простом не хотел бы и думать: зачем утруждать жеванием жвачки? На бесчисленные вопросы бесчисленны и ответы. И разве не здесь, не в этой стране родились стихи:

За ночь вьюнок обвился
Вкруг бадьи моего колодца...
У соседа-воды возьму!

Ушаков почему-то тревожно вздохнул.

Может быть, виною тому была размазанная облаками оранжевая луна и орехово-серые домики, лепящиеся по уступам гор, или море, не спящее где-то рядом с железной дорогой, только он вдруг поймал себя на одной странной мысли, что счастье придумано людьми лишь как самое быстрое и доступное всем утешение. А на самом-то деле его не было никогда, нет и не будет, как нет бога на небе, как в реке нет русалок, как нет лешего в глухой чаще леса.

«В самом деле, действительно, — думал он. — Разве может существовать на земле что-то очень расплывчатое, нематериальное, никогда не увиденное в настоящем, а всегда только где-то в прошедшем... и всегда неустойчивое, уходящее, ускользающее, оставляющее после себя лишь одно сожаление, или боль, или чувство утраты? Почему никогда, никаким заклинанием, даже фаустовским «Остановись!» его не поймать, не увидеть в лицо? Не имея ни цвета, ни формы, ни вкуса, ни запаха, чем же все-таки оно привлекает и заманивает тебя? Что же это такое? И кто скажет: зачем я верю в него и всегда буду верить?»

Ушаков стиснул голову кулаками.

Он представил себя молодого и тот вечер с Катюшей Насоновой в деревенской избе.

Отгороженная от хозяйской светелки невысокою перегородкой, их маленькая комнатка была полна шорохов, шепота, плеска: это шел, а вернее сказать, равномерно, размеренно лился непрерывным потоком хмурый дождь. Как огромная серая кошка, на рассвете он рылся в прогнившей соломе на крыше, прыгал в желтой траве на тропинке, разливался большой черной лужей, питая и шевеля уже пересохшие стебли растений.

— Расскажи о себе, — просил Ушаков, в темноте обнимая Катюшу одной рукой, а другою, свободной, чуть приглаживая ее рыжеватые брови.

— О себе?.. Разве это уж так интересно сейчас? — говорила она. И вдруг вспоминала: — Да, правее Сурганова тоже зенитки. Когда возвращаешься, нужно их обходить... Ты боишься, когда нужно прыгать во тьму с парашютом? Я ужасно боюсь! Мне кажется, прыгну — и прямо в болото, а там жабы, лягушки...

— И еще комары, — добавлял Ушаков.

— Да, еще комары... Я их тоже боюсь!

Ушаков тогда от души посмеялся над страхами Кати, а сам ночью подумал: «Хорошо бы так жить на земле, чтобы страшными были одни только лягушки. Все другое на свете не должно пугать человека, только радовать, приносить ему счастье: небо, воздух, зеленые травы, цветы...»

Он не знал, что всего через несколько лет после победы небо снова будет грозить самолетами, но уже пролетающими на такой высоте, что с земли их не видно и даже не слышно, что трава, и цветы, и вода из колодца, и рыба, и молоко, и сам воздух огромной планеты будут молча таить в себе смерть для всех, белый яд радиации, — что такое зенитки Сурганова по сравнению с ним?!

Ушаков, отодвинув тяжелую штору, до рассвета глядел на взлетающие над городом грозды реклам, на химические заводы с их башнями и суставчатыми переходами, на газгольдеры, на поля в тихой, утренней дымке, пока поезд не вполз в подземелье туннеля, проходящего под проливом, между островами Хонсю и Кюсю. Потом снова мелькали рыбацьи поселки, заливы в скалистых, изрезанных берегах, и луна все бледнела, бледнела, пока не растаяла, не исчезла совсем...

Но вот поезд вылетел на равнину, на свет, и столб жалеющего, сжигающего с утра, слепящего солнца ввалился в вагон, расчертил полосами постели Георгия Ивановича, Васюты и Ушакова. Все вокруг загорелось, зажглось миллионами огоньков — стекла ламп, никель поручней, даже пуговицы и стаканы. В его желтоватом пронзительном блеске тают дымные очертания порта, сверкает ячейками рябь на воде, мягко плавают в золоте серовато-коричневые конические вершины гор, поросшие лесом. Груды маленьких двухэтажных домов под рифлеными крышами, трубы, мачты, подъемные краны, современные здания из стекла и бетона — все горячее, яркое, знойное, незнакомое.

У подножия гор, словно в сомкнутых крепких ладонях, в красно-розовой пене цветов — Нагасаки...

14

Хорошо вечерами стоять у окна и смотреть с высоты на туманную, голубую Москву, на зажженные окна по всему переулку, такие лиловые, синие в сырых мартовских сумерках.

Море крыш, море стен, флюгеров, угловатых древних

башенок, закопченных фронтонов, коньков и похожих на католические распятия телевизионных антенн. Левее за ними, по самому горизонту, — темно-серая, строгая на фоне сурового предвесеннего неба литая громадина университета, летящая в небо, как распластанный самолет. Правее — кварталы крупноблочных домов и высокие, стройные башни Новодевичьего монастыря, купола и ажурные звонницы: город-чудо, город-фантазия, наша русская сказка, некрополь...

Я еще не привыкла к пейзажу, лежащему за окном, но мне нравятся эти березки, газоны, а дальше за ними старинные тупички, эти улочки, переулки: Олсуфьевские, Оболенские, Языковские, Пуговишниковы, Трубецкие, с забытыми временем особнячками, с кирпичными фабричками, освещенными мертвенным светом ртутных ламп. Здесь так остро и нежно пахнет снегом и темной корою деревьев и так грубы и замкнуты лица у живущих здесь стариков и старух, что хочется плакать...

Я хожу на все выставки, но не вижу картины, которую можно было бы назвать так: «Одиночество старости».

Вижу темные переулки и синие тени подъездов. И стоящих безмолвными группами черных старух, молчаливых, расплывшихся, в полинялых платках. Их широкие лица морщинисты, желты, а костистые плечи печально опущены под тяжестью лет и труда. А растоптанные башмаки исходят взад-вперед от плиты до стола расстояние, равное пути от Земли до Луны...

Эти женщины глядят мне вслед очень хмурым, иногда равнодушным, долгим, выцветшим взглядом.

Их тяжелые грубые в саדיнах руки жили в мире простых, но единственно важных на свете вещей: хлеб, дрова, молоко, пеленки, корыто.

Человечество, улетаая к мирам своих звездных снов, должно помнить не что-нибудь — эти руки.

Меня трогает до тумана в глазах совершенный пустяк: когда где-нибудь в магазине или в плотно набитом троллейбусе молодой, полный сил человек пропускает впереди себя не нарядно одетую девушку с модной милой прической, а такую вот грузную, в темном мятом платке, некрасивую, злую старуху, от растерянности позабывшую поблагодарить.

Этот жест его украшает.

Он делает трепетным весь этот миг, наполняет его неожиданным и красивым значением. Потому, что любить лю-

дей на словах — это значит одно, а любить их на деле — это нечто другое. Ведь люди-то разные и, конечно, не ангелы, и легко любить тех, кто достоин любви. Это старая песня. Вы, наверное, помните Гейне: «Но он не был достоин любви, и она не любила его...»?

Как ни странно, но тот, кто любви недостоин, тоже чувствует, понимает: он живой человек. Он вообще Человек, даже если он неуклюж, и рассеян, и жалок или, что еще хуже, бессмысленно груб. Оттого, что он так беспросветно угрюм, так безвкусно одет, может, ты виноват? Или я?.. Или кто-нибудь другой, неизвестный нам третий?..

Я иду по булыжникам темного переулка, мимо теней в подъездах. На старухах распахнутые изношенные пальто. Эти старые женщины смотрят мне вслед равнодушными светлыми исплаканными глазами.

Как сказать им, что я их люблю?

15

Солнце бьет сквозь пластинчатые жалюзи так, что больно глазам. За окнами порт: сотни разных судов, сухогрузов и танкеров, сотни яхт и моторок, катеров и рыбацких увертливых кавасаки, визги, вопли и скрежет машин, поднимающих и перетаскивающих с места на место тяжелые грузы. Словно стаи огромных, неведомых птиц — железные скопища длинноклювых подъемников.

Нагасаки вообще живет куда более шумной и радостной жизнью, чем Хиросима, так, по крайней мере, решил Ушаков, ослепленный и оглушенный морем, солнцем и яркостью южного города.

По улицам мчатся автобусы, переполненные туристами, падают матросы с английских, американских, французских, канадских и австралийских судов, рыбаки везут с моря свой трепещущий скользкий товар, в стеклянных многоэтажных «депато» и крытых пассажах спует пестрая, разношерстная публика — и те, кто может купить жемчуг, изделия из черпахи, транзисторы, драгоценный фарфор, и те, кто в часы распродажи толпится возле прилавков, чтобы выкопать из-под груды тряпья что-то пужное, недорогое, а в прочее время лишь любуется всеми этими разложенными и выставленными товарами: цветастыми зонтиками, веерами, нарядными кимоно, чудесными куклами, обезьянками с золотистой расчесанной шерсткой, игрушками с электронным устройством.

Два бога — Торговли и Моря — парят над лежащим внизу доверчивым городом, разглядывая его с той же самой удобной для прицеливания высоты, с которой 9 августа 1945 года бросил бомбу старательный, аккуратный американский убийца. Выше них — только солнце, «свирепейшее из солнц», как сказал бы Васюта Антонов.

Ушаков поднимался по узеньким каменистым обесцвеченным жарким полднем экзотическим улицам города и думал о том, что здесь, в Нагасаки, наверное, даже самая сильная скорбь теряется и бледнеет, потому что ее вытесняют дела. Суэта выжигает, наверно, сердце, как жара эту твердую, каменистую землю.

— А что? Деньги не помнят! — заметил Георгий Иванович, шедший рядом и думавший, видимо, тоже о том же. — Вернее, банкноты. Медный грош еще помнит войну и будет всегда ее помнить. А большие купюры запомнили, что Америка была им врагом, а потом оккупантом... Теперь она только добрый союзник, богатый сосед, которому можно продать и напалм, и военное снаряжение для войны во Вьетнаме... У Америки здесь, в Нагасаки, военная база. Смешно? Парадокс? А, наверное, нет... Просто деньги не помнят! — повторил он опять свою первую фразу.

На траурной церемонии, возлагая венок, Ушаков с волнением слушал звон колоколов, плывущий над городом; их печальные металлические голоса повторяли медлительно, с горечью: «Помни... Помни!..» Да, он помнил об этом. Миллионы людей, в том числе миллионы советских солдат, сражались за мир, за вот это просторное, чистое небо. Разве можно об этом не помнить?

Весь день Ушаков находился под властью щемяще-печального колокольного звона и был переполнен суровостью собственных воспоминаний, поэтому для него неожиданно странным показался вопрос Васюты Антонова:

— Ты слышал о мадам Баттерфляй?

— Да. А ты это к чему?

— Сейчас мы поедем посмотреть ее дом. Ты, конечно, поедешь?

Ушаков с обреченным, растерянным видом лишь только развел широко руками:

— А что делать? Конечно, поеду... Домик, где жила Чио-Чио-Сан... Туфли Золушки... Ступа Бабы-Яги. Поэзия, сказка, а сколько долларов за вход?

Но там, на холме, где стоял деревянный, построенный

в старом стиле, с раздвижными стенами и окнами дом, пропахший сандалом и запахами цветов, Ушаков отделился от группы, внимательно слушавшей гида, и долго стоял один, глядя на город, лежащий внизу, и на бухту, «красивейшую из бухт», если вспомнить слова все того же Антонова, на мягкие линии отдаленных, дрожащих в нагретом струящемся воздухе гор. Он так и не слышал, действительно ли существовала мадам Баттерфляй на земле, или все это вымысел, только легенда. Но, по счастью, и горы, и море, и бухта, которую бороздили суда с ее бледно-зеленой, то серой, а то изумрудной водой, отливающей серебром, когда ветер рябил ее и гнал против солнца, в самом деле существовали в природе. И вот это-то и утешало, это было естественно и прекрасно.

Город нравился Ушакову, он словно что-то ему обещал, какую-то радость, а может быть, встречу. И он с благодарностью запоминал его солнечный, праздничный облик.

Они оба с Антоновым побродили по саду, то и дело оборачиваясь на дом — умели же в старину строить так, что и ветер и море — все рядом, и все с высоты, и все окрыляет ощущением простора, — и пошли вниз по улице, мощенной камнями, мимо строгих, почти неприступных оград и прячущихся в гуще деревьев домов сэтльмента.

Автобус стоял на самом солнцепеке, но внутри него было прохладно. Они сели, усталые, тяжело отдуваясь, ослабили узлы галстуков.

— Молодцы японцы! Умеют работать, — сказал Ушаков и потрогал сиденье и подлокотники. Все вокруг было сделано элегантно, добротно и сияло почти хирургической чистотой.

— Да, они молодцы, я рад, что ты это заметил...

Провожая глазами японку в светлом шелковом кимоно, с привязанным за спиною ребенком, Ушаков кивнул головой в ее сторону.

— Вот и это мне нравится тоже, — сказал Ушаков. — Все делают на свой лад, не оглядываются ни на кого. Отработал на службе — европейское платье долой, скорей кимоно, нарядное оби и гэта, и низкие столики, и цветы, и чайная церемония...

— Вот не знал за тобою приверженности к старине! — заметил Васюта.

— А я и сам за собою не знал, пока не поездил и не увидел, как люди везде свое отчее берегут... Сюда ехать

собрался, пошел поискать сувениры, не бапальных матрешек, а что-нибудь подороже, получше, ну, хотя бы хваленые русские полотенца, расшитые петухами. Так все магазины обегал, нигде не нашел. А, кажется, чего проще! Сестру свою умолял, она у меня замечательная мастерица, — пожалуйста, вышей. Так нет, говорит, и холста не найду, и рисунка, и ниток...

С холма по выстланной камнем дороге спускались отставшие иностранные делегаты во главе с гидом, пожилым, сухощавым, морщинистым человеком в защитных очках. Он рассказывал что-то весело, оживленно, а они его очень внимательно слушали. Потом, попрощавшись с ним, все толпой повернулись к киоскам, стоящим рядами по площади вдоль дороги, — покупать веера и раскрашенных кукол, изделия из ракушек, фигурки рыбаков и рыбаков в соломенных шляпах, заколки и гребни из черепахи.

Георгий Иванович пришел с куклой в руках, положил ее рядом с собой на сиденье, отер лоб платком.

— Повезу своей внучке, — сказал он, отдуваясь. — Присла японочку ей привезти...

Ушаков и Антопов только коротко переглянулись.

16

Митинг был назначен в большом спортивном зале, вмещавшем, наверное, тысяч пять человек. Еще издали, из автобуса, можно было увидеть колонны людей, направляющихся к месту сбора под знаменами, с лозунгами, написанными на белой материи, с плакатами, прикрепленными на груди, с перевязями через плечо и на лбу: и мужчины и женщины — все в исписанных иероглифами призывов белых платочках.

Ушаков это с детства любил, он с этим родился, с этим вырос: колонны людей и знамена на Октябрьские праздники или на Первое мая. Он не мыслил себя без веселого единения многих сотен и тысяч людей, без улыбок, без марша и духового оркестра, без воздушных шаров и сияющих ребятишек на плечах у отцов. Но не знал и не видел полицейских, стоящих цепями, вертолетов, парящих над городом, равнодушных, а то и презрительных лиц пассажиров, проезжающих мимо в роскошных, сверкающих лаком машинах, — это грозное противостояние двух общественных сил, шум и выкрики, рев клаксонов, визжание тормозов...

Иностранные делегаты проходили по залу под грохот несмолкающих аплодисментов. Потом, когда всех их, вошедших, по очереди представляли участникам митинга, называя страну и каждого делегата по имени, Ушаков испытал ни с чем не сравнимое чувство гордости за Советский Союз. Он склонил седоватую голову перед этими вставшими со своих мест незнакомыми, но такими понятными, близкими, дорогими людьми, полный братской любви и того настоящего, верного чувства, что в бою, в наступлении зовут чувством локтя.

Почему-то ему в этот миг припомнились Польша, Венгрия, Чехословакия — все те страны, которые он прошел как солдат со своими десанниками.

В Лодзи снег был слепящим, он только что выпал, и солнце его осветило миллионами искр, а красные флаги на крышах носились, как птицы, по ветру и хлопали красными крыльями.

В Праге танки проехали по цветам. У солдат на пилотках были только невыцветшие пятиугольнички, так как звездочки они раздали на память обнимавшим и целовавшим их веселым пражанам.

Ушаков тогда и не знал, что каждая его пуля, попавшая в цель, каждый бой, будь то в декабре сорок первого года под Москвой или где-нибудь под Будапештом, крепко сложатся не в одну только великую майскую нашу победу, но и в эти громовые аплодисменты на митинге в жарком городе далеко от Москвы. Мир сегодняшний был защищен там, хотя бы и под Ненашевом, впрочем, и под Орлом или где-нибудь под Смоленском.

Он глядел на людей, пожимающих ему крепко руки, на улыбки, на темные лица рабочих. Нет, и здесь, в Нагасаки, смерть от атомной бомы несколько не отличалась от смерти от атомной бомбы в Хиросиме, и прощения не было: в суете, за делами, ничто не забыто.

Митинг шел уже третий час, а на трибуну поднимались все новые и новые ораторы. В жарком воздухе, накаленном страстями, уже нечем дышать. Зал скандировал:

— Мир Вьетнаму!

— Американцы, убирайтесь домой!

— Янки, прочь с Окинав!

— Запретить атомную и водородную бомбы!

И опять, как в Хиросиме, свет нацеленных прожекторов и суровая песня — зал поет ее стоя, — а на лицах людей

чувство радости, понимания, без которого не важны ни любовь, ни удача, ни здоровье, ни деньги...

— Вася, здорово! — улучив момент, шепнул Ушаков Васюте Антонову. — Мне это нравится!

— Да, мне тоже, старик...

— Ты знаешь, я себе представлял это как-то иначе...

Они, стоя, громко били в ладоши вместе со всеми.

— Да, — заметил Антонов. — Плохо только одно: тот, кто держит пальцы на кнопке, не ездит на мирные конференции...

— Ничего... Этот шум сквозь стены пройдет. Каждый голос когда-нибудь да отзовется!

Выйдя на улицу после митинга, Ушаков удивился, что здесь все так же пылает огромное жаркое солнце, пешеходы спуют по узеньким тротуарам взад-вперед, подобные муравьям, каждый с маленькой своей ношей, пролетают роскошные автомобили, мчатся с рыжими, красными и зелеными крышами проныры такси. И вдруг голос знакомый, щебечущий, столь неожиданный и совсем без акцента:

— Николай Николаевич!.. Коннити-ва!¹

— Ито-сан! Вы откуда здесь, в Нагасаки?

— Приезжала на митинг с делегацией от Хиросимы...

Да, действительно, перед ним в белой кофточке, в темной юбке Юкико, улыбающаяся, молодая. Ее черные узкие сияющие глаза были словно омыты, они тоже смеялись.

— Как я рада, что опять увидела вас... Я боялась, что вы после митинга сразу уедете...

В шумной пестрой толпе расходящихся с митинга они плотно притиснуты на мгновение друг к другу.

— Эх, а меня уже ждут. — Ушаков обернулся, ища взглядом товарищей.

— Меня тоже. Мы тоже сейчас все уедем. Но я очень хотела увидеть вас и вручить вам на память вот это. — Юкико сняла с себя медальон на простой металлической темной цепочке. На одной его стороне был оттиснут совсем крошечный бронзовый вепрь, на другой — тоже маленький — Будда. — Это можно надеть, как брелок, на ключи, — пояснила Юкико.

— Да, спасибо... Большое спасибо! — сказал Ушаков. — Ну, Будду я знаю. — Он держал медальон на ладони. — Нас с ним познакомили в монастыре. А кто этот зверь? Что он означает?

¹ Здравствуйте (яп.).

— А это свинья. Она означает, что я родилась — по нашему календарю — в год свиньи, или вепря... А поэтому, по поверью, и характер мой должен быть очень настойчивым, я должна идти в жизни во всем напролом...

— И вы думаете, вы способны на это? — спросил Ушаков, держа ее тонкие пальцы в своей, в крупных шрамах руке. — Я что-то не верю...

— Представьте, я тоже... — сказала она, легко отняв руку, и, открыв свою черную лаковую сумочку, достала платок. — Это только я с вами такая отважная!

— Вы прелесть, Юкико... — сказал Ушаков. — Я запомню все наши чудесные встречи...

— До свидания, мне надо спешить, Николай Николаевич! Саёпара!

— До свидания, Юкико-сан, до встречи! Спасибо за вепря...

Но Юкико Ито уже скрылась в толпе.

Ушаков поспешил на стоянку, к автобусу, но там никого не нашел — ни Антонова, ни Георгия Ивановича, ни других делегатов. Он прошелся по площади, хорошо понимая, что сам виноват, опоздал, и расстроился, огорчился таким происшествием.

— Простите, пожалуйста. Чем могу вам помочь? — В толпе к Ушакову подошел человек средних лет, в строгом темном костюме. Разговаривал он по-английски. — Вам нужно в гостиницу?

— Да. Я чуть задержался и, видимо, опоздал...

— Прошу вас, садитесь...

Они подошли к полицейской машине.

Человек открыл дверцу, сперва пропустил Ушакова, потом сел сам и что-то сказал по-японски шоферу.

Они быстро помчались по улицам города, все еще переполненным расходящимися колоннами, многочисленными автобусами и легковыми, развозившими участников митинга.

— На всем ездил, — сказал Ушаков человеку, сидящему рядом. — На осле. На верблюде. На танке. Когда был ранен однажды во время войны, меня вывозили на упряжке собак. А вот в полицейской машине путешествую в первый раз. Рассказать кому-нибудь, так не поверят!

Его спутник расхохотался, обнажив широкие, желтые зубы.

— Ничего, ничего! — сказал он. — Для вас это не страшно.

Они быстро свернули какими-то переулками, проскочили

через трамвайные рельсы почти под носом у трамвая и встали у подъезда отеля.

— Приехали...

— Очень тронут. Большое спасибо!— Ушаков крепко пожал руку своему спутнику.— Очень вам благодарен.

— Не стоит, пожа-жару-ста,— тот ответил по-русски, но раздельно, с усилием.— До свидания, Москва!

— До свидания, Нагасаки!— сказал Ушаков.

Он поднялся на лифте к себе, на пятый этаж, в номер, удивляясь сегодняшней встрече с Юкико и этому странному путешествию в полицейской машине. Оно насмешило его, привело в отличное настроение: смотри-ка ты, полицейский агент — а и тот изучает его родной русский язык, это что-нибудь да значит!

Поздно вечером, когда солнце садилось за горы, Ушаков сидел в одиночестве в стеклянном кубическом ресторане и с большим сожалением думал о том, что уже никогда не вернется в этот жаркий и душный тропический город.

Он глядел на закат, на кварталы домов, на темнеющие в густой синеве лачужки окраин и думал о доверчивой беззащитности современного города: например, Нагасаки опять разрастается после той беспощадной, жестокой бомбежки, и опять ему некуда деться от неба, нависающего над ним и таящего в себе след, подобный келоиду,— путь военного самолета.

Подошедший Антонов помешал ему повернуть свою мысль так и эдак и развить ее дальше. Васюта рухнул в кресло, стоящее рядом, и вытер платком мокрый лоб.

— Уф... Устал!— тяжело выдохнул он.— Ты чего это, словно горный орел на вершине, глядишь на других с высоты?

— Так... Георгий Иванович на приеме. Ты — в бегах...

— И чем же ты тут занимаешься?

— Утопизмом.

— И чего утопил?

— Все снаряды, все ракеты, все пушки и бомбы...

— Ну?! И все предрассудки? — заметил Антонов.

— Нет, этого, видимо, не утопить никому.

— Мне сейчас только что объяснили,— Антонов придвинулся к Ушакову, налил себе пива в длинный тонкий бокал,— что не разум сближает или разъединяет людей, не сила рассудка, а сила традиций и предрассудков. Каково, а? Железная логика!

Ушаков не ответил. Он смотрел на темнеющий в сумерках город. Там сейчас разгорался и прыгал искусственный свет, очень яркий и пестрый, но совсем не сравнимый с блистанием заката на розовом, голубом и темно-лиловом торжественном небе.

Среди разгорающихся электрических облачков и скопленных, шевелящихся там, внизу, он заметил и еле горящие, совершенно микроскопические отдельные огоньки, разбросанные по горным отрогам. Это, видимо, были окна хижин портовых рабочих и рыбаков, затерянные по оврагам и влажным низинам, в гуще темных деревьев.

«Интересно, чем живут эти люди? Какими надеждами? — думал он, подперев рукой подбородок и машинально жужу погасшую сигарету. — Неужели одним только древним инстинктом продлить собственный род? И стремлением не погибнуть в войне? А каким будет мир, это их беспокоит, волнует? Ну, а если война? В кого они будут стрелять, с кем пойдут?.. Как сильны их традиции, предрассудки?»

Подошел улыбающийся, раскрасневшийся от быстрой ходьбы Георгий Иванович в ослепительно белой рубашке, наглаженный, по-спортивному бодрый, подтянутый...

— Что, товарищи? — спросил он, садясь рядом в свободное кресло и знаком подзывая официанта. — Вас, я вижу, водою не разольешь...

— А вы попробуйте пивом, — предложил Ушаков.

— Или лучше сакэ... — покосился на шефа Антонов.

— Нет, — сказал Ушаков, — для сакэ слишком жарко...

— Ну вот, — сказал шеф, — завтра раненько уезжаем. Наша миссия выполнена, мы свое дело сделали.

— Что ж... Отлично!

— Да. Теперь на душе у меня чуть-чуть поспокойней. Хотя в Токио нам еще предстоит поработать.

Это был привычный, не требующий напряжения разговор, обязательный после насыщенного впечатлениями тяжелого дня работы, нечто вроде зарядки аккумуляторов: о деле, о пустяках, о городе, о погоде. И опять о работе...

Ушаков не участвовал в разговоре: он подумал вдруг о Юкико-сан. С ней его разделяет куда большее, чем предрассудки: страны, армии, партии, взгляды, даже возраст, наконец, расстояние... Эта женщина — не игрушка, он не должен о ней больше думать. Пусть проходит своею дорогой. Хорошо, что все кончено. Завтра утром — прощай, Нагасаки! И — в поезд. А надежды, возникшие так неожиданно

здесь, на выжженной атомной бомбой земле, пусть останутся только надеждами.

— Тебе пива налить? — спросил Ушакова Антонов.

— Нет, не надо! Спасибо. Просто так посижу, отдохну...

17

Разные бывали осени в моей жизни. Были веселые и печальные, были ничем не приметные, монотонные... Они проходили однообразно, как серые облака над серой равниной, не оставляя ни единого солнечного лучика в моей памяти.

Но был и чудесный, веселый сентябрь, возле жаркого моря, овеванного ветрами, и лодка под парусом, и камни — на Тонком и Толстом мысу, нагретые, словно сковороды, на которых нас солнце поджаривало со всех сторон.

А потом довелось мне попасть на Кубань, — но не в самое лучшее время. Ветер выл над уже побуревшей, пустынной землей, дождь хлестал по крыльцу, обрывал обожженные холодом листья с ползущего по стене винограда.

Я спала на полу, на соломе, накрытой поблекшей, изношенной плащ-палаткой. Рядом с ложем, на крашенной синькой стене, было нечто вроде ковра — полоска обоей бумаги, прибитая сапожными гвоздями. И под каждым гвоздем — в несколько раз сложенные обрывки календаря. Ложась спать поздно вечером и утром, просыпаясь на скудном, холодном рассвете, я невольно читала одни и те же короткие строчки, уходящие прямо под шляпку гвоздя: «Куплю любовь, купл... А где найдете вы тог...»

Это было смешно, непонятно. В самом деле, зачем же любовь покупать, когда она мне отдана человеком так щедро, с размахом, без всякой корысти?

В день отъезда мой взгляд упал снова на гвоздь, прикрывающий тайну, на свернутый под ним вчетверо пожелтевший листок. Что они означают, эти слова?

Мой товарищ сказал:

— Нет, нельзя уезжать, не узнав, что написано дальше. Это будет нас мучить всю жизнь...

Гвоздь был вытащен, а бумажка расправлена.

Мы на ней прочитали:

Куплю любовь, куплю любовь, — иные говорят...

А где найдете вы того, кто вам продаст любовь?

Продам разлуку! Продаю — иные говорят.

А где найдете вы того, кто бы ее купил?

*Любовь, разлука — не товар, чтоб ими торговать,
И если полюбил — навек, расстался — навсегда...*

Прошло много лет с той осени, а я все никак не забуду те строчки стихов: я все так же люблю, с той же щедростью, до конца бескорыстно. И мне кажется, нет и не может быть ничего, что могло бы нас разлучить, разделить, отнести, оторвать друг от друга. Мне теперь не страшны ни бураны, ни тучи, несущие дождь, ветер, срывающий листья с деревьев, ни скука, ни пошлость...

Доверие, верность, надежда на счастье, разве их покупаешь? Они словно воздух...

18

Если бы можно было и жизнь свою пересмотреть в обратном порядке, от сегодняшних дней до истоков, как пейзаж за окном от Симоносеки до Токио, Ушаков просидел бы без сна и весь день, и всю ночь. Но жизнь уходила, отслаиваясь ежедневно тяжелыми илистыми пластами, и всего пережитого теперь уже и с усилием не перевернуть, не увидеть песчаного дна с веселыми камушками...

Ушаков глядел в окно, на поля и деревни, и обдумывал их по-своему, на собственный лад.

Вот женщина на пороге в светлом пестреньком кимоно. Наверно, ждет мужа. Есть что-то устойчивое, надежное в таких женщинах на пороге, думал он, заслоняясь рукою от солнца. Наш безжалостный век почти истребил это племя — ожидающих женщин. Нынче некогда ждать, да и незачем: безопасность движения поездов и надежность полетов по строгому расписанию обесценили вздохи. Но, скажите, кому не приятно, когда тебя женщина ждет! На столе — ослепительной белизны крахмальная скатерть, два прибора, две рюмки, в вазе — красные гладиолусы, почти точно такие же, как в ресторане в Хиросиме, только с длинным, почти стреловидным серебряным стеблем, цветы безуханные, но зато какой аромат источают кастрюли под плотными крышками! Нет, в старинном священном обряде такой встречи все же есть «рацзерно», как сказал бы Васюта Антонов. Только некому ждать... Вот в чем дело! И некому срезать цветы и зажать под кастрюлей синий венчик горелки...

Как он плакал о Кате в горах, у костра, в одиночестве, иззябший, промокший до нитки! Вспоминал, как она улыбалась, как пела, сидя вечером на подоконнике, свесив ноги

в собачьих унтах, как варила картошку. «А что, я старательной буду женой. Я всему научусь... Для тебя мне будет приятно делать любую работу...» А он отвечал: «Хорошо, мой солдатик, но только картошку, чур, всегда буду чистить я. Ты, паверно, по кухне никогда не дневалила?» — «А что, сразу заметно, что белая кость?» — «Да, заметно». — «Ничего, зато я стреляю в полку лучше всех...»

Поезд мчался равнинами, малахитово-золотыми от солнца, дробящегося на воде среди рисовых стебельков. После светлых заливов и бухт, отражающих блеск лучей, темнота и угрюмость туннелей почему-то пугали своей бесконечностью.

Он ходил от окна к окну, по вагону, курил в тамбуре и снова возвращался в купе, молчаливый и замкнутый, слушал, как Васюта Антонов рассказывает анекдоты.

— Звонок в милицию в три часа ночи. Там снимают трубку: «Дежурный слушает». — «Вы знаете, Каин убил Авеля». — «Ничего не трогайте, сейчас приедем»...

— Не смешно, — сказал Ушаков, повернувшись к нему.

— Зато верно.

«Что верно, то верно. На земле много Каинов. Но много и Авелей. Всех не убьют», — размышлял Ушаков.

Поздно вечером, когда половина вагона уснула, Антонов заерзал на полке, сполз с постели, пошел вымыл руки.

— Пойдем, — сказал он Ушакову, — в ресторан. Чайку похлебаем от скуки. А то не уснешь.

— Не хочу. Очень жарко.

— Ну, смотри. А напрасно!

— Да нет, Вася, спасибо.

Вернулся Антонов в вагон через час, и так вкусно вздыхал и облизывал губы, и с таким удовольствием закурил, что лежавший на плоской подушке Ушаков заворочался.

— Чем кормили?

— Бифштексом... — протянул Антонов, блаженствуя, дымя сигаретой.

— А еще?

— Еще пиво-ом...

— Гм...

— Такой, понимаешь, кусина... И «Саппоро», прямо из холодильника!

— Черт возьми... Соблазнительно!

— Говорил же ведь, звал... А ты упирался...

— Ну, так что ж теперь делать?!

— Как что делать? Пойти!

— Одному? Это скучно, а ты уже сыт... Может быть, повторись?

— Да нет уж, спасибо. Надо вовремя было думать. Вот, может быть, с шефом? — предложил переводчик. — Как, шеф, пойдете поужинать?

— Нет, я ложусь спать, — ответил Георгий Иванович. Он тоже сегодня, по-видимому, затосковал по детям, по дому. — Съел рису из бенто¹, наверное, достаточно.

— Как хотите... — сказал Ушаков. — Потом пожалеете, вроде меня!

И он, соблазненный видением бифштекса, отправился по качающимся и как бы нарочно увертывающимся из-под ног гремящим вагонам в вагон-ресторан, распахивая и захлопывая на ходу тяжелые двери.

19

В ресторане от быстрого хода поезда все прыгало и качалось. Позвякивали приборы. Поблескивала в графинах вода. За окном проносились огни, вытягиваясь в сплошную серебряную полосу.

Ушаков сел за столик, только что прибранный, и с волнением оглянулся. Он любил уже этот рассеянный разноразличный, но как бы сливающийся в одно целое разговор. Здесь были французы, канадцы, англичане, индийцы, цейлонцы, японцы — из знакомых ему участников конференции, тоже едущих в Токио, — и какие-то молодые, совсем незнакомые пары, две-три группы дельцов, студенты, красивая пожилая японка, седая, в очках. Она женственно улыбалась своему суховатому, с неприятною миной соседу.

Ушаков заказал ужин и уже отпил пива, когда дверь отворилась, и в вагон-ресторан вошли двое — оба рослые, рыжеволосые, молодые, с чуть отвислыми, словно под тяжестью автоматов, плечами. Они были в защитного цвета рубашках с разноцветными планками орденов на широкой груди.

Вошедших увидели все, и все сделали вид, что не заметили их, оживленнее заговорили.

«Ну-ну! — сказал про себя Ушаков, провожая вошедших глазами. — Вот так встреча!»

¹ Бенто — лубяная коробочка, в которую кладут завтрак, уходя на работу: рис, морскую капусту и т. д. (яп.).

Он низко склонился над тарелкой, когда эти двое, увидев свободный и прибранный столик и сидящего в одиночестве Ушакова, подошли, и один, самый рослый и рыжий, жестом попросил разрешения сесть.

Ушаков неохотно кивнул.

Парни сели, натянутые, осторожные, и быстро переглянулись. Вероятней всего, их смутил желто-черный канадский значок против атомной бомбы на лацкане пиджака Ушакова — дар Эрика «русскому ветерану». Они долго рассматривали его, пытаясь прочесть идущую вкруговую неясную надпись.

— Do you speak English?¹ — спросил один из них, обращаясь к Ушакову и přátельски улыбаясь.

Ушаков отрицательно покачал головой.

Тот смущенно, пеловко пожал плечами.

Они быстро заговорили между собой о том, что им брать на ужин, окликнули официантку. Та тотчас же принесла два бифштекса и две бутылки прозрачного, светлого «Санпоро».

— Хорошее у них пиво, — сказал один, сидящий напротив, пригубливая бокал и медленно втягивая в себя золотистую ароматную жидкость.

— Да, этого у них не отнять, — ответил другой, сосед Ушакова.

Николай Николаевич отвернулся и глянул в окно. Хорошая, черт возьми, фраза! Наверное, лучшей и не придумаешь, хоть думай всю жизнь. Вся их логика здесь, и личная и государственная, и все понимание мира и весь смысл отношений с другими людьми. Уж чего-чего, а отнимать у других все лучшее они ловко умеют!..

Нет, парень, видать, и сам не понял того, что сказал!

Он глядел на их длинные, с вытянутыми подбородками, мясистые лица, на руки в веснушках, удивляясь тому, что в них так до обидного все понятно и просто. Большерукие и большеногие, аккуратные, чистые, потягивающие не спеша свое светлое пиво, они вовсе не походили на мучителей и убийц. Нет, действительно, ничего в них злодейского не было, просто добрые, благовоспитанные, с детства закормленные витаминами, здоровенные парни. А ведь кто-то из них жег деревни напалмом, убивал, убивал... А иначе за что же тогда ордена?

¹ Говорите ли вы по-английски? (англ.).

Он сидел рядом с ними плечом к плечу, ел такой же бифштекс, пил такое же пиво, которое принесла ему та же самая официантка, но не мог не смотреть и не думать об их орденах. Да, в общем итоге все в жизни определялось вот этим одним: в кого и зачем этот рыжий стрелял, за что ордена.

Ушаков отпил пива.

Он сейчас вдруг подумал, что девушка-официантка вполне могла быть участницей того митинга в Хиросиме против атомной бомбы и войны во Вьетнаме, а сейчас она вежливо улыбается, подавая двум этим убийцам холодное, свежее «Саппоро», и приветливо кланяется, разменивая их доллары при расплате: «Сэнк ю... Сэнк ю...» По-английски, не японски, чтобы поняли сразу всю ее бесконечную благодарность.

Сложен мир.

И запутан.

Самими людьми. Наверное, из желания поскорей разобратся...

Поезд мчался, едва останавливаясь на минуту у длинных, уставленных магазинчиками перронов, мелькали фигуры входящих и выходящих, потом опять слышались грохот и лязг колес и сцеплений, басовитые, длинные, рождающие чувство тревоги гудки перед вылетом из туннелей.

Ушаков закурил сигарету.

Он глянул в окно, чтоб не видеть сидящих с ним рядом, но в черной, почти лакированной, скользкой поверхности стекла опять увидел и себя, и парней в военных рубашках с разноцветными планками от орденов.

Расплатившись за ужин, американцы не спешили уйти. Они тоже торжественно, не спеша закурили, с улыбкой поглядывая на Ушакова: может быть, уже поняли, почему он молчит. Что такое молчание означает отнюдь не согласие с ними, а полнейшее неприятие их самих и всего, что относится к ним.

Но, однако же, несмотря ни на что, им хотелось общения с человеком.

Добродушие и самодовольство распирали им грудь.

Они жаждали счастья после сытной еды: улыбки, внимания со стороны Ушакова, их соседа по столику.

Что ж, он, Ушаков, возможно, и заговорил бы с ними, но бомба, затмившая небо в Хиросиме и в Нагасаки в сорок пятом году, к сожалению, была предназначена не только

для устрашения одних лишь японцев, она обещала ту же самую гибель, те же самые муки и многим другим, в том числе русским людям. Она разделяла...

Он вспомнил Германию в сорок пятом году, ледяную апрельскую мутную Эльбу и веселые, дружелюбные лица союзников.

От Эльбы — к Меконгу, какой длинный путь!

Докурив сигареты, сидящие за столом сотрапезники Ушакова встали разом, как будто бы по команде, и, бросив последний свой сожалеющий дружеский взгляд, пошли по проходу, высокие, добродушные, сытые, готовые тотчас же улыбнуться в ответ любой встречной улыбке и несколько удивленные, что ее не находят.

И тут Николай Николаевич почему-то смальчишничал.

Он кивнул молоденькой официантке и сказал по-английски достаточно громко:

— Принесите, пожалуйста, счет и кофе...

И встретил усмешкой их взгляд, растерянный, изумленный.

Выпив кофе, уже в одиночестве, в опустевшем вагоне, он глядел за окно, чуть покачиваясь в такт движению поезда. Там, за черным зеркальным стеклом, пробегала ночная, не спящая, фантастическая Япония, золотая, зеленая небольшая страна.

Разве он распознал за поездку, какая она? Нет, конечно. Скорее всего, как Юкико Ито: с келоидами на плече под шелковым кимоно.

Да, Юкико-сан непременно с солдатами бы заговорила и попробовала их убедить, а он почему-то не сделал такой попытки.

«Интересно, почему эти двое мне сейчас улыбались? — размышлял Ушаков. — А если бы они знали, что я коммунист?»

Сейчас за окном снег, мороз, а мне вспоминается мой родной город. Небольшие двухэтажные и трехэтажные домики, дворы в зарослях белой сирени, собаки, лошади, большой рыжий петух, распевающий по утрам в соседнем дворе, и я с ведрами иду на Кольцовскую к водоразборной колонке. Ведра очень большие, тяжелые, а руки мои еще тонкие, слабые, но я наливаю до самых краев и быстро иду назад,

к дому, и только у ворот останавливаюсь, даю отдых рукам. Вода ледяная, она густо выплескивается мне на ноги, растекается по земле, в теплой серой пыли тугими мохнатыми серыми шариками.

Нет, не часто я езжу на родину.

Но когда приезжаю, я подолгу стою над родной рекой. Тот же памятник Петру I в гуще темных деревьев, те же стаи грачей с криком носятся над домами, над прибрежной полосой запыленного и задымленного речного песка.

Там, где некогда было широкое поле, сейчас красновато поблескивают в свете позднего солнца широкие окна домов. Бурой, желтой, коричнево-серой спиралью поднимается дым от заводов и плывет над домами, над всем этим новым, промышленным Левобережьем, уже явно соперничающим со старым городом, изначальным, седым, привольно раскинувшимся по крутому правому берегу со своими садами, церквями и остатками древних зданий, и всем тем, что когда-то казалось мне самым важным и самым единственным, самым нужным на свете.

Нет, ведь это неправда, что мы живем в наших делах. Дела наши — книги, картины, распаханные поля и дымящие в небо заводы — отторгаются от нас с болью, с муками, навсегда, как только мы их завершаем, и живут своей собственной жизнью, как взрослые дети.

Разве можно связать в одно целое жизнерадостную, с летящей душой Наташу Ростову и хмурого старика, босого, седобородого, с колючим, пронзительным взглядом?

То, что сделано, пусть живет.

Нужно новое делать.

Нужны новые листья на ветках деревьев, и новые гнезда, и новые песни, да и взгляд, обращенный теперь на себя, тоже чем-то другой.

Я теперь уже знаю, что только лишь теплым дыханием можно истончить эту твердую, разделяющую нас стену — между мной и тобой, между нами и всеми людьми на земле, между странами и континентами, между нашей Землей и Луной, может, даже Вселенной...

Я хотела бы научиться теперь понимать даже птиц и зверей, даже травы, растущие при дороге, даже белую веточку месяца под окном: что мне скажут они о тебе, моя Родина?

Может быть, это так: война всякий раз возникает из жажды наживы финансовых заправил, всех этих королей стали, пушек и мыла, в то же время, возможно, это просто

известный предел экономики, когда хочешь не хочешь, а тобою выстреливают твои собственные капиталы.

Но тогда я еще и еще раз склоняюсь перед тобой, моя дорогая Отчизна, потому, что твоя экономика никогда не стреляет. Она строит и кормит, обувает и одевает — и растит хлеб и розы для каждого. Пока есть Советский Союз, пока есть моя армия, есть надежда на мир. Потому что рискнувший начать это первым непременно погибнет, потому что он будет наказан всей мощью, всем гневом, всей верой великой страны...

21

Океан с верхней палубы сер и морщинист, как шкура слона.

Ушаков, сидя в мокром шезлонге с увядшим цветком георгина в руке, улыбался. Цветок ему бросила Юкико-сан в Йокогаме, когда теплоход отвалил уже от причала и топкие, синие, красные, желтые и зеленые ленточки серпантин, переброшенные с берега на борт, означая последнюю связь провожающих с отплывающими, уже начали обрываться и падать в холодную, бурую, с нефтяными разводами воду. Он поймал цветок на лету и прижал на глазах у Юкико к губам. Что-то дрогнуло в его сердце, когда он увидел ее, молодую, красивую, очень грустную.

Потом Ушаков держал этот цветок то в кармане, а то в рукаве, так неловко было ему, пожилому мужчине, красоваться на людях со столь очевидным свидетельством собственной сентиментальности. Но когда теплоход наконец отвалил и пошел все дальше и дальше от берега, ему стало обидно от встречи, принесшей разлуку, и он осмелел и пошел одиноко слоняться по палубам, в тесных толпах людей, все еще наблюдающих, как тает в гумане далекая линия порта с причалами и кораблями. Теперь Ушаков держал свой цветок на виду, на ветру.

Спустя полчаса георгин завял, скомкался, съезжился.

Дул слабый ветер. Он чуть растрепывал и клонил в одну сторону дымы из труб встречных судов, направляющихся в Йокогаму. Тут и там проплывали осадистые прогулочные и рейсовые катера с людьми, толпящимися под прямоугольником тента, рыбацкие лодочки-кавасаки — под яркими красными, черными или белыми парусами.

Сидя в низком, удобном шезлонге, Николай Николаевич

с удивлением ощутил океан как живое, чудовищно-многообразное и огромное существо и в холодном мерцании желтовато-бутылочных его волн то и дело улавливал на себе его пристальный, наблюдающий взгляд, постоянное, почти человеческое внимание.

Нет, он не был пустынен, Великий, или Тихий, хотя бы уже потому, что в пасмурный, чуть дождливый, насыщенный влагою день был наполнен каким-то особенным, радостным светом, излучаемым волнами и облаками. Человек, находящийся между двух плоскостей — океаном и низко натянутым небом, — всеми порами кожи, каждой клеточкой тела мог познать его сдержанную, волевою упругость.

Ушаков с верхней палубы не видел волну: были просто какие-то выпуклости, выпирающие из воды то в одном, то в другом месте, эти выпуклости беспрерывно меняли свои очертания, набегали, спеша, друг на друга короткими складками, недовольные, морщились, и снова растягивались и разглаживались, перемещаясь до самого горизонта: куда и зачем? Кто это узнает?..

У него от качания этих выпуклостей, от скольжения этих морщинок, от ветра, от винного запаха пенистых брызг и от мощного света, излучаемого водой, захватило дыхание.

Вдруг возникло тревожное и веселое чувство, словно кто-то совсем незнакомый вот сейчас подойдет — и опять Ушаков будет счастлив, как в юности.

Две женщины прошли мимо и сели неподалеку. Одна была очень красива и держалась торжественно в своем модном сиренево-розоватом костюме. Другая, постарше, в зеленой гипюровой кофточке, под которой виднелось голубое белье, возбужденно и радостно говорила:

— А я делаю так: поджарю картошечку с салом, с луком. Потом подаю чеснок маринованный, салат из брусники. Ну, конечно, огурчики, капуста с мочеными яблоками. И вот эта телятина под грибами, зажаренная в сметане, — это что-то особенное...

— Еще хорошо бы селедочки с луком...

— И черного хлеба!

Ушаков побоялся обидно для них рассмеяться; он вскопчил, зашагал возле борта взад-вперед, раз, другой, снова сел. Видно, женщины возвращались из Японии из длительной командировки, настрадавшись, как в пушкинском анекдоте: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего, черного хлеба не допросишься!»

Ему вдруг опять припомнился вечер в Токио перед отъездом. Он бродил по ночному, кипящему толпами городу. Было тихо, туманно от автомобильного чада. Отработанный газ — теперь его во всем мире зовут одинаково: «смог» — повисал над домами рыжевато-коричневой пеленой, за которою не было видно ни звезд, ни луны, а свет фонарей расплывался оранжевым, радужным ореолом.

В этой плотной, вонючей, густой пелене, вдалеке, как какие-то многоцветные вибрионы, как хвостатые вирусы, выживали лишь самые яркие пятна реклам. Вблизи же, малиновые и зеленые, ярко-желтые и голубые, они прыгали и вертелись на уровне крыш, то сбегали к земле, то опять поднимались над городом, зажигаясь и погасая, — все цвета радуги, все виды форм, все виды бега, прыжков, низвержений и водоворотов, город-спрут, город-мрак, город-свет, город — радость и горе.

Он лежал на огромной равнине, пугающий и манящий, ядовитый и полный намеков, как может быть ядовитой только химия или «атомная» поэзия, с которою Ушаков познакомился в ночных клубах японской столицы.

Он вышел на Гинзе у мюзик-холла и направился вдоль сверкающих магазинов с зеркальными стеклами и витринами, огромными, словно сцены театров. Здесь в течение дня ежедневно, с утра и до вечера, из года в год, представлялся один и тот же великий сюжет, та же старая пьеса: подороже продать, подешевле купить, трагедия с участием миллионов актеров, бессмертная тема. Город плыл мимо этих зеркальных витрин, заключенный в них, словно в аквариумы, и таинственный, призрачный ртутный свет фонарей придавал людским лицам выражение чем-то испуганных, но уже и привыкших и вполне равнодушных пестрых комнатных рыб.

Ушаков шел долго, замедляя шаги, он был голоден и устал и свернул наугад в тихий, сумрачный переулок, а потом еще раз, под какие-то низкие своды, пока не плеснуло в лицо затхлой, влажной прохладой подвалов и вонью кунжутного масла и дыма от китайских жаровен.

Он шагнул снова за угол — и вдруг очутился перед маленьким ресторанчиком, а вернее, харчевней, ничем не приметной, видно, только для завсегдатаев, не нуждающихся в приманке: на окне в узкой нише стояла лишь ваза да вместо двери висела бамбуковая занавеска.

Ушаков отвел в сторону бамбуковую занавеску и вошел

в помещение. Здесь, к его удивлению, было тихо, прохладно... и пусто. За прибранной стойкой, под лампочкой конусом, стоял бармен в переднике, пожилой, темнолицый, сложив на груди тяжелые, крепкие руки.

Увидав Ушакова, он почтительно поклонился:

— Добрый вечер, сэр... Что угодно покушать?

— Все равно. На ваш выбор. Но только японское.

— Сейчас сделаем!

Из-за ситцевой занавески, отделяющей зал от подсобного помещения, тотчас выскользнула, как тень, молодая служанка и поставила на столе в плетеной тарелочке неизменное о-сибори. Ушаков вытер потную шею, лицо, руки. После жаркого, душного вечера, шума, грохота и ядовитых паров от бесчисленных автомобилей на Гинзе было очень приятно ощутить тишину, потом собственную чистоту, точно так же, как легкими вдохнуть свежий, остуженный воздух. В здешних маленьких ресторанчиках, зачастую совсем без дверей, лишь с бамбуковой занавеской, установка для кондиционирования была, пожалуй что, единственной роскошью, но такой удивительной и такой благодатной. Впрочем, роскошь ли это — дышать, он сперва не подумал.

Бармен тут же, за стойкой, стал готовить на узком прилавке какие-то блюда. Он держал длинный нож в руке и, вращая им, словно фокусник, в мгновение ока из простой черной редьки выточил белую розу, всю в изогнутых лепестках, ослепительную и тугую. Затем точно таким же движением, может быть, чуть быстрее, повернул в руке свежий репчатый лук и сложил его горкой на темной узорчатой керамической миске, легчайший и взвешенный, точно пух или белые, фантастически-тонкие, длинные волосы.

Затем были поданы разноцветные пряные травы, какие-то корешки, бобы в красном соусе, нарезанная, как лапша, морская капуста, рис, печеные баклажаны — бармен пек их за стойкой на маленькой переносной жаровне. Все это он разложил по разным тарелочкам и цветным керамическим чашечкам, похожим на узбекские пиалы, а в графинчике, крохотном, как мизинчик, с белой рюмочкой-лепестком подал чуть желтоватое, подогретое в меру сака.

Рядом с рюмочкой и тарелкой положил вместо вилки деревянные палочки — хаси.

— Прошу!

— Спасибо...

Это было как таинство, как древний, изысканный ритуал,

совершающийся на глазах чужеземца, волхвование в испарениях ароматических трав, печеных плодов и разваренных белых рисинок, похожих на маленькие веретенца. Ушаков с наслаждением вдохнул в себя все эти запахи сложнейшего переплетения. Отпив из рюмочки-лепестка и попробовав чуть горчащие, солоноватые корешки, улыбнулся.

Бармен, искоса наблюдавший за ним, весь расплылся в ответной улыбке. Его грубое, в темных складках лицо как-то странно от этой улыбки преобразилось, оно стало красивым.

— Очень вкусно, — сказал Ушаков. — Замечательно!

— Пожалуйста, кушайте на здоровье.

Он пристукнул ножом по прилавку, как бы вслушиваясь в звук истончившейся от работы, но остро отточенной стали, и извлек из широкого кувшина пучеглазую рыбку. Нож блеснул, затем раз, другой — и рыбина была выпотрошена, и очищена, и разрезана на тончайшие, как бумага, пластинки, и уложена на овальное блюдо, плавничок к плавничку, так изящно и аккуратно, что на стол к Ушакову она была подана как бы цельная, и для схожести с той, с живой, только-только очищенной, она время от времени шевелила хвостом. Теперь ее нужно было брать сырую, пластинками и обмакивать эти пластинки то в красный, то в зеленый, то в какой-то еще острый соус и, не мешкая, есть, запивая горячим саке.

— Налейте, пожалуйста, и себе, — попросил Ушаков, указав на кувшинчик.

— Домо аригато.

Бармен налил сперва Ушакову, затем — с чувством собственного достоинства — немного себе, поднял рюмку:

— За ваше здоровье!

— За ваше здоровье!

— У вас виски в Америке пьют, а мы пьем саке, — сказал бармен с усмешкой спокойного, доброго человека, понимающего все то, что их может разъединить.

— А я не из Америки, я из России, — сказал Ушаков, отложив свои палочки и беря сигарету.

Бармен молча стоял и глядел. Потом выпрямился, чуть откинувшись за прилавком.

— Вы сказали, что вы из Москвы? Я вас правильно понял?

— Да, я русский. Приехал сюда из Москвы.

Тот взглянул на сидящего за столом Ушакова и улыбка,

суровая, далеко не простая, вновь на мгновение осветила его грубые, словно из камня, черты.

Было что-то уверенное и спокойное в этом сдержанном человеке, столь быстро работавшем и мастерски делавшем свое дело и столь медленно говорившем. Он глядел теперь на сидящего Ушакова с тем же самым достоинством и добротой: он не мог измениться. Он, по-видимому, к каждому посетителю относился с таким же уважением и заботой и не мог теперь сделать чего-либо другого, приготовить какое-то новое блюдо, куда более вкусное, необычное, потому что все подал и сделал как надо. Но он мог улыбнуться — и он улыбнулся.

Он налил, но теперь от себя, в обе рюмки:

— Я прошу вас... За... Россию! За вашу Москву!

Ушаков поклонился.

Они чокнулись, выпили.

Было поздно, но Токио за бамбуковой занавеской все еще скрежетал, надрывался и бешено грохотал. Мир вокруг был отнюдь не пустыней. И в этом грохочущем, чужеродном, запутанном мире Ушаков был под взглядом стоящего рядом с ним человека, как на острове, в круге свега от лампы, в теплоте его глаз.

Они оба молчали. Ушаков, подперев кулаком щеку, курил после вкусной еды, а бармен стоял перед ним в той же, полной достоинства, позе. Оба сдержанно, с затаенной симпатией улыбались.

«Жизнь мудрее нас всех, вместе взятых,— размышлял Ушаков, наблюдая, как прыгают, догорая, синеватые язычки пламени на жаровне, на углях.— Куда было бы проще разделить весь мир только лишь на друзей, только лишь на врагов...»

Ушаков попросил бармена снова налить ему и себе.

— Я хотел бы выпить за вас. За ваши умелые, добрые руки!

— Домо аригато! Домо аригато!— сказал бармен застенчиво, тихо, чуть-чуть наклоняя свою круглую, стриженную ежиком голову.— За ваше здоровье!

С улицы, отодвинув бамбуковую занавеску, в зал вошла пожилая опрятная женщина с плоским желтым лицом, в темном строгом костюме. Она села у стойки на вертящемся табурете, что-то тихо спросила у бармена по-японски. Тот кивнул, подал ей чашку чая, печенье.

— Это наша хозяйка, владелица ресторана,— объяснил

бармен опять по-английски взглянувшему вопросительно Ушакову.— Это гость из Москвы,— объяснил он хозяйке.

Она приветливо закивала седеющей, аккуратно причесанной головой.

— Рада, рада... Надеюсь, вам приятно у нас? — спросила она.

— Да. Весьма.

Ушаков похвалил мастерство ее бармена.

— Да, я им дорожу,— ответила женщина просто. Она улыбнулась человеку, стоящему за прилавком, у стойки, понимая, доброжелательно.— Вы сами, наверно, заметили,— сказала хозяйка,— какой маленький у меня ресторанчик, а мои посетители всегда довольны...

Теперь они уже втроем сидели в желтоватом, рассеянном круге света от лампы и вели разговор, словно знали друг друга давно, много лет: у кого из них сколько детей, и как они учатся, и как трудно становится жить по сравнению с прошлым годом, и не дай бог война, что же это такое, ведь только и жди, что где-нибудь швырнут бомбу пострашнее хиросимской, и не жалко себя, а жалко детей...

Ушаков видел женщину, уже очень немолодую, но достаточно сильную, крепкую, и видел мужчину, некрасивого, молчаливого, но с чудесной улыбкой, оживляющей иногда все лицо, и ему было грустно, что он должен сейчас будет встать и уйти, навсегда, навсегда, как уходят из жизни.

Что загадывать наперед — он, наверно, сюда уже никогда не вернется. А если вернется и пройдет переулками от кипящей огнями и бешено льющейся Гинзы, то кто будет жив? И кто будет не разорен? И найдет ли он в темноте этот маленький ресторанчик с керамической вазой в окошке? Жизнь идет в таком темпе, что нет и не может остаться надежды на новую встречу, на старые чувства... Все меняется к лучшему, говорят, ведь на то и прогресс!

Ушаков взглянул на часы и поднялся:

— К сожалению, мне пора.

— Да? Так быстро? А может, еще кувшинчик саке?

— Нет, спасибо. Завтра я уезжаю... Мне рано вставать. Спасибо за вечер...

Они вышли его проводить: он им кланялся по-японски, а они пожимали ему руку по-русски, потом крепко обнялись поочередно:

— До сви-дани-я, това-рис...— сказала хозяйка. И вдруг

так стеснительно улыбнулась.— Я учу вас ясык... Пока говорю осень прохолодно...

— Что вы, что вы, по-моему, хорошо!

Он был удивлен и растроган всем этим.

И опять они ему что-то желали хорошее, и махали руками, и кланялись в пояс. А он уходил, оборачиваясь, и с волнением разглядывал в темноте две далекие фигурки у дверей ресторана: «До свидания, то-ва-рис...»

...Ушаков поднялся с шезлонга и встал возле борта, любя простором и влажным, рассеянным блеском притихшего после дождя океана: трудно было представить, что они его помнят, эти двое людей, а он-то их помнил: мужчину — как друга и женщину — как сестру...

Мимо него прошли те две дамы, в розовом и зеленом, обсуждавшие телятину под грибами: теперь они увлеченно беседовали о курортах, о пляжах и пляжных костюмах.

— Я люблю загорать,— говорила одна, мечтательно улыбаясь.— Люблю смуглое тело, люблю южное солнце...

— Да, прекрасно,— сказала другая, в гипюровой кофточке.— Но только не обнажайте молочные железы...

22

Лодки с черными парусами в Токийском заливе. Черные хребты островов, словно спины гигантских чудовищ, то шерстистые от могучих лесов, то скалистые, вырезные, как петушиные гребни. Последний маяк на последней, едва различимой в тумане скале.

Вот и копчились эти дни, этот яркий, насыщенный всеми красками, запахами и движениями сон. Еще можно, если плотно прикрыть ладонью глаза, удержать в смутной памяти эти смуглые тонкие лица, сохранить теплоту протянутых дружеских рук. Но тысячи километров, разъединяя, пролягут между сердцами такими таежными дебрями, такой океанской неизведанной глубиной, такими ущельями и хребтами, что нет и не может быть настоящей уверенности в том, что сохранишь в себе навсегда эту сложную, бурную музыку настроений и чувств, эту радость сознания, что ты в мире не одинок, что ночная печаль одинаково душит каждого, проходящего ночью по городу; а за встречными взглядами, за мгновенной улыбкой незнакомого тебе человека одинаково многозначное чувство привета.

Тучи, тучи с востока, тяжелые, низкие тучи. Ветер го-

пит крутую, зеленую, в мыльной пене волну. И уже не увидеть причала в задымленной Йокогаме, с размокшими под дождем обрывками серпантина, с нарядной толпой, не разглядеть стоящей у края на пристани маленькой женщины. Человека, который уже испытал, пережил термоядерную войну.

Где-то там, за тяжелыми низкими тучами, город, вставший из пепла, с белым каменным богом на высокой горе и бетонной дугой сенотафа, внизу, на скрещении дорожек, усыпанных галькой, положенной строго по счету.

Я не камушек под скрипящими, равнодушными каблуками, я живой человек. Со своими невзгодами и надеждами, со своей странной верой, что всегда существует прямой, честный путь. Он нередко проходит во мраке, над бездной, но поэтому надо найти в себе мужество — и идти и идти, не сбиваясь с дороги.

Хиросима, любовь моя... Ты прошлое или будущее человечества?

СОДЕРЖАНИЕ

ДОННИК	3
ДВУМ СМЕРТЯМ НЕ БЫВАТЬ .	55
ФОНАРИКИ, ПЛЫВУЩИЕ ПО РЕКЕ	239

Ольга Константиновна Кожухова

ДОННИК

ПОВЕСТИ

Редактор Т. М. Мугусев
Художественный редактор Е. Ф. Николаева
Технический редактор Т. Г. Дугина
Корректор А. З. Лазуткина

ИБ № 2547

Сдано в наб. 16.06.81. Подп. в печать 08.01.82.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1
(вкл. мелов. бел.). Гарнитура обыкновенная
новая. Печать высокая. Усл. п. л. 16,91 (в том
числе вкл. 0,105). Уч.-изд. л. 18,94 (в том числе
вкл. 0,03). Тираж 100.000 экз. Заказ 351. Цена
1 р. 50 к. Изд. инд. ЛХ-260.

Издательство «Советская Россия» Государствен-
ного комитета РСФСР по делам издательств, по-
лиграфии и книжной торговли. 103012, Москва,
проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома
Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Электросталь Московской области, ул. им.
Тевосяна, 25.





127126/p

